

ПОЭЗИЯ
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ



ПОЭЗИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Перевод с испанского, португальского и французского.

В. Столбов. Поэзия Латинской Америки в XX веке

...стихотворение рождается, чтобы быть чем-то б?льшим, чем стихотворение, чтобы быть камнем в новом здании человечества, забывшем об отчуждении, чтобы быть молотом или глотком воды для тех, кто трудится в многолюдном цеху, где вдумчиво моделируется новый образ человека нашей планеты. Хулио Кортасар

Я вижу то, что приходит,

и то, что рождается. Пабло Неруда

В двадцатом веке поэзия латиноамериканских стран из периферийной области мировой литературы превратилась в самостоятельную державу. Латинскую Америку называли «таинственным континентом», «континентом бурь», «континентом революций», теперь появилось еще одно название — «континент поэзии». Бурный характер развития этой поэзии позволяет литературоведам говорить о «поэтическом взрыве», охватившем латиноамериканские страны. Что же такое латиноамериканская поэзия XX века? Ответ на этот вопрос в какой-то степени и должны дать стихотворения, собранные в нашу книгу и представляющие поэзию латиноамериканских наций на испанском, португальском и французском языках. В нашу антологию не входят ни фольклорная испано- и португалоязычная поэзия, ни индейская поэзия на индейских языках (кечуа, гуарани и др.), хотя обе эти области поэтического творчества служат источниками, питающими латиноамериканскую поэзию в узком смысле этого слова.

Двадцатое столетие еще не кончилось, оно только вступает в свою последнюю четверть, и многим поэтическим процессам современности еще рано подводить итоги. Историческая эпоха, охватываемая нашей антологией, заключена между двумя датами: 1895 и 1959 годами.

В 1895 году на Кубе вспыхнула национально-освободительная война, которая, по мысли ее вдохновителей и организаторов, должна была покончить с испанским колониальным владычеством в Новом Свете и поставить независимую Кубу барьером на пути начинающейся североамериканской экспансии. «Мой долг, — писал Хосе Марти за два дня до своей гибели, — добиться независимости Кубы, дабы своевременно воспрепятствовать Соединенным Штатам распространиться на Антиллы и оттуда с новыми силами обрушиться на земли нашей Америки».

Но империалисты Соединенных Штатов вырвали победу из рук народа и превратили последнюю национально-освободительную войну на территории Латинской Америки в первую империалистическую войну за передел колоний. Это так называемая «испано-американская война 1898 года» открыла в мировой истории эпоху империализма.

Пройдет шестьдесят с небольшим лет, и на той же Кубе победит народная антиимпериалистическая революция, возглавляемая Фиделем Кастро, продолжателем дела великого народного вождя Хосе Марти в новых исторических условиях. На карте Латинской Америки появится первое социалистическое государство, и в истории континента начнется новая эра. * * *

Латиноамериканская поэзия так же огромна и разнообразна, как и породивший ее мир. В центре ее, как и в центре всякой другой поэзии, стоит человек с его страстями и верованиями, горестями и бедами, радостями и надеждами, размышлениями о тайнах бытия и судьбах человечества.

К концу XIX века эта поэзия имела уже свою трехсотлетнюю историю и свои традиции. Начало ей, по мнению латиноамериканских литературоведов, положили конкистадоры в XVI веке, и в частности Алонсо де Эрсилья, воспевший в поэме «Аракуана» героическое сопротивление индейцев. В XVII–XVIII веках в Индиях — так назывались захваченные конкистадорами заокеанские земли — было сложено немало поэм, од и посланий, лирических песенок и сатир, философских и любовных сонетов. В XVII веке в одном из мексиканских монастырей сочиняла стихи гениальная поэтесса Хуана де ла Крус. В латиноамериканской поэзии колониального периода возникают величественные и суровые контуры южноамериканской природы, складывается своя тематика. В десятые годы XIX века с началом вооруженной борьбы за независимость поэзия Латинской Америки принимает боевой характер. Ее первые манифесты — национальные гимны и патриотические оды. Примечательно, что в этот период в поэзию некоторых стран проникают образы и ритмы народных индейских песен. Развернутую программу действий новая поэзия получает в созданных уже на освобожденной земле одах «Обращение к поэзии» (1823) а «Сельскому хозяйству в тропических землях» (1826). Их автор, просветитель Андрес Бельо призвал поэтов отвлечь свои взоры от дряхлой Европы и воспеть новый, нарождающийся мир, красоту родной природы, подвиги борцов за независимость.

Заветы Бельо легли в основу романтизма, остававшегося господствующим стилем латиноамериканской поэзии до восьмидесятых годов XIX века. Это была поэзия, исполненная духа гражданственности, выражавшая идеи национально-освободительной борьбы, борьбы за политические свободы и потому сочетавшая романтическую эмоциональность, романтический «местный колорит», с классицистским культом разума, а порой и с классицистской велеречивостью.

Поэты не только словом, но и делом служили молодым родинам. Они сами были и заговорщиками и повстанцами; в зависимости от исхода борьбы их либо расстреливали, сажали в тюрьму, отправляли в изгнание, либо делали послами, министрами, редакторами газет. Председателем конгресса, провозгласившего в 1813 году независимость Мексики, был поэт Кинтана Роо, президентом Аргентины в 1862–1868 годах — поэт Бартоломе Митре.

В XIX веке поэты Латинской Америки ориентируются на европейские образцы. В учителях числятся испанцы: классицист Кинтана, романтики Эспронседа и Сорилья, а также Гюго и Байрон, во второй половине века — Мюссе. Круг наставников невелик, и это придает стихам некоторую однотонность, обедняет их форму. Вместе с тем питательной средой для поэзии является и песенная народная стихия — «коплы» (философские, лирические, сатирические куплеты) и песни повествовательного жанра (мексиканские «корридо», аргентинские «сьело», кубинские десимы и др.), которые служат неграмотному населению не только средством выражения своих дум и чувств, но и источником самых разнообразных сведений. Странствующие от поселка к поселку бродячие певцы выполняли роль живой газеты.

Самоучки, выходцы из народа, нередко пробивались в поэты и печатали свои произведения. В их песнях и стихах уже звучат ноты социального протеста. Но эта поэзия, реалистически передававшая черты народной жизни, отличается статичностью и описательностью.

Исключением являлся только бассейн Ла-Платы (Аргентина и Уругвай), где на основе фольклорной поэзии возник такой замечательный образец поэтического искусства, как эпическая поэма «Мартин Фьерро» Хосе Эрдандеса (1872), монументальный памятник обездоленному аргентинскому гаучо. * * *

Первая половина двадцатого столетия в истории Латинской Америки характеризуется внедрением иностранных монополий, империалистической агрессией США, осуществляемой чаще всего путем насаждения «национальных» военно-полицейских диктатур. Такие диктатуры, навязываемые народам силою оружия и денег, стали одной из самых распространенных форм правления в странах Латинской Америки.

Другая особенность этого исторического периода заключается в небывалой активизации народных масс, борющихся за демократию и прогресс, национальную независимость и социальные преобразования, в частности, за аграрную реформу. Эту битву народы самоотверженно ведут и с чужеземным империализмом, и со своими олигархиями.

В каждой, даже самой маленькой стране латиноамериканского континента складывается своя поэзия, отражающая конкретные особенности природы и истории этой страны, вносящая свой вклад в развитие национальной культуры. Но народы Латинской Америки объединены общими традициями борьбы с иноземными захватчиками и общностью языка. Национальное сознание у них сопряжено с общим латиноамериканским сознанием. Первое яркое проявление латиноамериканского сознания в XX веке было вызвано агрессией Соединенных Штатов: оккупацией Кубы (1898 г.), захватом зоны Панамского канала, интервенцией в Никарагуа и провозглашением панамериканизма государственной политикой США.

Крупнейший поэт Латинской Америки Рубен Дарио откликнулся посланием президенту США Теодору Рузвельту, ставшим образцом антиимпериалистической поэзии. В торжественных гекзаметрах он призвал латиноамериканские нации, наследниц испанской культуры, к объединению.

Пусть засверкают, друг другу содействуя в тесном единстве,
неистощимых энергий неистовый сноп образуя,
светлые, сильные расы мои, кровь от крови Испании щедрой.

(Перевод Ф. Кельина)

В тридцатых годах сознание солидарности латиноамериканских наций превратилось в сознание солидарности угнетенных и эксплуатируемых народных масс Латинской Америки.

Все у нашей Америки есть,
Нет лишь голоса, хлеба
да собственной территории, —

(Перевод С. Гончаренко)

пишет народный поэт Доминиканской республики Мануэль дель Кабраль.

Двадцатый век в латиноамериканской поэзии начинается с Хосе Марти. Кубинский революционер и поэт мечтал о новой поэзии, достойной великого времени, приход которого он предчувствовал, времени, когда «люди вступят в полное владение самими собой». Хосе Марти предсказывал появление поэзии, свободной даже от поэтических размеров, поэзии, выражающей мысли просто и естественно, «обаяние которой создается неожиданностью». И, как бы опережая пути развития поэтического искусства, он начал с каскада неожиданных образов, с белого стиха и пришел к простоте и точности народной поэзии. «Я люблю простоту и верю в необходимость выражать чувство в формах простых и искренних», — писал он в 1890 году.

Хосе Марти всю жизнь боролся за создание национальной поэзии, способной воспитывать и закалять человеческие души для грядущих битв. Путь к ней он видел не только в углублении национальных корней, но и в выходе из-под опеки испанского и французского романтизма. Он считал, что необходимо широко распахнуть двери всем поэтическим ветрам, освоить все достижения мирового поэтического искусства.

С этого и начали так называемые «модернисты», первое литературное поколение, возникшее в латиноамериканской поэзии на рубеже двух веков.

Они сочетали, казалось бы, несочетаемые влияния — парнасцев к символистов, Уитмена и испанской классики, обращались и к японским трехстишиям, и к греческому гекзаметру, молились и античным богам, и божествам скандинавской мифологии.

Вождем модернистов был гениальный самоучка Рубен Дарио. Мальчишка, импровизатор стихов, из глухой никарагуанской деревни оказался первым латиноамериканцем, взобравшимся на вершины мирового Парнаса.

Дарио и его соратники (Л. Лугонес, Р. Хаймес Фрейре, Г. Валенсия, Х. Эррера-и-Рейссиг, Х. Сантос Чокано) в девяностые годы проповедовали «чистое искусство», требовали от художника прежде всего индивидуальности, самобытности. На их гербе был изображен лебедь — символ красоты, на фоне лазури — геральдического цвета поэзии. Поворот к «чистому искусству» (поворот потому, что Р. Дарио дебютировал в восьмидесятых годах как гражданский поэт, продолжатель традиций романтизма) объясняется общим духовным кризисом буржуазного мира, который в конце века ощущается и в Латинской Америке. Но есть в нем и желание завоевать признание Европы, одержав победу на европейской территории. В те годы европейские поэты увлекались возведением «башен из слоновой кости», в моде были Оскар Уайльд и символисты с их требованием «музыки прежде всего». А Рубен Дарио от природы был наделен даром «музыкально мыслить» и в каждом слове слышать мелодию. Ослепительный и радостный талант, он фейерверком взорвался в поэтических небесах и увлек за собой не только латиноамериканскую, но и испанскую поэтическую молодежь. «Великим соблазнителем» назвал его испанский поэт Антонио Мачадо, «укротителем слов» и «божественным индейцем» — величал испанский философ Ортега-и-Гассет.

Из расхожих литературных образов — легкомысленных маркиз и лукавых аббатов, средневековых принцесс и нагих вакханок, лебедей Лознгринга, испанских быков, индийских тигров — Дарио творит прекрасную страну сказок. Но этот период, принесший ему славу, толпу поклонников и подражателей и устойчивую репутацию воинствующего эстета, продолжался около десяти лет. В начале нового века острое предчувствие приближающихся социальных катаклизмов вернуло поэта в лоно гражданской поэзии, заставило увидеть в искусстве «народа орифламму» и воспеть «диких коней Америки». В лирике Дарио переходит

от прославления легких чувственных радостей к размышлениям о жизни и смерти, к философскому пантеизму.

Дарио реформировал поэзию испанского языка, обогатил ее словарь, обновил запас образов, а главное, внушил латиноамериканским поэтам уверенность в своих силах. Недаром Лугонес назвал его «последним освободителем Испанской Америки».

«Я не поэт народных толп, но я знаю, что неизбежно вынужден буду прийти к ним», — сказал Рубен Дарио в самом начале столетия. Спустя полвека Пабло Неруда поблагодарит поэзию за то, что она подняла его «до высот простых людей». Эти два высказывания, поставленные рядом, наглядно свидетельствуют об основном направлении развития латиноамериканской поэзии. В ней идет процесс сближения с народом, демократизации, развития реалистических тенденций, начавшийся уже в позднем творчестве модернистов. В 1910 году мексиканский лирик Э. Гонсалес Мартинес призвал поэтов «свернуть шею лебедю», которому «чужда душа вещей, природа не сродни», и заменить эту красивую, но бесполезную птицу мудрой совой, то есть заняться осмыслением действительности. Х. Сантос Чокано обращается к народной песне. Л. Лугонес от античности перешел к изображению сельской жизни и аргентинской природы. В сонетах Эрреры-и-Рейссига сквозь книжную, пасторальную оболочку просвечивают конкретные черты уругвайской деревни. Первые поэты-демократы XX века Э. Карриего (Аргентина) и К. Песоа Велис (Чили) претворяют в поэзию трудную жизнь городской и сельской бедноты. Они смотрят на окружающее глазами маленького человека, вводят в стихи мир простых вещей. Так складывается «постмодернизм», реалистическое и демократическое направление в латиноамериканской поэзии десятых — тридцатых годов.

Мексиканская революция 1910–1917 годов всколыхнула народные массы. Она отразилась в творчестве национального поэта Мексики Р. Лопеса Веларде, певца родной земли, обогатившего поэзию правдивым изображением провинциальной жизни и сочным народным языком. С этих пор тема провинции, «маленькой родины», внедряется в творчество «постмодернистов».

Демократизация поэзии проявляется и в том, что начиная с десятых годов среди «постмодернистов» появляются женщины: А. Самудьо, Д. Агустини, Х. Ибарбуру, А. Сторни. Женская поэзия пронизана мятежным духом протеста, страстным требованием равноправия для женщин и в гражданской жизни, и, в особенности, в сфере чувства.

Вершиной поэзии «постмодернизма» стало творчество Габриэлы Мистраль. В стихах Мистраль тридцатых — сороковых годов возникает монументальный и многогранный образ женщины и любимой, и покинутой, и лишенной счастья материнства, и матери всех детей мира. Поэзию Габриэлы Мистраль наполняет чувство кровного единства с родиной — с долиной реки Эльки, на берегах которой родилась поэтесса, и с «большой родиной» — Латинской Америкой.

Конец десятых — первая половина двадцатых годов для стран Латинской Америки время экономического кризиса, политической неустойчивости, бурных выступлений народных масс. Поэзию захлестывают различные авангардистские течения, как занесенные из Европы (футуризм, дадаизм и др.), так и родившиеся на латиноамериканской почве: мексиканский «эстридентизм», бразильский «модернизм» (последователи Р. Дарио назывались в Бразилии «парнасцами») и другие. Особое значение имеют «креасьонизм» (от испанского *creación* — творчество), открытый в конце десятых годов во Франции чилийцем В. Уидобро, и «ультраизм», завезенный а начале двадцатых годов из Испании в Аргентину Х.-Л. Борхесом. Основными художественными средствами поэтов-авангардистов становятся свободный стих, предоставляющий стихотворцу полную свободу в обращении с материалом, и, главное, метафора. С помощью метафоры, по мысли Уидобро, поэт может стать полноправным создателем мира, творить стихи, «как природа дерево» («Зачем, о поэт, вспеваешь ты розу, // заставь распусться ее в стихе», — призывает Уидобро). В свою очередь, Борхес первым

пунктом своей программы ставит «Сведение поэзии к ее первичному элементу: метафоре».

Зарождение авангардизма было связано со всемирно-историческими событиями. Его смятенное сознание породила сначала первая мировая война, когда такие, казалось бы, вечные понятия, как «цивилизация» и «прогресс», разлетелись вдребезги под ударами штыков. (Не потому ли метафоры Уидобро напоминают острые осколки стекла?) Затем свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, вызвавшая подъем революционного движения во всем мире. В грозном гуле восставших народных толп революционно настроенная молодежь Латинской Америки слышала родовые крики земли. Рождался новый мир, еще неведомое человечество, обладающее «новым чувственным восприятием», которое призвана выражать метафора.

Однако авангардизм не опирался на народные истоки и оказался недолговечным. В этом сказались обособленность широкого антиимпериалистического движения левой интеллигенции и студенчества (борьба за университетскую реформу) от выступлений пролетариата и крестьянских масс. Пути зачинателей авангардизма в дальнейшем разошлись. В. Уидобро, в двадцатые годы анархический индивидуалист, в 1938 году стал одним из организаторов Народного фронта в Чили. А ультраист Х.-Л. Борхес, в двадцатые годы славивший русскую революцию и обвинявший буржуазную печать в «причастности к коммунизму», приобрел мировую славу как прозаик, но из «ультраревolucionонера» превратился в «ультраконсерватора».

Расширение поэтического словаря у авангардистов проходило, в основном, за счет внесения в него технических, политических, экономических и философских терминов (в стихах нашей антологии попадают и такие образы, как «вершины политической экономии» или «диалектикой вспоротые глубины»).

Во второй половине двадцатых годов, характеризующейся относительной стабильностью латиноамериканского капитализма, временным спадом революционного движения, который вызвал растерянность в некоторых кругах прогрессивной интеллигенции, создаются благоприятные условия для проникновения в поэзию сюрреализма с его культом подсознательного, интуитивного, алогичного, о техникой «потока сознания» и так называемого «герметизма», превращающего поэтический мир в подобие герметически закупоренного сосуда, содержание которого недоступно непосвященным. Но в Латинской Америке поэты-герметики ориентировались не столько на теорию и практику Поля Валери, отца европейской герметической поэзии, сколько на изощренную образность испанского барокко, интерес к которой возник в связи с трехсотлетним юбилеем Луиса де Говгоры, торжественно отмеченным в 1927 году почти во всех испаноязычных странах. В руках герметиков метафора потеряла всякие связи с чувством, стала механической игрушкой, занятой головоломкой, средством отстранения от жизни. Поэтический мир рассыпался на мириады мелких деталей, из которых можно без конца составлять новые и новые метафорические конструкции. В начале тридцатых годов прозвучал гневный голос перуанского поэта Сесара Вальехо: «Фабриканты метафор, верните поэзию людям!»

Тридцатые и первая половина сороковых годов подняли поэзию Латинской Америки на небывалую высоту и укрепили, как никогда ее связи с народом. Этот период начался острым экономическим кризисом и закончился разгромом мирового фашизма. Народы Латинской Америки поднялись на борьбу с империализмом и его ставленниками, которая велась в невиданных до того масштабах и принимала самые различные формы: семилетней партизанской войны с североамериканскими интервентами в Никарагуа; народного восстания в Сальвадоре в 1932 году и в Бразилии в 1935 году; захвата власти народными массами в Чили и провозглашения Чилийской социалистической республики, которая просуществовала двенадцать дней (1932 г.); всеобщей забастовки на Кубе, свергнувшей кровавую диктатуру Мачадо (1933 г.); мирной победы Народного фронта на президентских выборах в Чили (1938 г.).

На первый план повсюду выдвигается поэзия прямого политического и социального звучания, антиимпериалистическая и антифашистская, поэзия «Испании в сердце», «Песен любви к Сталинграду» и «Всеобщей песни» П. Неруды, «Вест-Индской компании» и «Песен для солдат и сонов для туристов» Н. Гильена, «Человечьих стихов» С. Вальехо.

Да и вся поэзия латиноамериканского континента в эти годы делает решающий шаг на пути к народу. На переднем плане стихов возникают образы крестьян и рабочих, пастухов и шахтеров. Поэты воспевают мозолистые рабочие руки. Из страны в страну кочует символический обобщенный образ крестьянина — Хуана Безземельного, Хуана Безродного, Хуана Безнебесного, — тесно связанного с землей. «Землю зовут Хуан», — так выразил эту связь Пабло Неруда. История земли — это история земледельца, нищего и голодного батрака или мелкого арендатора, это его кровь и пот текут в соках земли, питающих растения и деревья.

Интерес к народному творчеству проявляется в широком проникновении песен в поэзию. Многие поэты выводят в стихах фольклорных героев (Хуан Бимба у венесуэльца Элой Бланко) или сами создают образы народных певцов (Хуансито Каминадор в стихах Гонсалеса Туньона, Хуан Барbero в «Вест-Индской компании» Гильена, сказочный персонаж — дядюшка Мон в одноименной поэме Кабраля).

Именно в этот период на одно из ведущих мест в культуре Латинской Америки выдвигается искусство самых угнетенных этнических групп ее населения: индейцев и негров.

Индеец в поэзии XIX столетия в основном был символическим выражением борьбы за свободу. Он сохранил это значение и в новом столетии. Но рядом с гордыми индейскими вождями теперь встают безымянные труженики, батраки-пеоны. Прогрессивные деятели Латинской Америки издавна связывают судьбы Америки с судьбой угнетенных индейских масс. «Америка не пойдет вперед, пока не научится ходить индеец», — заявил Хосе Марти.

Но для поэтов начала века, таких, как Х. Сантос Чокано (Перу) или А. Рейес (Мексика), индеец остается загадкой, хотя и вызывает у них почтительное изумление. Отныне поэты различных стран Латинской Америки — чилийка Г. Мистраль, венесуэлец А. Арраис, гватемалец М.-А. Астуриас, перуанцы А. Перальта и М. Флориан — стремятся проникнуть во внутренний мир индейца, превратить его из объекта в субъект поэзии.

Поэты Антильских островов и стран Центральной Америки в конце двадцатых годов увлекаются негритянским фольклором и африканскими ритмами. В этих странах, где негры и мулаты, потомки рабов, завезенных из Африки, составляют и самую большую и самую угнетенную часть населения, негритянские фольклорные мотивы обрели под собой твердую почву, превратились в поэзию большого социального звучания.

Высшим достижением этой поэзии остаются стихи Николаса Гильена. Народному поэту Кубы удалось добиться органического сплава ритмов и лексики негритянских песен с мотивами социального протеста, с острым антиимпериалистическим содержанием.

К тридцатым — сороковым годам относятся такие эпохальные явления латиноамериканской поэзии, как «Человечьи стихи» Сесара Вальехо (1938) и «Всеобщая песня» Пабло Неруды (1950). Эти произведения, разные по форме, связаны одним качеством — сочетанием эпичности, монументальности с лиризмом. Книга Вальехо — цикл лирических стихов, но если убрать заголовки и сдвинуть вместе отдельные стихотворения, то перед вами возникнет единая лирическая поэма, сплошной монолог человека, страдающего за человечество, за всех «сынов человеческих».

Поэма Неруды охватывает всю географию и историю, прошлое и настоящее Латинской Америки и заглядывает в ее будущее. Это грандиозный эпос, но эпос нашего времени, проникнутый лирическим сознанием. Неруда мог бы повторить слова Маяковского — «это

было с бойцами, или страной, или в сердце было моем».

Оба поэта — С. Вальехо и П. Неруда, как и многие другие менее известные стихотворцы Латинской Америки, пришли к реализму, пройдя через сюрреалистические и авангардистские влияния. Метафора осталась для них одним из средств художественного познания действительности, позволяющим открыть в ней какие-то новые грани, ту «неожиданность, создающую обаяние поэзии», о которой думал Хосе Марти.

Последний период нашей антологии — конец сороковых и пятидесятые годы. Он проходит в обстановке «холодной войны», характеризуется сменой североамериканской политики «добраго соседа», провозглашенной Ф.-Д. Рузвельтом в тридцатые годы, на открытую поддержку антинародных диктатур (Стресснера в Парагвае, Переса Хименеса в Венесуэле и др.) и прямое вооруженное вмешательство во внутреннюю жизнь латиноамериканских государств (свержение прогрессивного демократического правительства Х. Арбенса в Гватемале, 1954 г.). Народная антиимпериалистическая борьба в ряде стран (Парагвай, Колумбия, Перу, Куба) выливается в партизанское движение, сочетающееся с массовыми забастовками рабочего класса.

В эти годы получает распространение философская поэзия, складывающаяся под влиянием экзистенциализма и проникнутая мотивами смерти и отчаяния. Однако демократичность, народный патриотизм, антиимпериалистическая направленность, глубокое реалистическое постижение действительности остаются основными чертами латиноамериканской поэзии. Ее ведущие голоса по-прежнему Пабло Неруда, Габриэла Мистраль, опубликовавшая свой последний, завершающий сборник «Давильня» в 1957 году, Николас Гильен, чья книга стихов «Голубь народа в полете» (1958), проникнутая духом интернационализма, была посвящена борьбе за мир.

Сборники Неруды «Оды простым вещам» (1954–1957) строятся вокруг человека, индивидуального человека,

с его неповторимой биографией, во сфера чувств и мыслей этого лирического героя распространяется на всю планету, становится общечеловеческой. Человека окружает мир созданных им простых вещей — от хлеба, впервые выпеченного в незапамятные времена, до совсем недавно расщепленного атома. Этот композиционный принцип повторен и в «Эстрадагарио» (1958). Однако в этой книге мироощущение героя насыщено иронией. Он способен не только утверждать жизнь, бороться за нее, восторгаться ею, но и сомневаться в жизненных ценностях.

Появляются и новые имена. С поля боя со своей «суровой гитарой» приходит двадцатилетний Эльвио Ромеро. Уругваец Марио Бенедетти открывает поэзии новую область — жизнь мелких служащих. Рабочий поэт Армандо Техада Гомес продолжает традиции революционной социальной поэзии, заложенные в аргентинской литературе еще в тридцатые годы его учителем Раулем Гонсалесом Туньоном. В 1960 году на поэтическом горизонте вспыхнуло новое крупное светило — никарагуанец Эрнесто Карденаль, бывший участник подпольной борьбы и будущий священник, опубликовал поэму «Час О», посвященную предательскому убийству народного героя генерала Аугусто Сесара Сандино.

В творчестве молодых поэтов конца пятидесятых годов намечается полемическое сближение с прозой (появляется даже выражение «антипоэзия»). Чрезвычайно расслабляется поэтическая форма, в стихи включаются выдержки из документов, куски стенографически записанной разговорной речи. Усиливается информационное содержание поэзии. Вместе с тем молодые поэты пятидесятых годов (Э. Карденаль и А. Адоум) явно тяготеют к большим эпическим полотнам. С такими довольно отчетливо наметившимися тенденциями латиноамериканская поэзия вступила в новый период своего развития. * * *

Одной из отличительных черт латиноамериканского континента в XX веке является приобщенность его народов к мировым событиям, включение их в глобальную систему экономики, политики, культуры. Отсюда рождается сознание причастности к делам планеты, непосредственная заинтересованность в судьбах человечества.

Ведущие поэты Латинской Америки вкладывают в свои стихи чувство кровной близости с угнетенными и эксплуатируемыми массами не только своей страны и своего континента, но и всего мира. «С бедняками всей земли // я хочу связать свою судьбу», — сказал Хосе Марти еще в конце восьмидесятых годов прошлого столетия.

Я поэт и я сын бедняков

.....

брат бедняков,
всех бедняков моей родины,
всех бедняков каждой страны, —

(Перевод О. Савича)

спустя десятилетия отзовется Пабло Неруда в «Одах простым вещам».

Из чувства материнской любви, распространенной на всех детей мира, на все человечество, возникает в поэзии Габриэлы Мистраль желание сломать все двери и перегородки между людьми, чтобы люди вышли

... в мир открытый,
Как проснувшиеся дети.
Услыхав, как злые двери
Падают на целом свете.

(Перевод О. Савича)

Победа Великой Октябрьской социалистической революция вызывала в латиноамериканских странах подъем рабочего движения и привела к образованию коммунистических партий (в начале 1918 года организуется компартия Аргентины, еще через год — Мексики, затем — Уругвая, в 1932 году компартии возникают в Бразилии, Чили, центральной Америке, в 1925 году на Кубе и т. д.). Идеи социализма овладевают сердцами и сознаниями. Из стихов латиноамериканских поэтов, посвященных В. И. Ленину, пролетарскому интернационализму, Советской России, социалистическому будущему, можно было бы составить объемистую антологию. Эти стихи пишут не только поэты-коммунисты. Венесуэльский поэт-демократ

Андрее Элой Бланко сочинил поэму «Путеводитель двухтысячного года» (1937), в которой любовно, хотя и наивно описал грядущее социалистическое общество.

Многие поэты Латинской Америки вполне закономерно оказались в рядах коммунистических партий. Среди них такие имена, как Пабло Неруда, Сесар Вальехо, Николас Гильен, Рауль Гонсалес Туньон, один из создателей компартии Кубы Рубен Мартинес Вильена, панамский поэт Чавгмарин, перуанский поэт Густаво Валькарсель и другие.

Великую битву с фашизмом, начавшуюся на холмах Испании и принявшую гигантские масштабы на русских равнинах, латиноамериканские поэты восприняли как свое кровное дело. Многие из них побывали на фронтах

Испанской республики и были делегатами Всемирного конгресса по защите культуры, заседания которого происходили в Мадриде и в Валенсии. В золотой фонд мировой антифашистской поэзии вошли посвященные Испании и героической борьбе Советской Армии стихи и поэмы П. Неруды, Н. Гильена, С. Вальехо, Р. Гонсалеса Туньона.

В сороковых — пятидесятых годах одной из важнейших тем для латиноамериканской поэзии сделалась борьба за мир.

Латинская Америка дала немало выдающихся борцов за дело мира, отмеченных Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами». Среди них поэты П. Неруда, Н. Гильен, М.-А. Астуриас, А. Варела. В борьбе за мир принимали активное участие видные общественные деятели и поэты Хуан Маринельо (Куба), Луис Кардоса-и-Арагон (Гватемала), автор поэмы «Послание мира» Педро Лайа (Венесуэла), мексиканский поэт Эфраин Уэрта и др. Эта борьба охватила широкие круги прогрессивной интеллигенции — к ней примкнули и поэты, далекие от политики; Леон де Грейфф возглавил колумбийский Комитет защиты мира, Энрике Гонсалес Мартинес, один из создателей мексиканской лирической поэзии XX века, стал председателем Комитета защиты мира на своей родине. «Пролитием крови на полях сражения мир не может избавиться ни от одного конфликта, — писал маститый поэт, — но многие проблемы могут быть решены заключением чистосердечного договора, разумным словесным воздействием».

И, наконец, победа народной революции на Кубе вызвала отклик приветственных голосов со всех стран континента, была воспринята общественным мнением Латинской Америки как вдохновляющий пример. Эту мысль поэтически четко высказал Неруда:

Глаза откройте, братские народы,

Есть и у вас своя Сьерра-Маэстра!

(Перевод С. Кирсанова) * * *

Историческая эпоха, охватываемая нашей антологией, на этом кончается, но поэзия Латинской Америки продолжает жить. Она наполняет просторную комнату с окнами на море в Гаване, где седой, коренастый человек в свои семьдесят лет сочиняет стихи о любви. Она на маленьком островке в Никарагуа вместе с бородатым и босоногим священником отпускает грехи его немногочисленной пастве и размышляет о судьбах человечества. Она в Чили бесшумно стоит в почетном карауле над могилой своего любимца, народного певца, защитника Мадрида и Сталинграда. Она рука об руку с неизвестными юношами трудится на кубинской сафре или пишет прокламация в парагвайском подполье.

Ибо поэзия многолика, как жизнь, и бесконечна, как время.

В. Столбов

ХОСЕ МАРТИ[1] (КУБА)

Маленький принц[2]

Перевод И. Чижеговой

Для маленького принца

Затеян этот праздник,

Для маленького принца

С льняными волосами —

Волною по плечам

Рассыпались их пряди...

А темные глаза,

Как две звезды, играют:

То гаснут, то мерцают,

То вспыхивают ярко.

Он для меня подушка,

И шпора, и корона[3]...

С коварным зверем в схватке

Моя рука не дрогнет,

Но эта же рука

Как воск в его ручонке.

Чуть он нахмурит брови,

Как я уже в тревоге,

Едва слезу обронит,

От страха я белею...

Мое омыто сердце

Его горячей кровью,
И может оно биться
Лишь по его приказу...
Для маленького принца
Затеян этот праздник.
Приди ко мне, мой рыцарь,
Тропинкой заклинаний,
Войди, мой повелитель,
В прибежище печали!
Едва передо мною
Твой образ возникает,
Мне мнится, что звезда
Опаловым сияньем
Печальное жилище
Мое преобразает;
И тени отступают,
Пронизанные светом,
Как тучи перед солнцем,
Им раненные насмерть!
Оружья не сложивший,
Я вновь готов сражаться
За маленького принца,
Его большое счастье!
Он для меня подушка,
И шпора, и корона...
Подобно черным тучам,
Когда пронзит их солнце
И радужным соцветьем
Их чернота займетса,
Мрак моего жилища,

Пронзенный шпагой принца,
Лилово-алым светом
Мгновенно озарится...
Мой милый принц, ты хочешь,
Чтоб я вернулся к жизни?
Приди ко мне, мой рыцарь,
Тропинкой заклинаний,
Войди, мой повелитель,
В прибежище печали!
Смерть за тебя приму я
Как высшую награду...
Для маленького принца
Затеян этот праздник.

Pollice verso[4]

(Воспоминания о тюрьме[5])

Перевод В. Столбова

Да, я там был. И с головок обритой,
С тяжелой цепью на ногах влачился
Я среди змей, которые, на черных
Грехах своих вьются, казались мне
Червями теми, что с раздутым брюхом
И липкими глазами в смрадном чане
Средь бурой грязи медленно кишат.
Я проходил спокойно мимо грешных,
Как если б у меня в руках простертых,
Как на молитву, белая голубка

Раскрыла два широкие крыла.
Очами памяти мне страшно увидеть
То, что однажды видел я глазами.
Я судорожно вскакиваю, словно
Бежать хочу от самого себя,
От памяти, что жжет меня, как пламя.
Кустарник цепкий память, а моя —
Куст огненный. В его багряном свете
Судьбу народа моего предвижу
И плачу. Есть у разума законы,
Порядок непреложный и суровый,
Как тот закон, которому подвластны
Река и море, камень и звезда.
Миндаль, который веткою цветущей
Мое окно от солнца закрывает,
Из семени родился миндаля.
А этот шар из золота литого,
Наполненный благоуханным соком,
Который девочка, цветок изгнанья,
На белом блюде протянула мне,
Зовется апельсин, и апельсином
Он порожден. А на земле печали,
Засеянной горячими слезами,
Лишь древо слез и вырастет. Вина —
Мать наказанья. Наша жизнь не кубок
Волшебный, что по прихоти судьбы
Несчастливым желчь подносит, а счастливым
Токай кипучий. Жизнь — кусок вселенной,
Она мотив в симфонии единой.
Рабыня, за победной колесницей

Бегущая, прикованная к ней
Невидимыми узами навеки.
И колеснице этой имя Вечность,
Клубами пыли золотой сокрыта
Она от глаз спешащей вслед рабы.
О, что за страшный призрак! Как ужасна
Процессия виновных.[6] Я их вижу,
Они бредут в унынье, задыхаясь,
По траурным полям пустыни черной.
Там рощи без плодов, трава иссохла,
И солнце там не светит, и деревья
На землю не отбрасывают тень.
В молчании они бредут по дну
Огромного и высохшего моря.
У каждого на лбу веревка, как ярмо
На шее у быка, и за собою
Рабов волочат — груды мертвых тел,
Иссеченных тяжелыми бичами.
Вы видите роскошные кареты
И праздничные белые одежды,
Коня-красавца с гривой заплетенной
И узкий башмачок — темницей служит
Не только ножке он, но и душе.
Смотрите: иностранцы презирают
Вас— жалкое и нищенское племя.
Вы видите рабов! Как связку трупов
Из жизни в жизнь, вам их влачить на спинах,
И тщетно будете молить, чтоб ветер
Несчастной вашей тронулся судьбой
И ваше бремя в атомы развеял.

Вздыми свой щит, народ! Поступок каждый
Либо вина, которую в веках
Ты понесешь, как рабское ярмо,
Либо залог счастливый, что в грядущем
Тебя от бед великих сохранит.
Земля подобна цирку в Древнем Риме.
У каждой колыбели на стене
Невидимый доспех ждет человека.
Пороки там сверкают, как кинжалы,
И ранят тех, кто в руки их возьмет.
И, как стальные чистые щиты,
Блистают добродетели. Арена,
Огромная арена наша жизнь,
А люди — гладиаторы-рабы.
И те народы и цари, что выше,
Могущественней нас, взирают молча
На смертный бой, который мы ведем.
Они глядят на нас. Тому, кто в схватке
Опустят щит и в сторону отбросит
Иль о пощаде взмолится и грудь
Трусливую и рабскую подставит
Услужливо под вражеский клинок,
Тому неумолимые весталки
С высоких каменных своих скамей
Объявят приговор: «Pollice verso!»
И нож вонзится в грудь до рукоятки
И слабого бойца прибьет к арене.

Ярмо и звезда

Перевод П. Глушко

Родился я во тьме, я мать сказала:

«Цветок моих глубин, Властитель добрый.

Итог и отблеск — мой и Мироздания,

Ребенок-рыбка в облике орла,

Коня и человека, с болью в сердце

Я подношу тебе два знака жизни,

Свой знак ты должен выбрать. Вот ярмо —

Кто изберет его, тот насладится:

Покорный вол на службе у сеньоров

Спит на соломе теплой и вкушает

Обильные корма. А это, видишь,

О тайна, мной рожденная, как пик,

Горой рожденный, это знак второй,

Он озаряет, но и убивает, —

Звезда, источник света. Грешник в страхе

Бежит от звездоносца, и, однако,

Сам звездоносец в жизни одинок,

Как будто он чудовищно преступен.

Но человек, удел вода избравший,

Становится скотом — в нем разум гаснет,

И должен мир творить свой путь сначала.

А тот, кто в руки взял звезду бесстрашно, —

Творит, растет!

Когда из чаши тела

Он выплеснется, как вино живое,

И собственное тело, словно яство,

С улыбкой скорбной на пиру кровавом

Подарит людям и отдаст священный
Свой голос ветрам Севера и Юга,—
Звезда в сиянье облачит его,
И воздух над землею просветлеет,
И он, не знавший страха перед жизнью,
Во мгле взойдет на новую ступень».

И я воскликнул: «Дайте мне ярмо, —
Встав на него, я выше подниму
Звезду, что озаряет, убивая...»

Любовь большого города

Перевод В. Столбова

Кузнечный горн и скорость — наше время!

Несется голос с быстротою света.
И молния в высоком шпиле тонет,
Словно корабль в бездонном океане,
И человек на легком аппарате,
Как окрыленный, рассекает воздух.
Лишенная и тайны и величья,
Любовь, едва родившись, умирает
От пресыщенья. Город — это клетка,
Вместилище голубок умерщвленных
И алчных ловчих. Если бы разверзлись
Людские груди и распалась плоть,
То там внутри открылось бы не сердце,

А сморщенный, засохший чернослив.

Здесь любят на ходу, на улицах, в пыли
Гостиных и бульваров. Дольше дня
Здесь не живут цветы. Где скромная краса,
Где дева чистая, которая готова
Скорее смерти вверить свою руку,
Чем незнакомцу? Где живое сердце,
Что выскочить стремится из груди?
Где наслаждение в служенье даме?
Где радость в робости? И тот блаженный миг,
Когда приблизившись к порогу милой,
Заплачешь вдруг от счастья, как дитя?
Где взгляд, тот взгляд, что на лице девичьем
Румянец в ярый пламень превращает?
Все это вздор! И у кого есть время
Быть рыцарем! Пусть украшеньем служит,
Как золотая ваза иль картина,
Красавица в салоне у магната.
А жаждущий пускай протянет руку
И отопьет из первого бокала[7],
Который подвернется, а потом
Бокал пригубленный швырнет небрежно
На землю, в грязь. И дегустатор ловкий
В венке из миртов и с пятном кровавым,
Невидимым на доблестной груди,
Своей дорогой дальше зашагает.
Тела уж не тела — ошметки плоти,
Могилы и лохмотья. Ну, а души

Напоминают не прекрасный плод,
Который не спеша душистым соком
На материнской ветке набухает,
А те плоды, которые до срока
Срывают и выносят на продажу.

Настало время губ сухих, ночей
Бессонных, жизнью незрелых,
Но выжатых еще до созреванья.
Мы счастливы... Да счастливы ли мы?

Меня пугает город. Здесь повсюду
Пустые иль наполненные чаши.
И страшно мне. Я знаю, в них вино
Отравлено, и в плоть мою и в вены,
Как демон мстительный, оно вопьется.
Того напитка жажду я, который
Мы разучились пить. Знать, мало я страдал
И не могу еще сломать ограду,
Скрывающую виноградник мой.
Пусть жалких дегустаторов порода
Хватает эти чаши, из которых
Сок лилий можно жадными глотками
Испить без состраданья или страха.
Пусть они пьют, я пить не буду с ними.
Я добрый человек, и я боюсь.

Две родины

Перевод Л. Мартынова

Две родины даны мне: это — Куба

И ночь. Иль — две в одной? Как только с неба

Свое величество низводит солнце,

Вдовой печальной, кутаясь в вуали,

Безмолвная, держа в руке гвоздику,

Передо мною возникает Куба.

Я узнаю кровавую гвоздику,

В ее руке дрожащую. Так пусто

В моей груди, так глухо там и пусто,

Где было сердце. Уже пора начать

Уход из жизни. Чтоб сказать «прощай»,

Ночь хороша. И свет помехой служит

И голоса. Людей красноречивей

Вселенная.

Но вдруг, как будто знамя,

Которое к борьбе меня зовет,

Заря пылает алая. Окошко

Распахиваю! Тесно мне. Немая,

Кровавую гвоздику обрывая,

Как туча заволакивая небо,

Передо мной вдова проходит —

Куба!

«Хотят, о скорбь моя, чтоб я совлек...»

Перевод В. Столбова

Хотят, о скорбь моя, чтоб я совлек
С тебя покров природной красоты,
Чтобы подстриг я чувства, как кусты,
И плакал только в кружевной платок.

Чтобы в темнице звонкой изнемог
Мой стих — его мне подарила ты.
Живительной лишенный простоты,
Засохнет он, как сорванный цветок.

Нет, так не будет! И пускай актрисы
Разучивают вздохи наизусть,
Картинно опускаясь на подмости.

Душа не делит сцену и кулисы,
Румянами не скрашивает грусть
И, падая, не помнит о прическе.

«Человек прямодушный, оттуда...»

Перевод О. Савича

Человек прямодушный, оттуда,
Где пальма растет в тиши,

Умирать не хочу я, покуда
Не родится стих из души.

Прихожу отовсюду, как чувство,
Уношусь в любые края,
С искусствами я — искусство,
На вершинах — вершина и я.

Я знаю много названий
Редчайших цветов я трав,
Знаю много гордых страданий
И смертоносных отрав.

Струились в ночь без просвета
Дождем на меня с высоты
Лучи чистейшего света
Божественной красоты.

Я видел, как светлые крылья
У прекрасных жен вырастали,
Я видел; из грязи и пыли
Бабочки вылетали.

Мужчину я видел: с кинжалом,
Вонзившимся в грудь, он жил,

Но ни разу вслух не назвал он
Той, кто жизни его лишил.

Душу, канувшую бесследно,
Два раза лишь видел я:
Когда умер отец мой бедный,
Когда ты ушла от меня.

Задрожал я лишь раз — это было
В саду перед входом в сторожку,
Когда злая пчела укусила
В лицо мою девочку-крошку.

Раз в жизни был рад я безмерно,
Как в час настоящей удачи:
Когда приговор мой смертный
Объявил мне тюремщик, плача.

Слышу вздох над землей и водой,
Он, как ветер, коснулся нас,
Но это не вздох, это мой,
Это сын мой проснется сейчас.

Говорят, в самоцветах нужно
Искать я ценить чистоту, —

Оттого-то верную дружбу
Я любви всегда предпочту.

Я видел: орел был подстрелен
И взмыл к небесам голубым,
А гадюка издохла в щели,
Отравлена ядом своим.

Я знаю, когда мирозданье
Без сил, побледнев, затихает, —
Журча в глубоком молчанье,
Тихий родник возникает.

Рукой ледяной, но бесстрашной,
С восторгом и суеверьем
Я коснулся звезды погасшей,
Упавшей у самой двери.

В груди моей год за годом
Прячу боль, что сердце терзает;
Сын народа-раба народом
Живет и без слов умирает.

Все прекрасно, и все постоянно,
Есть музыка, разум во всем,

И все, как брильянт многогранный,
Было уголь, а свет — потом.

Я знаю, что толпы скорбящих
С почетом хоронят глупцов
И что в целом мире нет слаще
Кладбищенских спелых плодов.

Молчу, обо всем размышляю,
Не желаю прослыть рифмачом
И в пищу мышам оставляю
Мой докторский пыльный диплом.

«Я чувствую: время настало...»[8]

Перевод С. Гончаренко

Я чувствую: время настало
Поведать — под сенью крыла —
О девочке из Гватемалы...
Она от любви умерла!

Цветами жасмина и лилий
Был убран безжизненный лоб...
И мы ее похоронили.
Землею засыпали гроб.

...Она полюбила когда-то
И так терпеливо ждала,
А он возвратился женатый...
Она от любви умерла!

Послы и прелаты в печали
Несли ее гроб на плечах.
Шли толпы — и толпы рыдали,
Тонули в цветах и слезах.

...Приехал! И с вестью крылатой
Надежда в груди ожила...
Но он возвратился женатый...
Она от любви умерла!

Прощаясь, я тронул губами
Ее восковое чело...
Забывать ли холодное пламя,
Которым меня обожгло?!

...Спустилась к реке... А оттуда
Служанка ее принесла.
Сказали, что смерть — от простуды...
Она от любви умерла!

У склепа, где тишь гробовая,
Сложили цветы и венки...
О, как целовал я, рыдая,
Две маленьких эти руки!
Меня увели от могилы,
Когда все окутала мгла...
Я больше не встретился с милой:
Она от любви умерла!

«Я хочу умереть так же просто...»

Перевод В. Столбова

Я хочу умереть так же просто,
Как трава умирает в полях,
Вместо свеч надо мной будут звезды,
Усыпальницей станет земля.

Пусть предателей прячут от света
Под холодный, под каменный свод.
Был я честным, в награду за это
Я умру лицом на восход.

«Свинцовый полог туч угрюмых...»

Перевод В. Столбова

Свинцовый полог туч угрюмых
Вдруг луч багряный разорвал.
Корабль невольничий из трюма
На берег негров выгружал.

А пальмы гнулись. Сильный ветер
Вздымал кустарник на дыбы.
В страну чужую на рассвете
Шли вереницею рабы.

Ломилась буря в дверь барака,
Ломая ветки впопыхах.
И мать-рабыня шла, и плакал
Ребенок на ее руках.

В тумане солнца диск багровый
Встал над пустынею морской.
На ветке дерева, в оковах,
Висел невольник молодой.

Нет, мальчику не позабыть,
Как он в слезах любви и боли
Над трупом клялся отомстить
За тех, кто жизнь влачит в неволе.

«Страданье? Кто посмел сказать...»

Перевод О. Савича

Страданье? Кто посмел сказать,
Что я страдаю? Только следом
За светом, пламенем, победой
Придет моя пора страдать.

Я знаю, горе глубже моря,
Оно гнетет нас век от века,
И это — рабство человека.
На свете нет страшнее горя!

Есть горы, и подняться надо
На высоту их, а потом
С тобою мы, душа, пойдем,
Кто положил нам смерть наградой!

«Ну и пусть, ну и пусть твой кинжал...»

Перевод О. Савича

Ну и пусть, ну и пусть твой кинжал
Вонзается в ребра мои!

Есть стихи у меня, и они
Сильнее, чем твой кинжал!

Ну и пусть, ну и пусть эта боль
Небо вычернит, высушит море!
Стихи — утешение в горе —
Рождает крылатыми боль!

«О тиране? Скажи про тирана...»

Перевод О. Савича

О тиране? Скажи про тирана
Все — и больше того! Присуди
Всей яростью рабской груди
К бесчестию, к позору тирана!

О неправде? Скажи о неправде,
Как крадется она осторожно
В темноте: скажи все, что можно,
О тиране и о неправде.

О женщине? Даже развенчанный,
Отравленный, — умирай,
Но жизни своей не пятнай,
Говоря дурное о женщине!

«Мраморные снились мне палаты...»

Перевод В. Столбова

Мраморные снились мне палаты.

В них в молчанье стоя почивали

Мраморные статуи героев.[9]

Душу я свою зажег, как факел.

Ночью говорил я с ними, ночью.

Проходил вдоль каменного строя,

Каменные руки целовал я,

Каменные губы шевелились,

Каменные бороды дрожали,

Каменные слезы исторгали,

И сжимали каменные руки

Рукоятки каменных мечей.

Молча целовал я руки статуй.

Ночью говорил я с ними, ночью.

Проходил вдоль каменного строя.

И с рыданьем приглушенным обнял

Мраморную статую героя.

«О, скажи мне, каменный воитель,

Слышал я, что пьют твои потомки

Из чужих отравленных бокалов

Не вино, а собственную кровь.

Что они язык свой позабыли,

Говорят на языке господском

И вкушают горький хлеб бесчестья,

Сидя за столом окровавленным.
И теряют в болтовне ненужной
Свой огонь последний. О, скажи мне,
Ты, воитель спящий, мрамор белый,
Может быть, твое угасло племя?!»
Но герой, которого я обнял,
На землю поверг меня ударом
Своего копья и мне на горло
Наступил, и поднялась десница,
Засверкав, как солнце. Грозным гулом
Отозвались камни, и к оружию
Устремились руки, и в сражение
Мраморные ринулись герои.

РУБЕН ДАРИО[10] (НИКАРАГУА)

Размеренно-нежно...

Перевод А. Старостина

Размеренно-нежно дуд ветер весенний,
и крылья Гармонии тихо звенели,
и слышались вздохи, слова сожалений
в рыданиях задумчивой виолончели.

А там, на террасе, увитой цветами,
звенели мечтательно лиры Эолии[11],

лишь дамы коснутся парчой и шелками
высоко поднявшейся белой магнолии...

Маркиза Евлалия с улыбкой невинной
терзала соперников двух своенравных:
героя дуэлей, виконта-блондина,
аббата, в экспромтах не знавшего равных...

А рядом — бог Термин[12] с густой бородою
смеялся, лозой виноградной увенчанный,
блистала Диана нагой красотой —
эфеб, воплотившийся в юную женщину.

Где праздник любовный — в самшитовой чаще, —
аттический цоколь. Там быстрый Меркурий
протягивал к небу свой факел горящий;
Джованни Болонский[13] — отец той скульптуре.

Оркестр волшебство разливал неустанно,
крылатые звука лились безмятежно,
гавоты летучие с чинной паваной[14]
венгерские скрипки играли так нежно.

Аббат и виконт полны страшной обиды —
смеется, смеется, смеется маркиза.

Ей прялка Омфалы[15], и пояс Киприды,
и стрелы Эроса даны для каприза.

Беда, кто поверит в ее щебетанье
иль песней любовной ее увлечется...
Ведь, слушая повесть тоски и страданья,
богиня Евлалия только смеется.

Прекрасные синие очи коварны,
они удивительным светом мерцают,
в зрачках — точно отблеск души лучезарной —
шампанского светлые искры сверкают...

А там маскарад. Разгорается бурно
веселье, растет и растет, как лавина...
Маркиза без слов на подол свой ажурный
роняет, смеясь, лепестки георгина.

Как смех ее звонкий журчит и струится!
Похож он на пение птицы веселой.
То слышишь — в стаккато летит танцовщица,
то — фуги девчонки, сбежавшей из школы.

Как птица иной раз, начав свое пенье,
под крылышко клюв свой кокетливо прячет, —

вот так и маркиза, зевок и презренье
за веером спрятав, влюбленных дурачит.

Когда же арпеджо свои Филомела[16]
по саду рассыплет, что дремлет безмолвно,
и лебедь прудом проплывет, снежно-белый,
подобно ладье, рассекающей волны, —

маркиза пойдет, затаивши дыханье,
к беседке лесной, виноградом одетой;
там паж ей влюбленный назначил свиданье, —
он паж, но в груди его сердце поэта...

Бельканто певца из лазурной Италии
по ветру в адажьо оркестра несется;
в лицо кавалерам богиня Евлалия,
Евлалия-фея смеется, смеется.

... То не при Людовике ль было в Версале,
когда при дворе правил жизнью Амур,
когда вокруг светила планеты сияли
и розою в залах цвела Помпадур?

Когда в менюэте оборки сжимали
красавицы нимфы в прозрачных руках

и музыке танца небрежно внимали,
ступая на красных своих каблучках?

В то время, когда в разноцветные ленты
овечек своих убирали пастушки
и слушали верных рабов комплименты
версальские Тирсы[17] и Хлои-подружки.

Когда пастухами и герцоги были,
галантные сети плели кавалеры,
в венках из ромашек принцессы ходили,
и кланялись синие им камергеры?

Не знаю, как сад этот чудный зовется
и годом каким этот миг был помечен,
но знаю — доныне маркиза смеется,
и смех золотой беспощаден и вечен.

Вариации

Перевод Г. Шмакова

Ты здесь, со мной, и вновь в твоём дыханье
я чую воскурений древний дым,
я слышу лиру, и в воспоминанье
опять встают Париж, Афины, Рим.

Дыши в лицо, пусть кружат роем пчелы,
сбирая с кубков олимпийских дань,
полны нектара греческие доли,
и Вакх, проснувшись, будит смехом рань.

Он будит утро золотой Эллады,
сжимая тирс, увенчанный плющом,
и славят бога пляскою менады,
дразня зубами и карминным ртом.

Вакханки славят бога, тают росы
вокруг костра, рассвет жемчужно-сер,
и от огня румяней рдеют розы
на пестрых шкурах бархатных пантер.

Ликуй, моя смешливая подруга!
Твой смех — вино и лирные лады,
у Термина он треплет ветром юга
кудель длинноволосой бороды.

Взгляни, как в роще бродит Артемида,
сквозя меж листьев снежной наготой,
как ищет там Адониса[18] Киприда,
с сестрою споря нежной белизной.

Она как роза на стебле, и нарды
в себя вбирают пряный аромат,
за нею мчатся свитой леопарды,
за ней голубки белые летят...

* * *

Ты любишь греков? Ну, а я влюбленно
смотрю в таинственную даль веков,
ищу галантных празднеств мирт зеленый,
страну Буше[19] из музыки и снов.

Там по аллеям шествуют аббаты,
шепча маркизам что-то на ушко,
и о любви беспечные Сократы
беседуют лукаво и легко.

Там, в изумрудных зарослях порея,
смеется нимфа уж который год
с цветком аканта, мрамором белея,
и надпись Бомарше[20] на ней живет.

Да, я люблю Элладу, но другую,
причесанную на французский лад,
парижскую нескромницу, живую,
чей резвый ум на игры тороват.

Как хороша в цветах, со станом узким
богиня Клодиона[21]! Лишь со мной
она лопочет тихо по-французски,
смущая слух веселок болтовней.

Без размышлений за Верлена разом
Платона и Софокла б я отдал!
В Париже царствуют Любовь и Разум,
а Янус власть отныне потерял.

Прюдомы и Ом?[22] — тупы и грубы,
что мне до них, когда Кинрида есть,
и я тебя целую крепко в губы
и глаз не в силах от тебя отвести...

* * *

Играет мандолина, звуки, плача,
влетают в флорентийское окно...
Ты хочешь, как Панфило[23] у Боккаччо,
тянуть глотками красное вино,

шутя, внимать соленым разговорам
поэтов и художников? Смотри,
как сладко слушать ветреным сеньорам
о шалостях Амура до зари.

* * *

Тебе милей Германии просторы?
Песнь соловья, луны белесый свет?
Ты будешь Гретхен, чьи лазурны взоры, —
навеки ими ранен твой поэт.

И ночью, волнами волос белея
в лучах серебристых, на крутой скале,
красавица русалка Лорелея
нам пропоет в сырой туманной мгле.

И Лоэнгрин предстанет перед нами
под хмурым сводом северных небес,
и лебедь, по воде плеща крылами,
напомнит формой шеи букву «S».

Вот Генрих Гейне; слышишь, как в дремоте
о берег трется синеглазый Рейн,
и, с белокурой гривой, юный Гете
пьет чудо лоз тевтонских — мозельвейн...

* * *

Тебя манят земли испанской дали,
край золота и пурпурных цветов,
любовь гвоздик, чьи лепестки вобрали
пылающую кровь шальных быков?

Тебе цветок цыган ночами снится?
В нем андалусский сок любви живой, —
его дыханье отдает корицей,
а цвет — багрянец раны ножевой.

* * *

Ты от востока не отводишь взора?
Стань розою Саади[24], я молю!
Меня пьянят шелка и блеск фарфора,
я китаянок, как Готье, люблю.[25]

Избранница, чья ножка на ладони
поместится! Готов тебе отдать
драконов, чай пахучий, благовонья
и рисовых просторов благодать.

Скажи «люблю» — у Ли Тай-бо[26] немало
подобных слов, его язык певуч,
и я сложу сонеты, мадригалы
и, как философ, воспарю меж туч.

Скажу, что ты соперница Селены,
Что даже небо меркнет пред тобой,
что краше и милей богатств вселенной
твой хрупкий веер, снежно-золотой.

* * *

Шепни «твоя», явясь японкой томной
из сказочной восточной старины,
принцессой, целомудренной и скромной,
в глазах которой опочили сны,

той, что, не зная новшеств Ямагаты[27],
под пологом из пышных хризантем,
сидит недвижно в нише из агата,
и рот ее загадочен и нем...

Или приди ко мне индусской жрицей,
справляющей таинственный обряд,
ее глаза — две огненные птицы,
перед ними даже небеса дрожат.

В ее краю и тигры и пантеры,
там раджам на разубранных словах
все грезятся плясуньи-баядеры
в алмазах и сверкающих камнях.

Или явись смуглянкою, сestroю
той, что воспел иерусалимский царь,[28]
пускай под нежной девичьей ступнею
цикута с розой расцветут, как встарь...

Любовь, ты даришь радости любые!

Ты скажешь слово — зеленеет дол,

ты чарами заморозила змия,

что древо жизни некогда оплел.

Люби меня, о женщина! Какая

страна твой дом — не все ли мне равно!

Моя богиня, юная, благая,

тебя любить мне одному дано.

Царицей Савской[29], девой-недотрогой

в моем дворце, где розовый уют,

усни. Рабы нам фимиам зажгут,

и подле моего единорога,

отведав мед, верблюды отдохнут.

Сонатина

Перевод А. Старостина

Как печальна принцесса... Что бы значило это?

Ее губы поблекли, сердце скорбью одето;

улыбается грустно; вздох уныл и глубок...

В золотом ее кресле с ней тоска неразлучна,

и замолк клавесина аккорд полнозвучный,

и цветок позабытый увядает у ног.

Бродят павы по саду в их цветном оперенье,
неумолчно болтает о чем-то дуэнья,
рядом, в красных одеждах, сверкают шуты...
Не смеется принцесса их нелепым стараньям,
все гладит на восток, все следит за мельканьем
стрекозы беспокойной — прихотливой мечты.

Князь Голконды[30], быть может, в ее сердце стучится?
Или тот, что примчался в золотой колеснице,
чтоб глаза ее видеть, свет мечтательный их?
Иль король необъятных островов благодатных?
Царь алмазного края? Края роз ароматных?
Принц Ормуза[31], владетель жемчугов дорогих?

Ей тоскливо и грустно, этой бедной принцессе.
Ей бы ласточкой быстрой пролететь в поднебесье,
над горой и над тучей, через стужи и зной,
по ажурному лучику к солнцу взмыть без усилий
и поэму весеннюю прочесть царству лилий,
в шуме бури подняться над морскою волной.

За серебряной прялкой и с шутами ей скучно,
на волшебного сокола смотрит так равнодушно!
Как тоскливы все лебеди на лазури прудов...

И цветам стало грустно, и зеленым травинкам,
к восточным жасминам, и полночным кувшинкам,
георгинам заката, розам южных садов!

Ах, бедняжка принцесса с голубыми глазами,
ты ведь скована золотом, кружевными цепями...
Замок мраморный — клетка, он стеной окружен;
на стене с алебардами пятьдесят чернокожих,
в воротах десять стражей, с изваяньями схожих,
пес, бессонный и быстрый, и огромный дракон.

Превратиться бы в бабочку этой узнице бедной
(как печальна принцесса! Как лицо ее бледно!)
и навеки сдружиться с золотою мечтой —
улететь к королевичу в край прекрасный и дальный
(как принцесса бледна! Как принцесса печальна!),
он зари лучезарней, словно май — красотой...

«Не грусти, — утешает свою крестницу фея, —
на коне бысролетном мчится, в воздухе рея,
рыцарь; меч свой вздымая, он стремится вперед...
Он и смерть одолеет, привычный к победам,
хоть не знает тебя он и тебе он неведом,
но, любя и пленяя, тебя он зажжет».

Хвала сегидилье[32]

Перевод Г. Шмакова

Этой магией метра, пьянящей и грубой,
то веселье, то скорбь пробуждая в сердцах,
ты, как встарь, опаляешь цыганские губы
и беспечно цветешь на державных устах.

Сколько верных друзей у тебя, сегидилья,
музыкальная роза испанских куртин,
бродит в огненном ритме твоём мансанилья,
пряно пахнут гвоздики и белый жасмин.

И пока фимиам тебе курят поэты,
мы на улицах слышим твоё торжество.
Сегидилья — ты пламень пейзажей Руэды[33],
многоцветье и роскошь палитры его.

Ты разубрана ярко рукой ювелира,
твой чекан непростой жемчугами повит.
Ты для Музы гневливой не гордая лира,
а блистающий лук, что стрелою разит.

Ты звучишь, и зарей полыхают мониста,
в танце праздничном юбки крахмалом шуршат,
Эсмеральды за прялками в платьях искристых

под сурдинку любовные нити сучат.

Посмотри: входит в круг молодая плясунья,
извивается, дразнит повадкой змеи.

Одалискою нежной, прелестной колдуньей
ее сделали в пляске напевы твои.

О звучащая амфора, Музой веселья
в тебе смешаны вина и сладостный мед,
андалусской лозы золотое похмелье,
соль, цветы и корица лазурных широт.

Щеголиха, в каких ты гуляешь нарядах:
одеваешься в звуки трескучих литавр,
в шелк знамен на ликующих пестрых парадах,
в песни флейты и крики победных фанфар.

Ты смеешься — и пенится вихрь карнавала,
ты танцуешь — и ноги пускаются в пляс,
ты заплачешь — рождаются звуки хорала,
и текут у людей слезы горя из глаз.

Ты букетом созвучий нас дразнишь и манишь,
о Диана с певучим и дерзким копьем,
нас морочишь ты, властно ласкаешь и ранишь

этим ритмом, как острых ножей лезвеем.

Ты мила поселанкам, ты сельских угодий
не презрела, кружа светоносной пчелой:
и в сочельник летящие искры мелодий
в поединок вступают с рождественской мглой.

Ветер пыль золотую клубит на дорогах,
блещет в небе слепящей лазури поток,
и растет на испанского Пинда[34] отрогах
сегидилья — лесной музыкальный цветок.

Симфония серых тонов

Перевод Инны Тяняновой

Солнце стеклянное тускло и сонно,
словно больное, вползает в зенит;
ветер морской отдыхает на тени
мягкой и легкой, как черный батист.

Волны вздымают свинцовое чрево,
стонут у мола и шепчутся с ним.

Старый моряк, примостившись на тресе,
трубкой дымит, вспоминая с тоскою
берег далекий туманной страны.

Волку морскому лицо обжигали
солнца бразильского алые лучи;
под завыванья тайфунов Китая
пил он из фляги спасительный джин.

К запаху моря, селитры и йода
нос его сизый давно уж привык,
грудь великана — под блузой матросской,
чуб непокорный ветрами завит.

В облаке буром табачного дыма
видит он берег туманной страны:
вечером знойным под парусом белым
в море тогда уходил его бриг...

Полдень тропический. Волку морскому
дремлется. Дали туман затопил.
Кажется, что горизонт растушеван
серою тушью до самых границ.

Полдень тропический. Где-то цикада
старческой хриплой гитарой бренчит,
ну а кузнечик на маленькой скрипке
все не настроит трескучей струны.

Рузвельту[35]

Перевод Ф. Кельина

С изреченьем библейским иль стихом Уолт Уитмена
ведь нетрудно проникнуть к тебе, зверолов[36]?!

Современный и дикий, простейший и сложный,
ты — чуть-чуть Вашингтон, но скорее — Немврод.

США, вот в грядущем

захватчик прямой

простодушной Америки нашей, туземной по крови,
но испанской в душе, чья надежда — Христос.

Превосходный и сильный образец своей расы,
ты культурен, с Толстым ты вступаешь в спор.

Объезжая коней или тигров в лесах убивая,

Александр ты и Навуходоносор.

(Ты — профессор энергии,

по мнению глупцов.)

Ты прогресс выдаешь за болезнь вроде тифа,

нашу жизнь за пожар выдаешь,

уверяешь, что, пули свои рассылая,

ты готовишь грядущее.

Ложь!

Соединенные Штаты обширны, могучи.

Стоит им содрогнуться, глубокая дрожь

позвонки необъятные Анд сотрясает;

стоит крикнуть — и львиный послышится рев.

И Гюго сказал Гранту[37]: «Созвездья все ваши!..»

(Аргентинское солнце чуть светит сквозь ночь
да чилийская всходит звезда...) Вы богаты,
Геркулеса с Маммоной вы чтите равно,
и твой факел в руках изваянья Свободы
путь нетрудных побед освещает, Нью-Йорк!

Но Америка наша, где было немало поэтов
с отдаленных времен, когда жил Нетцауалькойотль[38],
та, что след сохранила ступни великого Вакха
и всю азбуку Пана когда-то прошла целиком,
 совещаюсь со звездами, знала в веках Атлантиду, —
это имя донес нам, как дальнее эхо, Платон,[39] —
та Америка с давних столетий живет неизменно
светом, пламенем, жаром любви, ароматом лесов —
Америка Инки[40], великого Моктесумы,
Христофора Колумба душистый цветок,
Америка Испанская, Америка Католичества,
Америка, где благородный сказал Гватемок[41]:
«Не на розах лежу я»; Америка, что и ныне
ураганами дышит и любовью живет,
грезит, любит, о солнца любимая дочь.

Берегитесь Испанской Америки нашей — недаром на воле
бродит множество львят, порожденных Испании львом.
Надо было бы, Рузвельт, по милости господ бога
звероловом быть лучшим тебе, да и лучшим стрелком,

чтобы нас удержат в ваших лапах железных.

Правда, вам все подвластно, но все ж не подвластен вам бог!

Триумфальный марш

Перевод О. Савича

Вот шествие близко!

Вот шествие близко! Вот громкие трубы играют.

На шпаге горит отраженье небесного диска;

сияя железом и золотом, воины мерно шагают.

Под арку, где Марс и Минерва белеют, вступил авангард легиона,

под арку побед, где богини Молвы призывают поэтов

и веют торжественной славой знамена,

подъятые к небу руками героев-атлетов.

Оружие всадников статных гремит и звенит невозбранно;

со злостью грызут удила лошадиные зубы;

копыта и громки и грубы;

литавры чеканно

размерили мерой воинственной шаг этот медный.

Так воины с доблестью бранной

проходят под аркой победной!

Вот громкие трубы опять над землею запели;

и чистым звучаньем

и жарким дыханьем,

как гром золотой, над собраньем

державных знамен зазвенели их трели.

Поют они бой и рожденье отваги,
обида рожденье;
султаны на касках, и копья, и шпаги,
и кровь, что в столетиях поле сраженья
прославит;
псов грозного мщенья, —
их смерть вдохновляет, война ими правит.

Певучим стал воздух.

Ты слышишь полет исполинов?
Вот слава сама показалась:
с птенцами расставшись в заоблачных гнездах,
огромные крылья по ветру раскинув,
вот кондоры мчатся. Победа примчалась!

А шествие длится.

Героев ребенку, старик называет,
а кудри ребенка — пшеница,
ее горностаи седины старика обрамляет.
Красавицы держат венки, как задравные чаши,
и розовы лица под портиком каждым, и зыбкой
встречает улыбкой
храбрейшего воина та, что всех краше.
О, слава тому, кто принес чужеземное знамя,
и раненым слава, и родины истым
сынам, что на поле сраженья убиты врагами!
Тут место горнистам!

Великие шпаги времен достославных

приветствуют новых героев, венцы и победные лавры:

штыки гренадеров, медведям по ярости равных,

и копыа уланов, летевших на бой, как кентавры.

Идут победители бедствий,

и воздух дрожит от приветствий...

И эти старинные шпаги,

и дыры на старых знаменах —

былой воплощенье отваги;

и солнце, над новой победой поднявшее алые стяги;

героя, ведущего юных героев, в бою закаленных,

и всех, кто вступил под знамена родимого края

с оружием в руке и в кольчуге из стали, на тело надетой,

жару раскаленного лета

и снег и морозы зимы презирая;

кто, смерти печальной

в лицо нагядевшись, бессмертья от родины ждет, —

приветствуют голосом бронзы военные трубы, зовут в триумфальный

поход!

Лебеди

«Всего лишь на миг, о лебедь, твой крик я услышу рядом...»

Перевод К. Азадовского

Всего лишь на миг, о лебедь, твой крик я услышу рядом,
и страсть твоих крыльев белых, которые Леда знала,
солью с моей страстью зрелой, сорвав с мечты покрывала,
и пусть Диоскуров славу[42] твой крик возвестит дриадам.

В осеннюю ночь, о лебедь, пройдя опустевшим садом,
где вновь утешенья звуки из флейты сочатся вяло,
я жадно остаток хмеля достану со дна бокала,
на миг свою грусть и робость отбросив под листопадом.

Верни мне, о лебедь, крылья всего на одно мгновенье,
чтоб нежное сердце птицы, где мечется кровь живая,
в моем застучало сердце, усилив его биенье.

Любовь вдохновенно сплавит трепет и упоенье,
и, слыша, как крик твой льется, алмазный родник скрывая
на миг замолкает, вздрогнув, великий Пан в отдаленье.

«Зачем киваешь, о лебедь, белою головою...»

Перевод Инны Тыняновой

Хуану Рамону Хименесу[43]

Зачем киваешь, о лебедь, белую голову
тому, кто тих я задумчив бредет по крутым берегам?
Зачем в глубоком молчанье царишь над плененной водою?
Тебя не затмить белизною бледным озерных цветам...

Тебя теперь прославляю, как звонкой латынью
прославил тебя знаменитый Публий Овидий Назон.
Поют соловьи как прежде под лучезарной синью,
и песня одна и та же у разных стран и времен.

Но вы мой язык поймете, со всей его страстной силой.
Вы, может быть, Гарсиласо[44] видали хотя бы раз...
Я сын далекой Америки, я внук Испания милой...
Кеведо[45] в Аранхуэсе песни слагал для вас.

Раскиньте, лебеди, крылья прохладными веерами,
своей белизною чистой порадуйте наш взгляд,
пусть ветерок колыхнется над нашими головами,
и грустные черные мысли пусть от нас отлетят.

Печальные сны навеяли северные туманы,
и в наших садах увяли розы славы былой,
все наши мечты рассеялись, остались одни обманы,
и бродит душа, как нищая, с протянутой рукой.

Со злыми орлами хищными пророчат нам бой кровавый,
и на запястье снова охотничий сокол сидит...
Но где же былая доблесть, блеск нашей старой славы?
Где все Альфонсо и Нуньесы[46], где наш воитель Сид?

Нам не хватает величья, нам не хватает дыханья...
Чего же искать поэтам? Ваших озер тишины.
Вместо старинных лавров — розы благоуханье,
вместо победной славы — сладостный плеск волны.

Испанская Америка и вся Испания с нею
недвижно стоят на востоке тайных судеб своих;
вопросительным знаком лебединой шеи
я вопрошаю сфинкса о будущих днях роковых.

Иль нас отдадут свирепым варварам на мученье?
Заставят нас — миллионы — учить английскую речь?
Иль будем платить слезами за жалкое наше терпенье?
Иль нету рыцарей храбрых, чтоб нашу честь оберечь?

Вы были верны поэтам, вы были тоской убиты,
слушайте, лебеди, крик мой, слушайте мой гнев...
Диких коней Америки, я слышу, стучат копыта,
и тяжело хрипит, задыхаясь, умирающий лев.

...И черный лебедь ответил: «Ночь — предвестница света».

И отозвался белый: «Заря бессмертна, заря
бессмертна!» О милые земли, горячим лучом согреты,
Пандора хранит надежду на дне своего ларя!

Осенняя песня весной

Перевод Инны Тыняновой

Молодость, полная сладостных грез,
твои дни без возврата бегут!
То хочется плакать, и нет слез,
то слезы невольно текут...

Такой же, как многие души на свете,
душа моя путь прошла:
сперва я девочку нежную встретил
в мире мрака и зла.

Был словно солнце взгляд ее чистый,
губы в улыбке цвели,
ночь оплела темнотою душистой
косы ее до земли.

Бывало, взглянуть на нее не смею...

Окутали грезы мои
Иродиаду и Саломею
в горностаевый плащ любви.

Молодость, полная сладостных грез,
твои дни без возврата бегут!
То хочется плакать, и нет слез,
то слезы невольно текут...

Потом у другой я нашел утешенье,
во взгляде других глаз,
такое забвенье, такое смирение
встретил я в первый раз...

Но пламя таилось под кротостью нежной,
мечты и надежды губя;
и даже в тунике твоей белоснежной
узнал я, вакханка, тебя!

Мечту мою детскую ты укачала,
навеяла странные сны...
С какой беспощадностью ты обрывала
цветы моей первой весны!

Молодость, полная сладостных грез,

твои дни без возврата пройдут!

То хочется плакать, и нет слез,

то слезы невольно текут...

Я помню другую: неистовой, грубой

она в своей страсти была

и верно б мне в сердце вонзила зубы,

если бы только могла.

Вся у любви в беспредельной власти,

не зная иного пути,

хотела она в поцелуях и страсти

к вечности ключ найти.

И в жизни плотской и бесполезной

искала райского сна,

забыв, что скоро в вечную бездну

канут и плоть и весна...

Молодость, полная сладостных грез,

твои дни без возврата бегут,

то хочется плакать, и нет слез,

то слезы невольно текут...

А те, иные, во многих странах,

у дальних чужих берегов, —
лишь рой незримый мечтаний странных,
лишь темы моих стихов.

Я в мире царевну искал напрасно,
ее бесполезно искать.
Жизнь беспощадна, горька и бесстрашна,
и некого мне воспевать!

Но я ведь уже и не жду пощады,
я только любви еще жду
и к белым розам цветущего сада
с седой головой подойду...

Молодость» полная сладостных грез,
твои дни бее возврата бегут,
то хочется плакать, и нет слез,
то слезы невольно текут...

Но гори златые взойдут!

О, если горький сфинкс...

Перевод М. Квятковской

О, если горький сфинкс твоей души
привлек твой взор — не жди себе спасенья!
Пытать богов о тайном не спеши:
их только два — Незнание и Забвенье.

И то, что ветру шелестит листва,
что зверь невольно воплотит в движенье,
мы облакаем в мысли и слова.
Различна только форма выраженья.

Раковина

Перевод О. Савича

Антонио Мачадо[47]

Я отыскал ее на берегу морском;
она из золота, покрыта жемчугами;
Европа влажными брала ее руками,
плывя наедине с божественным быком.

Я с силой дунул в щель, и, словно дальний гром,
раскат морской трубы возник над берегами,
в полился рассказ, не меркнувший веками,
пропитанный насквозь морями и песком.

Светилам по душе пришлась мечта Язона,
и ветры горькие ветрил вздували лоно
на Арго-корабле; вдыхая ту же соль,

я слышу голос бурь, и ропщущие волны,
и незнакомый звон, в ветер, тайны полный...
(Живого сердца стук, живого сердца боль.)

Аπο, αμας.[48]

Перевод Инны Тыняновой

Любить всегда, любить всем существом,
любить любовью, небом и землею,
ночную тенью, солнечным теплом,
любить всей мыслью, всей душою.

Когда же станет дальше бесполезным
тяжелый путь но жизни крутизне —
любить зажженную любовью бездну,
сгореть самим в горящем в нас огне!

Ноктюрн

Перевод Инны Тыняновой

К вам, кто слышал, как сердце ночи бьется,
к вам, кто в часы бессонницы печальной
улавливал, как где-то раздается
стук двери, скрип колес и отзвук дальний,

к вам, в тайный миг безмолвия и бденья,
когда забытые встают из тьмы далекой,
в часы умерших, в час отдохновенья, —
мой стих, омытый горечью жестокой.

Воспел я муку памяти смятенной,
что в глубине прошедшего таится,
тоску души, цветами опьяненной,
и сердца, что устало веселиться.

Я мог бы быть не тем, чем стал я в мире этом,
я царство погубил, которым обладал,
я не родиться мог, и не увидеть света,
и не мечтать, как я всю жизнь мечтал.

Так мыслей рой в ночной тиши крадется,
и тьма объемлет сны и бытие,
и слышу я, как сердце мира бьется
сквозь сердце одинокое мое.

Там, далеко

Перевод О. Савича

Вол детства моего — от пота он дымится, —
вол Никарагуа, где солнце из огня
и в небе тропиков гармония струится;
ты, горлинка лесов, где спорят в шуме дня
и ветер, и топор, и дикий бык, и птица, —
я вас приветствую: вы — это жизнь моя.

Про утро, тучный вол, ты мне напоминаешь:
пора доить коров, пора вставать и мне;
живу я в розовом и нежно-белом сне;
горянка-горлинка, воркуешь, в небе таешь, —
в моей весне былой ты олицетворяешь
все то, что есть в самой божественной весне.

Осенние стихи

Перевод М. Квятковской

Даже дума моя о тебе, словно запах цветка, драгоценна;
Взор твой, темный от нежности, нехотя сводит с ума;
Под твоими босыми ногами еще не растаяла пена,
И улыбкой твоей улыбается радость сама.

В том и прелесть летучей любви, что ее обаяние кратко,
Равный срок назначает и счастью она, и тоске.
Час назад я чертил на снегу чье-то милое имя украдкой,
Лишь минуту назад о любви я писал на песке.

В тополиной аллее беснуются листья в последнем веселье,
Там влюбленные пары проходят, грустны и легки.
В чаше осени ясной на дне оседает туманное зелье,
В это зелье, весна, опадут твоих роз лепестки.

Колумбу

Перевод Г. Шмакова

Адмирал, посмотри на свою чаровницу,
на Америку, перл твоей дерзкой мечты,
как, терзая, сжигает ее огневица,
исказив смертной мукой простые черты.

Нынче в сердце Америки — дух разрушенья,
там, где жили по-братски ее племена,
что ни день закипают меж ними сраженья,
за кровавым застольем пирует война.

Истукан во плоть восседает на троне,
истуканов из камня повергнув во прах,

и заря поутру в золотистой короне
освещает лишь трупы да пепел в полях.

Как мы рьяно закон учреждали повсюду
под победные рокоты пушек вдали!
Но увы! Снова с Каином дружит Иуда:
правят черные нами опять короли.

Наша губы испанцев с индейским разрезом,
сок французский тянули вы, словно нектар,
чтоб без устала петь каждый день «Марсельезу»,
чтоб потом запылал «Карманьолы» пожар.

Вероломно тщеславье, как бурные реки, —
потому и втоптали свободы мы в грязь!
Так бы касики не поступили вовеки,
сохраняя с природой священную связь.

Они были горды, прямодушны, угрюмы,
щеголяли в уборах из перьев цветных...
Где же Атауальпы и Моктесумы?
Нам бы, белым, теперь поучаться у них.

Заронивши во чрево Америки дикой
горделивое семя испанских бойцов,

сочеталась Кастилия мощью великой
с мощью наших охотников и мудрецов.

Было б лучше стократ, если б парус твой белый
никогда не возник над пучиной зыбей,
и не видели б звезды твоей каравеллы,
За собою приведшей косяк кораблей.

Как пугались тебя наши древние горы,
прежде знавшие только индейцев одних,
тех, что, стрелами полня лесные просторы,
поражали бизонов и кондоров злых.

Хотя варварский вождь их тебе был в новинку,
он намного отважней твоих молодцов,
что глумились, как звери, над мумией Инков,
под колеса бесстыдно толкали жрецов.

Ты пришел к нам с крестом на трепещущем стяге,
ты закон насаждал — он, увы, посрамлен,
и коверкает нынче писец на бумаге
тот язык, что прославил навек Кальдерон.

Твой Христос на панели — он слабый и грустный!
У Вараввы ж веселье и буйствует пир,

стонут люди в Паленке и плачутся в Куско
от чудовищ, надевших военный мундир.

Упованья разметаны, кровью залиты!
Мятежей и бесчинств закипающий вал,
мук жестоких юдоль — мир, тобою открытый,
так молись о спасенье его, адмирал!

Vesper[49]

Перевод Э. Линецкой

Покой, покой... И, причастившись тайн
вечерних, город золотой безмолвен.
Похож на дароносицу собор,
сплетаются лазурной вязью волны,
как в Требнике заглавных букв узор,
а паруса рыбацьи треугольны
и белизной подчеркнутой своей
спелят глаза и режут их до боли,
и даль полна призывом — «Одиссей!» —
в нем запах трав и горький привкус соли.

Маргарите Дебайль[50]

Перевод О. Савича

Маргарита, море все синей.

Ветра крылья

спят средь апельсиновых ветвей

сном бессилья.

Слышу: в сердце — будто соловей.

Уж не ты ли?

Посвящаю юности твоей

эту быль я.

У царя — дворец лучистый,

весь из нежных жемчугов,

для жары — шатер тенистый,

стадо целое слонов,

мантия из горностая,

кравчие, пажи, шуты

и принцесса молодая,

и не злая,

и простая,

и красивая, как ты.

Ночью звездочка зарделась

над уснувшей землей,

и принцессе захотелось

принести ее домой,

чтоб сплести себе прелестный
венчик для блестящих кос
из стихов, звезды небесной,
перьев, жемчуга и роз.

У принцесс и у поэтов
много общего с тобой:
бродят в поисках букетов,
бредят дальнею звездой.

И пошла пешком принцесса
по земле и по воде,
по горам, по гребню леса,
к распустившейся звезде.

Смотрят ласково светила,
но большая в том вина,
что у папы не спросила
разрешения она.

Из садов господних к няне
возвратилась в отчий дом
вся в заоблачном сиянье,
будто в платье голубом.

Царь сказал ей: «Что с тобою?

Удивителен твой вид.

Где была и что такое
на груди твоей горит?»

Лгать принцесса не умела,
лгать — не дело для принцесс.

«Сорвала звезду я смело
в темной синеве небес».

«Неба нам нельзя касаться,
говорил я сколько раз!

Это прихоть! Святотатство!
Бог рассердится на нас!»

«В путь далекий под луною
я пустилась не со зла,
ветер взял меня с собою,
и звезду я сорвала».

Царь рассержен: «Марш в дорогу!

Кару тотчас понесешь
и похищенное богу
ты немедленно вернешь!»

Плачет девочка в печали:
лучшую отдать из роз!
Вдруг является из дали,
улыбаясь, сам Христос:

«Царь, оставь свои угрозы,
сам я отдал розу ей.
Посадил я эти розы
для мечтательных детей».

Царь корону надевает
и, не тратя лишних слов,
вывести повелевает
на парад пятьсот слонов.

Так принцессе той прелестной
подарил венок Христос
из стихов, звезды небесной,
перьев, жемчуга и роз.

Маргарита, море все синей.
Ветра крылья
спят меж апельсиновых ветвей
сном бессилья.

Ты увидишь блеск иных светил,
но, бродя и взрослою по свету,
помни, что тебе я посвятил
сказку эту.

Андалусские напевы

Перевод А. Голембы

Я на отмели свое имя
увидал и его не стер:
пусть, несомо волнами морскими,
уплывет в голубой простор.

Но не надо твердить, что печали
исцеляет крутая волна;
как принцессу ни утешали,
а принцесса осталась грустна!

Вознеси свой бокал Офира[51]
в дым кадилъниц, в лазурь, в синеву!
«Надо плавать по волнам мира»,
надо жить — вот я и живу.

Жизнь моя, ты идешь откуда?
Жизнь моя, ты идешь куда?

Рану в сердце вовек не забуду,
не забуду о ней никогда!

Все ты понял, друг, и постиг,
но тоски ты не переспоришь:
будут вечными соль и горечь
на горячих устах твоих!

Задремала в лесу Филомела,
а о чем был напев ее?
В этой жизни лишь раз пропело
сердце трепетное твое!

Море, море, мираж, виденье
богоравной хмельной красоты!
Не узнал в тот далекий день я,
что меня позабудешь ты!

Устремясь к твоим горьким далям,
мне река проворчала в страхе:
«Быть Дарио или Дебайлем —
все равно что постричься в монахи».

Есть ли что на свете чудесней
и свежее, чем утро мая?

Как зовут, скажи, тебя, песня?

— Меня? Маргарита Локайо!

И со мной моя воля — отрада,
и строптивых ветров семья,
да еще морехода Синдбада
крутобокая чудо-ладья.

Печально...

Перевод М. Квятковской

Однажды — очень печально, печально и безжеланно, —
смотрел я, как капля за каплей течет вода из фонтана;
а ночь была серебристой и тихой была. Стонала
ночь. Причитала ночь. Слезу за слезой роняла
ночь. И мрак аметистовый, казалось, светлел без света —
его разбавили слезы неведомого поэта.

И я был этим поэтом, неведомый и печальный,
всю душу свою растворивший в струе фонтана хрустальной.

Пройди и позабудь

Перевод М. Квятковской

Это моя болезнь: мечтать...

Напрасно, странник, ищешь то и дело
дорогу лучше, чем твоя дорога;
на что тебе, скажи, моя подмога?
Я мечен знаком твоего удела.

Ты к дели не придешь! В тебе засела
смерть, словно червь, точащий понемногу
все, что от Человека уцелело —
от Человека, странник! и от бога.

Не торопись, паломник! Долог путь
в страну, которой ты не забываешь —
обещанную некогда мечтами...

Мечта — болезнь. Пройди и позабудь!
Упорствуя в мечтах, ты задуваешь
своей неповторимой жизни пламя.

АРГЕНТИНА

ЛЕОПОЛЬДО ЛУГОНЕС[52]

Антифоны[53]

Перевод М. Донского

Как крылья лебязьи, наши седины

Увенчивают надгробие лба...

Как крылья лебязьи, наши седины.

С лилеи упал ее плащ непорочный,

Как с грустной невесты, — минула пора...

С лилеи упал ее плащ непорочный.

Мук? оскверненной облатки причастья

Чудесную силу опять обрела...

Мука оскверненной облатки причастья.

Плоть жалкая, плоть, угнетенная скорбью,

Плодов не дает, как сухая лоза...

Плоть жалкая, плоть, угнетенная скорбью.

На смертном одре и на ложе любовном

Покров из того же лежит полотна...

На смертном одре и на ложе любовном.

Колосья роняют созревшие зерна

В извечных конвульсиях мук родовых...

Колосья роняют созревшие зерна.

О, как скудоэрастная старость бесцветна!
Пусть чувства остынут, пора им остыть...
О, как скудоэрастная старость бесцветна!

Твои, мою шею обвившие, руки —
Как две ежевичные плети язвят...
Твои, мою шею обвившие, руки.

Мои поцелуи глухим диссонансом
Враждебные струны тревожат в тебе...
Мои поцелуи глухим диссонансом,

Не впитываясь, словно капельки ртути,
По коже твоей безответной скользят...
Не впитываясь, словно капельки ртути.

Наши сплетенные инициалы
Глубоко вросли в сердцевину дубов...
Наши сплетенные инициалы.

Поправшее тайною силою годы,
Незыблемо совокупление их...
Поправшее тайною силою годы.

Как будто на шкуре черного тигра,
Во вкрадчиво-мягкой истоме ночной...
Как будто на шкуре черного тигра,

Подобна царице из древней легенды,
Ты дремлешь на мраморном сердце моем...
Подобна царице из древней легенды.

Пролью по тебе я белые слезы
Струистым каскадом венчальных цветов...
Пролью по тебе я белые слезы.

Ночных светлячков наблюдаю круженье,
И мнятся мне факелы траурных дрог...
Ночных светлячков наблюдаю круженье.

Столетнего дерева крона мне мнится
Архангелом Белым, простершим крыла...
Столетнего дерева крона мне мнится.

На черной Гелвуе кощунственной страсти
Он явит мне свой устрашающий лик...
На черной Гелвуе кощунственной страсти

Архангел звездою пронзит мой язык.

Старость Анакреона

Перевод М. Донского

Кончался день. Из алых роз корона
Увенчивала вдохновенный лик.
Божественных созвучий бил родник,
Полн искристого солнечного звона.

В лад сладостный стихам Анакреона
Звук мерный и глухой вдали возник:
Мычало море, как безрогий бык,
Впряженный в колесницу Аполлона.

И ливень роз!.. Поэт склонил чело.
В его душе отрадно и светло, —
Как будто в жилы юный пламень влили!

Он чувствует — в его кудрях цветы,
К ним протянул дрожащие персты...
Венок был не из роз, — из белых лилий.

Кокетка

Перевод М. Донского

В обрамленье струистом золотого каскада
Абрис нежной головки так утончен и строг,
И просторный капотик ей приют и ограда
От забот повседневных и житейских тревог.

Вырез в меру нескромнен. Дразнит запах медвяный.
И лазурная жилка размытой чертой
Белизну оттеняет лилейной поляны,
Затуманенную лишь слегка кисеей.

Как хрупка ее грация, как подобраны краски,
Как идет ее облику этот деланный сплин,
И толику иронии к ее милой гримаске
Добавляет умело нанесенный кармин.

В глуповатых глазах нет та дум, ни мечтаний,
Затуманен вечерними бденьями взор,
А тщеславною ножкой в узорном сафьяне
Попирает она пестроцветный ковер.

Что-то шепчет поклонник. Речь игриво-пустая,

Она веер сжимает, — поза так ей к лицу! —
Бзмахом томно-лукавым невзначай осыпая
Его чуточкой сердца, превращенной в пыльцу.

Старый холостяк
Перевод П. Грушко

Вечерняя мгла несмело
в слепой альков натекла,
где зеркало запотело,
подрагивая оробело
студеной глубию стекла.

Баул на ветхой подставе,
белая стынет постель,
на кнопках, красных от ржави,
в плюшевой синей оправе
старенькая акварель.

На вешалке пугалом длинным
чернеет распятый фрак,
пахнувший нафталином.
Чернильница в духе старинном,
над нею медный Бальзак.

А ветер, беспечней птицы,
влетает в тесный приют
и паутину в глазницы
целует — словно ресницы
на старой ширме живут.

Там ласточек вьется стая,
незримым стрекозам вслед,
меж розовых туч витая,
таинственно выплетая
на шелке прощальный привет.

И в этом алькове сонном,
в кресле, которому век,
подбитом ветхим кретоном,
у печи с огнем, заметенным
золою, сидит человек.

Смотрит в пространство пустое,
трубку жует в тишине,
чувствуя в хмуром покое
смерти соседство слепое
в мертвых часах на стене!

Волшебство

Перевод М. Донского

Тих вечер. Ни одна не кружит птица.
Морская гладь — расплавленный сапфир.
С небес на умиротворенный мир
Лазурное сияние струится.

Простерлись в синеватой дымке дюны...
И спорит с общею голубизной
Лишь белый парус, — слившийся с волной,
Восходит он, как полумесяц юный.

Настолько наше счастье совершенно,
Что к горлу вдруг подкатывает ком...
И море плачет горестно о том,
Что солоно оно, что неизменно.

Х.-М. Блонес. «Играющие гаучо». Конец XIX в.

ЭВАРИСТО КАРРИЕГО[54]

Перевод Н. Горской

Дорога к нашему дому

Ты стала родной нам, дорога,
как вещь домашнего обихода;

и все здесь родное: над тротуаром
высоких деревьев своды,
веселое буйство мальчишек,
и лица друзей старинных,
и шепоток
бесконечных историй интимных,
блуждающих по кварталу,
и монотонные стоны шарманки усталой,
которые нравятся нашей соседке,
большеглазой, печальной.
Мы любим тебя
навечно и изначально,
дорога к нашему дому. Ей-богу,
мы любим тебя, дорога!

Здесь все
нам тревожит память!
Кажется, каждый камень
в своих тайниках скрывает
шелест шагов знакомых,
которых с годами
мы не услышим
у нашего дома.

Дорога, для нас
ты, словно лицо дорогое,
которое мы целовали
несчетное множество раз.

Видишь, как мы сроднились с тобою!

Ежевечерне, без перемены, —
мы видим на улице той же
все те же привычные сцены...
И девушка та же, — скромна и тиха,—
стареющая постепенно
в ожидании жениха...

Порою неожиданные встречи:
незнакомцы, приветливо или строго,
глядят на прохожих с порога.
И расставанья бывают тоже —
кто-то тихо уходит
на новое место иль в бездорожье,
покинув тебя, дорога.

Уходят люди —
соседи, которых больше не будет!
И мы — даже страшно подумать —
однажды уйдем, кто знает — куда,
тихонько уйдем, без шума,
уйдем, как они — навсегда.

Ты вернулась, шарманка

Ты вернулась, шарманка. Ты снова запела,
вызывая улыбки, рыдая,
устало выдыхая... Слепец престарелый
все сидел на пороге, тебя поджидая.
Он слушает молча. И смутным наплывом —
в уголках его памяти где-то —
возникают года, когда был он счастливым
и глава его наполнилась светом,
вспоминает невесту, о чем-то жалеет —
неповторимы
ни радость, ни грусть... И он тихо светлеет,
упиваясь напевом старинным.
Что волнует его, что тревожит?..

Ты вернулась, шарманка. И вновь — как обычно —
тебя слушает каждый прохожий
меланхолично.

Ты неспешно шагаешь по улице нашей,
озаренная зимней луною белесой,
и мотив тараторишь — извечный, домашний.

На углу задержавшись, поешь безголосо
простодушную песню, напев безыскусный, —
что соседке-портнихе по вкусу.

А затем ты на вальс переходишь с налета,
наполняется улица грустной тревогой,
отворяются двери, и кто-то

смотрит в зимнюю лунность с порога.

В этой нежной мелодии, в зыбкости легкой

сколько образов милых, далеких!

А когда ты ушла в молчанье

на ночную легло мостовую,

то слепые глаза — как печально! —

уронили слезинку живую.

Твой секрет

Забыла обо всем... И здесь, на фортепьяно,

к которому давно ты охладела,

оставила дневник — своей души частицу,

записки девушки, болезненной, несмелой.

Интимный мир. Я заглянул в него случайно

и никому не выдам твоего секрета —

поверь, твоим друзьям совсем неинтересно,

что именем моим полна тетрадка эта.

Витаешь в облаках... Рассеянно глядишь...

Вернись скорей — дневник я положил на место.

Оставила мечты вот здесь, на фортепьяно...

Забыла обо всем... Наивная!.. Невеста!..

БАЛЬДОМЕРО ФЕРНАНДЕС МОРЕНО[55]

Перевод В. Столбова

Сорок восемь балконов

Сорок восемь балконов у этого дома,
И ка все сорок восемь хоть один бы цветок.
Что за люди живут в этих серых хоромах,
Ароматы земли не пустив на порог.

Строй равняют балконы мышинового цвета,
Камень душу гнетет, зажимает в тиски.
Неужели стихов здесь не пишут поэты
И не плачут невесты от внезапной тоски.

Проживающим здесь неужели не надо,
Чтобы вился жасмин и дышал за стеной
И цветок за окном как подобие сада
Говорил о природе, хотя бы ручной.

Вам растенья чужды, незнакомы вам птицы,
Вам, не знающим песен, любви и стихов.
Вас обходят дожди, вам не светят зарницы...
...Сорок восемь балконов, и все без цветов.

Человек из пампы[56]

Молча ты пьешь у стойки маленькой пульперии[57],

молча стоит у привязи твой неразлучный конь.

Черными были виски твои, стали совсем седыми.

Знаки судьбы положены на лоб твой, как на ладонь.

Тебе высматривать тучи, выслеживать ливней лавины,

с ветром сухим и пыльным вести мужской разговор.

Лоб твой похож на поле. Четыре глубоких морщины

пересекают, как изгородь, его опаленный простор.

Одной сеньоре бальзаковских лет

Вы храбро вступили, сеньора, в единоборство с годами.

В вашей упряжке ходят солнце, воздух, вода.

Утром вместо молитвы крутите вы ногами,

Овощи, фрукты и овощи — вот и вся ваша еда.

Пускай вам шьет туалеты Рафаэль портняжного дела,

Пускай закованы в каучук вы с головы до ног.

Снова не станет мраморным уже размякшее тело,

Время не пересмотрит сполна отсчитанный срок.

На шею кораллы и жемчуг навесили вы напрасно.
Поверьте, они не скроют жалобных ваших морщин.
Только одно искусство времени не подвластно,
Только оно вашу прелесть векам передаст без седин.

Простые, дешевые краски, пятна тени и света,
Суровой рукой художника брошенные на холст.
Всего лишь четыре слова, но найденные поэтом...
Секрет сохранения юности, как видите, очень прост.

Целуйте меня, сеньора! Не медля, целуйте смело!
Я этих слов хозяин, и только за вами дело!

Элегия на смерть Л. Лугонеса

Может быть, птица поет
Ветвям могучего дуба.

Может быть, речка журчит
Камням замшелым и грубым.

Может быть, плачет ветер
Кресту на церковной крыше.

Может быть, мы молчим.

Потому что ты нас не слышишь.

ЭНРИКЕ БАНЧС

Перевод Н. Горской

Хвала ливню

Три молодых девицы

в покоях пышных сидели,

три прекрасных принцессы

в замке за рукодельем.

Меньшую, со взглядом лани,

прекраснейшую меж ними,

Тростиночкой называли,

Тростинка ей дали имя.

— Ай, почему ты печальна?

О чем ты вздыхаешь тяжело? —

спросил король у Тростинки,

и стала плакать бедняжка.

— Сеньор, золотистым шелком
девиз я вышила ныне:
«Меня госпожа Венера
держит я своей твердыне».

Инфанта вновь зарыдала,
король разгневался страшно:
— Мою негодницу дочку
бросьте в сырую башню!

В каменной башне мрачной
место девчонке глупой!.. —
... Голубка кругом летала —
лучник убил голубку...

— Лучник, страж королевский,
сделай такую милость,
дай мне воды глоточек,
в башне я истомилась!

— Да я не смею, инфанта!
Коль сделаю то, что просишь,
мне голову вмиг отрубят
и псам кровожадным бросят.

— Сестрички, мать-королева,
возьмите в реке водицы!.. —
Но не услышали просьбы
ни матушка, ни сестрицы.

Тут ливень внезапно хлынул,
ливень из тучи серой,
добрый и звонкий ливень —
строка в моем романсеро.

Инфанта простерла руки,
а лучник колчан подставил...
В ладонях вода искрится,
в колчане она блистает.

Романс пленника

Жена, моя радость,
ты в доме одна.
Я щек твоих нежных
не поцелую, жена.

Любимые дети,
луч солнца в окне,

вас, теплых и сонных,
не приголубить мне.

Над мельницей нашей
ночная звезда,
теперь ты погасла
и не взойдешь никогда.

Друзья дорогие,
мы пили вино,
так было когда-то,
было давным-давно.

Я к маврам попался
на море, в бою;
о юности плачу —
плачу, а не пою.

АЛЬФОНСИНА СТОРНИ[58]

Перевод Т. Глушковой

Я хочу

Вернуться вспять, к тому, что первоначально,

стать, как трава, как юные цветы,
не мыслить, но, придя к истоку красоты,
пить сок и не разбить звенящего стакана.

Печальный конвой

Эта нелепая попытка — бессонно, бессонно бродить!
«Его» всегда близоруко — ему ли водить...
Эти сухие поляны не в силах роса напоить.
Ветер, обнявшись с огнем, налетел, чтобы землю спалить.
Смерть: «Я спешу, чтоб печали твои утолить!..»
...Эта нелепая попытка — бродить и бродить!..

Если мне вырвут язык, если выключат очи мои,
руки отрубят и п?д ноги бросят репы, —
мука моя и тогда бы не стала черней
этих суровых и мрачно гремящих цепей,
этой гиены и рева насытых зверей,
этого яда под жесткою кожей ветвей.
Я полюбила цветы, а сама-то я — плод,
воду люблю, а сама — холодеющий лед,
в землю уйду, а люблю молодой небосвод.
Этот печальный, седой, пропыленный конвой —
я та, что бродит и бродит
сама за собой.

Покинутость

И вот, теплом напившись человеческим
твоей руки, что мне легла на плечи,
душа как будто уж не так больна.
О, как сладка мне эта белена —
всей жизни безрассудное забвенье
и неизбежное соединенье
мечты и плоти, что опять хмельна!

Меланхолия

Не боль, но благо — если я умру,
но пусть меня тот путник поцелует,
что, как дитя — веселый, поутру
мое окно, бывало, не минует.

Тебя зову я, смерть, но жизнь я обожаю...
Когда я лягу в гроб — уже всему чужая, —
пообещай: еще хотя бы раз
весенний луч моих коснется глаз.

Пусть на прощанье повеет мне с неба весенним теплом,
пусть плодородное солнце моим не смущается льдом...
Добрым бывало ко мне золотое светило:

доброе дня пожелать — лишь затем по утрам восходило.

Маленький человечек

Маленький человечек, маленький человечек,
выпусти певчую птицу, которая хочет летать...
Я ведь — птица, маленький человечек,
только вольным простором могу я дышать.

Все-то я в клетке, маленький человечек,
маленький человечек, который в клетку меня заточил.
Я зову тебя маленьким, потому что меня ты не понял —
у тебя не достало на это сил.

И я не пойму тебя, так что лучше
отвори мне клетку — ведь птица должна летать.
В четверть души я люблю тебя, маленький человечек,
и не более — сколько бы ты ни просил!

Быть может

Быть может, все, что я в стихах сказала,
давно уже искало воплощения,
запретное, оно едва дышало

и жаждало, таясь, раскрепощенья.

Оно в моем роду существовало
и нарастало в женском поколенье.
Но говорят, что век свой промолчала
боль матери моей... Еще не пенье,

но темное желанно свободы
от немоты, от черновой работы
в слезах печальной женщины читалось.

И все, что было мучимо, и бито,
и за семью печатями укрыто, —
со мною вдруг на воле оказалось.

Однажды весной

Где же мой друг, что промолвил мне,
белую глядя бороду:
— Будь осторожна, малышка, смотри —
сердце свое береги!

Весны уходят, и только дожди
ждут на осенних дорогах...

Будь осторожна: как бы тебя
пламя твое не сожгло!

Я оробело внимала ему,
в смутной дрожа тревоге.
— Птицы поют! — я сказала в ответ. —
Речка звенит! — сказала.

На лбу у себя — зеркале бурь —
помню его ладони.
Он наклонился ко мне, шепча:
— Бедная ты девчушка...

Молитва

Я во сне увидала, о боже, такую любовь,
что ни разу еще никому на земле не приснилась,
лишь с бессмертной жизнью она бы, пожалуй, сравнилась
и с поэзией, льющейся в душу без слов.

Миновала зима — но по-прежнему стынула кровь,
и еще раз весной зима терпеливо сменилась,
я надеялась: летом ко мне постучится любовь,
но и осенью я ожиданием напрасным томилась.

Боже правый, спина моя обнажена,
и суровый твой кнут без роптания примет она;
словно грешник заклятый, я слышу твой грозный укор:

ведь над жизнью моей занимается пламя заката,
и в несбывшейся страсти я только одна виновата —
за стихами ее проглядела, сеньор!

Узы

Пустая мечта, ты живешь в душе,
грея ее понемногу.
Ежишься, точно нищенка
горькая у порога.

Если б я ушла от тебя,
вольной желая воли,
сердце мое одинокое
умерло бы от боли.

Но ты притаилась в моей груди
и стережешь мой голос.
С жизнью постылой меня связал
этот тончайший волос.

Я то и дело гнала тебя:
морочь ты кого другого!..
Но ты возвращалась ко мне опять,
как докучливый овод.

Уроки

Если б наши сердца откликаться, как эхо, умели,
в них воскресли бы мертвых людей голоса,
а возможно, что в них зазвенели бы трели
певчих птиц, озарявших леса.

Ведь, усвоив себе доброту с колыбели,
сердце учится жизни, меж тем репетируя смерть,
репетируя драму, которую мы разучить не успели
и которую мы в одиночестве будем играть и смотреть.

Сколько раз оно плакало, билось к пелю,
обрывалось и падало, чтоб к поднебесью лететь...
Обучение смерти — почти безнадежное дело:
каждый миг умираем, затем чтобы раз умереть.

Я буду спать

Подари мне, кормилица, чепчик росы,
руки трав молодые и зубы цветов,
нежный мох распуши для перины,
дай мне простыни земляные.

Ты меня убаюкай, пестунья моя...

В изголовье затепли мне лампу:
из созвездий любое по вкусу возьми,
но его наклони ты пониже.

Я останусь одна... Слышишь: зреет листва,
и рука, что качает тебя, так легка
в небесах, и проносятся птицы,

чтобы ты позабыла... Спасибо. Одна
только просьба: когда он опять позвонит,
ты ответь, что я попросту вышла...

ПЕДРО МИГЕЛЬ ОБЛИГАДО[59]

Дождь не говорит ничего

Перевод Т. Глушковой

Город в сумерках бродит.

Звеня,

дождь приходит —

агония дня.

Мокрый город не видит лица своего,

за туманом глаза он прячет.

Дождь не говорит ничего

и плачет.

Люди бегут от хрустальной воды;

послушно

закрываются окна, как от беды, —

и, быть может, один человек поглядит равнодушно...

Дождь, похоже, устал от себя самого;

словно розовый куст, что без роз, одичало маячит,

он не говорит ничего, ничего, ничего

и плачет.

Пришел он, посланец реки,

с поцелуями свежести,

послание рвется на капли, в клочки,

чтобы мы причастились струящейся нежности.

Но, понимая, что люди отвергли его,

он все звонче по улицам скачет,

речь заводит... И под конец не говорит ничего

и плачет.

Как безумец в своем исступленном упрямстве,
вспоминая забытую песню, он стонет,
неуютно ему в этом темном пространстве,
все мешает ему, и все его гонят.

Луговая трава не желает уже ни глотка от него,
люди, прячась, его то и дело дурачат, —
он не говорит ничего
и плачет.

Может, глядя на горе людей,
он слезинки льет
или вспомнил тончайшую из вечерних затей —
полотно нам в утеху ткет?
Или, видя, что людям не до него,
он скорбит об уделе, который ему предназначен?
Дождь не говорит ничего, ничего, ничего
и плачет.

Над мертвым днем
звук мелодии чистой
пролетает с дождем.
Серебристый,
зачарованный звоном его,
город в ночь заплывает незряче...
Дождь не говорит ничего
и плачет.

ЭЗЕКИЕЛЬ МАРТИНЕС ЭСТРАДА[60]

Перевод Б. Слуцкого

«Найди подругу, жизнь ей посвяти...»

Найди подругу, жизнь ей посвяти.

Разделит пусть свой дар она с тобою.

Ведь ранам, что настигнут среди боя,
иначе исцеленья не найти.

Пусть сердце выберет само пути.

Поверь в его решение любое,
оно сумеет овладеть судьбою,
тебе поможет к счастью ключ найти.

Найди родную душу. Ночи скоро
дня светлого уступят место споры,
а накануне хорошо, мой друг,

чтоб любящим тебя дарили взглядом
и чтоб с тобой в несчастье стали рядом
и чашу с ядом вышибли из рук.

Плуг

Вот он, как пес домашний, верный
железный брат, покорный друг
с челюстью необыкновенной
рунический, библейский плуг.

Это он сокровищ груды,
скрытые в грязи, в пыли,
золото и изумруды
вырывает из земли.

Куплеты слепого

Простейшее чудо пред нами
любви я ума:
цветы с семенами!

Таким был рассеянным он,
что умер,
не зная, то смерть или сон.

Без разъяснений честна
обычная честность,

как немота — нема.

Я умер! — приснилось мне.

Проснувшись, решил я,

что и проснулся во сне.

Я нехотя признаю,

что мне совершенно неважно

все то, что я узнаю.

Лишь после свадьбы она

поняла, что опять одинока

и, как и прежде, — одна.

Уходишь? Ну что ж, все равно,

ведь не потому, что позвали, —

ушла без того ты давно.

Сорвавшийся с дуба листок

подумал, что освободился,

но ветер его уже влек.

— Узнав все слова и дела,

не ведала мудрость, не знала,

зачем она век прожила.

Червь розе признался: во сне
ты бабочкою обернулась!
Приснилась ты бабочкой мне!

Любили так сильно и вольно
друг друга они,
что даже смотреть было больно.

О, чтоб это ни означало,
но я бы тебя не нашел,
когда б не утратил сначала!

Что скрыто, и глубоко,
и словом невыразимо —
об этом мне петь легко.

Эзекиель Мартинес Эстрада

Пролог

Еще не тяжело возрастное бремя,
но с некоторых пор я признаю:
слабеет память и приходит время
припомнить по порядку жизнью свою.

Прибытие

Я в праздник в город свой родной попал.
Дым фейерверков в честь мою клубился
и до утра гремел оркестром бал,
хоть вся заслуга в том, что я родился.

Наследственное имущество

Отец мне завещал упрямый взгляд
и жажду новых приключений тоже.
Мать — том стихов, еще — метафор ряд
в обивке из моей же кожи.

Первый выезд

Картонный конь мой бьет копытом рьяно.
Навстречу солнцу еду налегке,
как начитавшийся Эспландиана,
испанец с шпагой тоненькой в руке.

Первый поступок

Свой идеал из дыма я лепил,
хоть мудрый Прометей прибегнул к глине.
Кол в горле, сигареты первой пыл,
при слове «дым» не вспомнится и ныне.

Творчество

Бесцельные старанья муравья.
Да, после всех усердий и усилий,
так по себе и не оставлю я
ни дерева, ни книги и ни сына.

Отъезд

Я, сапоги обув, отъезда жду,
прощаюсь, плавно воздевая руки.
Мне возвращение сулит беду,
болота, горы. Жаль! Прощайте, други.

Эпитафия

За все я чистым золотом платил,
неведомому богу бил поклоны,
в нем Красоту и Правду я почтил,
но мертвым здесь возлег на смерти лоно.

РИКАРДО МОЛИНАРИ[61]

Ода пампе

Перевод Н. Горской

I

Во мне — в простор спокойный, и пальмы стремительная неподвижность —
исхлестаны ветки ветром небес вечерних, —
земля родная, гляжу на тебя и в ласковом умиранье вижу
рождение
мечты и тайны.

С высоких и желтых пастбищ к закатному солнцу взмывают
жесткие листья и полные грусти

колосья нагие,
и улетают последние птичьи стаи;
к тебе навсегда прикован, ищу я снова
прозрачную боль твоей ностальгии,
ищу мою тень, что блуждает по этому краю.

Дикая утка, как сердце мое, одинока
в начале марта!
В тебя, о пампа, стекаю рассветом росным
и возвращаюсь в недра, подобно грозам;
кричу, и только травы мой зов услышат
и бег почуют — как ветра вспышку.

Просторы неба, трава и тучи, страна глухая,
где только ветер рождает ветер,
не отдыхая!
К тебе, о пампа, земля печальной я сладкой неги,
льнут сердцем дети
твоих багряных
и темных далей!

И только утка взлетает в марте!

II

За летом вослед уплывает ветер и развеивает
тонкую пыль и семена черной травы,
а день и весел и светел, как свежий цветок, облитый

кристальной прохладой воздушной струи.

Под пышной короной колыхается свет, не замечая
длинных теней на ладони долины,
не слыша журчанья скудеющих вод и не зная,
как темные всплески качают камыш.

И песня во мне оживает:

Свистел, порхая,
вечерний ветер,
как птица — темный —
на свежей ветке.

Влюбленных радость
нельзя измерить;
проказник ветер
ерошит перья.

Ручьи ослепли
при нашей встрече,
но все ж их речи
звучат сердечно.
Влюбленных радость
конца не знает.
Забвенье лучше,
чем расставанье.

Полночный ветер,
бессменный сторож,

бродил по морю,
по волнам черным.
Приходит радость
с прохладой первой:
сквозь тьму несешься,
а песня — в сердце.

И ветер веет,
о мать, ты знаешь, так сладко веет!

И только утка взмывает в марте!

III

Тобой плененный влюбленный пленный, смотрю, как ты грустишь в томленье,
и наблюдаю сезонов смену —

то гнет туманов и буйство ливней, то вдруг разливы
различных красок, цветов пыланье и трав рожденье —
зеленых пастбищ — до неба — пламя;
и куропатка бормочет что-то и ввысь внезапно
дрожащей каплей взмывает плавно.

Тобой любуясь, не удручаюсь я этой сменой и без печали
слежу, как лето пройдет бесследно, в забвенье канет,
но не угаснет — оно как искра в кострах нетленных;
судьбы веленьем я вольный странник под облаками,
я словно птица твоих бескрайних, безмерных далей.

Приходит осень, и барабаны скорби своим раскатом

равнину ранят и предвещают бурю.

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС[62]

Перевод С. Гончаренко

Улицы Буэнос-Айреса

Улицы Буэнос-Айреса,

вы — сердцевина моего сердца.

Не бодрые проспекты,

замученные спешкой пешеходов,

а вы, переулки тихих предместий,

вы, незнакомые с кроткими кронами деревьев,

улицы окраин,

где мрачные лачуги,

подавленные бессмертным пространством,

боятся утонуть в долгом просторе

равнины и неба.

Всем, кто истосковался по живой душе человеческой,

вы обещаете счастье:

на ваших перекрестках братаются жизни,

вырвавшиеся на волю из заточенья квартир.

Низкий поклон вам хотя бы за то, что по вашей брусчатке

шагает с решительностью заблужденья

надежда.

Ваши извивы — как колыхание флагов,

реющих на семи ветрах поднебесья.

Пусть же на древке моих стихов
заплещут эти знамена.

Монета

В ту промозглую ночь,
когда мы отчалили от пристани Монтевидео,
я зачем-то швырнул с верхней палубы в море монету.
Она, сверкнув в луче, канула в мутную воду —
осколок света, тотчас проглоченный временем и темнотой.
И вдруг я понял, что сделал нечто непоправимое.
Я навязал истории мироздания
помимо собственной судьбы, сотворенной
из любви, тревог и тщетного непостоянства,
еще и судьбу этого металлического кружочка,
который теперь, хочешь не хочешь, существует
на равных правах со мной.
Быть может, волны успокоят его в вязкой пучине
или увлекут в незапамятные моря,
омывающие останки саксов и викингов.
Но как бы там ни было, а только отныне
рядом с каждым прожитым мною мгновеньем
я ощущаю мгновенье, прожитое этой монетой.
Иногда меня терзают угрызения совести.
Но чаще всего мучит зависть:
я завидую своему медному собрату,
который, как и я, заблудился в лабиринте времен,
но, в отличие от меня,

не подозревает об этом.

Пределы

У Верлена есть строчка, которую я так и не вспомню.

Где-то неподалеку есть улица,

по которой я уже не пройду.

Даже в моем доме наверняка имеется зеркало,

которое меня больше не увидит.

Какую-то дверь я закрыл за собой навсегда.

Среди книг моей библиотеки (вот они, рядом)

есть одна особенная —

мне так и не доведется ее прочитать.

Этим летом мне исполняется пятьдесят лет.

Значит, смерть уже не за горами.

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС ТУНЬОН[63]

Улица дырки в чулке

Перевод С. Гончаренко

Та улица... (Подобная есть в городе любом.)

Та женщина любимая в берете голубом...

Мы шли по этой улице, где — ни души окрест...

А в балагане ярмарки всю гремят оркестр.

Фрегат в стекле бутылочном[64].... И горизонт в дыму...
Та улица мне памятна, а больше — никому.
Ночь дрыхла в баре, голову на стойку уронив.
Кривились губы, выстрадав заученный мотив.
И пусть афиша ветхая плескалась на стене —
но паутиной прошлого она не мнилась мне.
Не мне светили города рекламные огни,
и рассыпались бисером не для меня они.
Но что с того? Я видел сны, похожие на сны:
как сновиденья детские, прозрачны и ясны...
Куда б ни торопился я, ни мчался впопыхах,
горела радость светлая в улыбке и глазах.
И был мой лик ликующий в витринах отражен,
и было ясно каждому: я счастлив и влюблен.

Знакомы вам пейзажи на витринах расписных?
И тряпочные куколки в беретах голубых?
Шагающие в утро оловянные войска?
И весело раскрашенный возок зеленщика?
Так далека любовь моя, и так она близка...

Не верил в злую долю я, не верил, что умру...
Плескалась ветвь весенняя на голубом ветру!
И пел слепец на площади... И я сказал тебе:
«Люблю борьбу. И жизнь свою я послащу борьбе».
Портье. Крутая лестница. Гостиница твоя.
И музыка и музыка — во мне и вне меня!
Веселыми цыганами из труппы кочевой

в мансардовой обители мы счастливы с тобой.

И весело, по-новому гудят колокола...

Худой чулок ты штопаешь... И тонкая игла

лучом продета солнечным сквозь дырку на чулке...

Каморка, озаренная лучом в твоей руке!

Я помню ту гостиницу. Я знаю назубок

ту улицу далекую, портовый городок...

Куда бы ни уехал я, несу в себе я боль,

и все бреду по улице, где встретился с тобой.

Я жил когда-то там... Давно... И вновь на сердце грусть.

Ведь «жил когда-то» — все равно, что «больше не вернусь».

Я хотел бы, чтоб ты снималась

в моей звуковой картине

Перевод И. Чижеговой

Послушай-ка, ты, девчонка, с веснушчато-вздернутым носом!

Тебе каких-нибудь двадцать; впереди — надежд миражи...

Жених твой — рабочий парень, похожий на Нильса Астора,

неумелым прищуром завешен взгляд твой прозрачно-синий...

Я хотел бы, чтоб ты снималась в моей звуковой картине!

Поют на деревьях птицы в радужном оперенье.

С базара несут хозяйки в корзинах фрукты, коренья.

Я вижу стройку, рабочих, сварки свежий шов,

блоки, подъемные краны, нагроможденье лесов.

В белых сверкающих зданьях лифты блестят полировкой,
на этажи поднимая газетные заголовки.

Я чувствую, сердце мчится, рождая мысль на бегу,
и она замыканьем коротким вспыхивает в мозгу.

Дешевенькая таверна. Игроки устали от споров.

Парикмахерские сияют разноцветным кольцом реклам.

И дома, где в узости длинных, освещенных едва коридоров
цвет одинаково тусклый дан и ночам и дням.

И порт. Любимое сердцем место уединенья,

Там запах моря наполнен памятью и забвеньем,

там рвется душа на волю, к странствиям и приключеньям...

И порт, и таверна, и море пропитаны жаждой движенья.

Послушай меня, девчонка, в берете пушисто-синем, —

вряд ли дороже доллара этот новый берет, —

я хотел бы, чтоб ты снималась в моей звуковой картине!

И еще... Но сказать об этом слов настоящих нет.

Написано в трастьенде[65]

Перевод М. Самаева

В каждом порту в это время
ночь отдыхает над реями
дремлющих кораблей.
И старый, бывалый моряк безмолвно
смотрит на лунные четки, упавшие в волны.

Голубки бродячих мелодий чуть слышно
кружат, огоньки маяков колыша.
Ах, если б к твоим волосам,
как к последней стоянке, прибиться!

Из мрака
звезды взмывают н? берег мгlistый,
звезды, охрипшие, точно голос
чахоточной виолончелистки,
чей кашель сливается с музыкой в баре.
Проститутки прогуливают на бульваре
свою усталость, пропахшую пылью и алкоголен.

В портовых кварталах разных широт
в это время кто-нибудь ждет.

Дворы опускаются к самому морю,
звуками воспоминаний матросов маня.
Сладкая горечь жизни, как терпкая влага из фляги.

В каждом порту есть бродяги,
похожие на меня,
бродяги, которые носят у себя на запястье
сердце-кораблик,
плывущий к далекому счастью.
Есть улица — долговязая, пьяная,
затерявшийся среди ночи обломок.

И когда заря, пробуждая птиц,
трубит в свой рог на краю небосклона,
в портовых кварталах разных широт
в это время кто-нибудь ждет.

Пятый полк[66]

Перевод В. Столбова

Ветер, кастильский ветер,
правда в тебе и сказка,
ласков ты и неласков,
звонкий и молчаливый.
От двух матерей ты, ветер,
магнолии и оливы.
Республиканское знамя,
ветер в тебе и пламя,
и кровь испанского сердца.

Тебя поднимают солдаты
полка, что зовется Пятым.
Знамя, винтовка, ветер,
горький кастильский ветер.
Настежь раскрыто сердце,
кровь запекает тихо,
кровь обретает выход
из обнаженного сердца —
выход на жаркий ветер,
на ветер, кастильский ветер.
Ветер морской и рабочий,
он крылья мельниц ворочал,
ветер страды военной —
он бьет, сокрушая стены,
он мчится, прямой и грозный,
и путь его неизменный —
к далеким, но ясным звездам.

На смерть Федерико Гарсиа Лорки[67]

Перевод В. Столбова

Смотрит смерть влюбленными глазами,
сердце мертвое исходит криком,
попыхают пепельные зори

там, где расстреляли Федерико.

На земле, в тени густой оливы,
смерть стихи нашептывает тихо.
И шумят, во тьме шумят приливы,

там, где расстреляли Федерико.

О, заря убийц и кардиналов,
преступленья страшная улика!
Вырастет бессмертник небывалый

там, где расстреляли Федерико.

Запевают вечером цикады,
херес по заре шелками выткан,
и цветут, во тьме цветут пионы,

там, где расстреляли Федерико.

Всюду жизнь, бессмертная навеки,
обнимает камень повилика,
мчатся к морю сумрачные реки,

там, где расстреляли Федерико.

Мертвые скорбят тореадоры,
лихорадит сердце злая прихоть,
и блестят, во тьме блестят навахи[68],

там, где расстреляли Федерико.

Смотрит смерть влюбленными глазами,
алая в руках у ней гвоздика.
Отвоюем мы святую землю,

на которой умер Федерико.

Песня для бродяг

Перевод В. Васильева

(Написана Хуансито Каминадором)

Привет, бродяги, привет!

Тропа то уже, то шире,
и ничего у нас в мире,
кроме беспечности, нет.

Да здравствует братство всех
плутающих по вселенной!
Кроме мечты сокровенной,
нам не осталось утех.

Порой не смыкаем глаз.
Ни очага, ни одежды.
На свете, кроме надежды,
нет ничего у нас.

За тех мы подыдем тост,
кого лишь вино согреет,
кто ничего не имеет,
кроме мерцающих звезд.

И пусть безумен наш пыл.
Начнем резвиться, как дети.
У нас ничего на свете
не будет, кроме могил.

Забыло небо про нас.
Не раз за чужим порогом
друг другу мы скажем: «С богом!»
Но к богу пойдем лишь раз.

Элегия на смерть Мигеля Эрнандеса[69]

Перевод А. Гелескула

Струитесь, слезы боли и печали... Гарсиласо

За какую звездою искать его взглядом?

Где зацвел его посох лесною черешней?

Где теперь он пасет белопенное стадо
под напев, улетающий горечью вешней?

Пусть речная волна его сердцу постелет
каменистое ложе на ласковом плесе,
чтобы пели шахтеры и пахари пели
там, где тень его бродит, срывая колосья.

Но я знаю — он жив: когда черная кара
настигает убийц, восстает он из тленья.
О руках его бредят немые гитары,
и к пылающей Волге зовет его пенья.

Он в борьбе ежечасной. В тюрьме и могиле,
со скитальческих троп и повстанческих высей
он возносит знамена — багряный светильник
для воскреснувшей поступи Павших Дивизий.

Он по-прежнему с нами, познавшими рано,
что кровавые меты поэзию метят.
Мы сегодня стоим под крылом урагана,
но не в бегстве — в полете нас молнии встретят.

Он был голосом времени, хлынувшим кровью,
и на наших губах не умрут его звуки.
Бьют кровавые крылья в мое изголовье.
Пепел мертвых поэтов сжигает мне руки.

Да прильну я к их теням, лишенным покоя,
и, завет их свершая, умру, но не смолкну!
Звезды, воды, деревья, голубки, левкои —
без ружья под рукой вы отныне безмолвны.

Было тихо, но я и Мигель уже знали:
это пальцами молний к нам тянутся тучи...
Я сберег его имя, и вновь оно с нами
возвращается мерить дороги и кручи,
и в тумане войны на походное знамя
это имя приколото розою жгучей.

О Мигель, — мертвый голос, простертый распятым!
На клинках твоих губ — поцелуи свободы.
И пока мы за кровь твою яростно платим,
твой напев побеждает легенды и годы.

Твоим именем нивы взывают о ружьях,
твоим именем ружья взывают о нивах,
и от моря до моря над пашнями кружит
гул гражданских стихов и боев справедливых.

И, вставая из праха пылающим маком
и во тьме обжигая предутренний ветер,
ты горишь перед нами пророческим знаком
твоего воскрешенья в испанском рассвете.

Диего Ривера. «Сельская школа».

Блюз покинутого корабля
Перевод И. Чижеговой

Я здесь давно, с тех пор как потерпел крушение...
Кто, изменив мой курс, разбил меня о риф?
Здесь разрушаюсь я и превращаюсь в дерево,
лишь дерево одно мой образ сохранит.

Я илом занесен, во мне каменьев груды,
в них тайна гибели моей догребена.
На корабле — один, став жертвой грозной бури,
о риф забвения разбился капитан.

Воспоминанья вновь живут в моих отсеках,
едва луна во тьме найдет меня лучом.
Я вижу, как, дрожа, целуют мачты небо
в водовороте злых, солено-горьких волн.

Я вижу порты вновь, холмы угля и соли,
таможню, грустного чиновника глаза...
На кораблях чужих поют аккордеоны
в моряцкой злой тоске о милых берегах.

В тавернах моряки пестрят татуировкой:
здесь женщин имена, и сердце, и стрела...
Играет автомат, и чайки с криком громким
над баржей немощной, как ангелы, кружат.

Я вижу контуры затопленных селений
и слезы матерей о мертвых сыновьях,
зловещий силуэт жилищ оцепенелых
и полчища бродяг на грязных пристанях.

Я огибаю вновь благоуханный остров,
и рыбаки следят за мной в закате дня...
Я снова их детей зову из глубины мертвой,
но, поглотивший их, не внимлет океан.

Не страшен мне туман, глаз рулевого зорек.
Я к берегам чужим везу восторг и боль.
В моих каютах спят любви случайной воры,
и старый лесоруб, и шайка шулеров.

Не могут сокрушать мой остов горделивый
ни тягостный туман, ни солнечный костер.
И мой покой в плену приливов и отливов
тревожит лишь порой набег ребячьих орд.

О, быть бы мне мостом, огромным в звенящем,
в строительных лесах себя запечатлеть
или ковчегом стать в потоке предстоящем...
Но заживо навек я похоронен здесь.

Порой прошелестит вдоль отмели песчаной
Марии легкий шаг. Движения ее
так юны и нежны. И с тихим состраданием
на одиночество она глядит мое.

И я тогда люблю безлюдье и туманы,
и осень влажную, и старую печаль...
Мне машет альбатрос приветливо крылами,
о скорбный облик мой — весь в золотых лучах.

Стихи к одной фотографии

Перевод И. Чижеговой

Я в лицо моей родине как обвиненье
брошу этот портрет. Страхом скованный рот;
как пугливый зверек, она вся в напряженье...
Эта девушка здесь, в Аргентине, живет.

В грустно-нежном соцветье улыбки сердечной
сквозь жестокую боль проступает на миг
под зловещим покровом усталости вечной
красоты ее дикой божественный лик.

Огрубелые руки не знают покоя,
все в мозолях сплошных, они сеют и жнут.
Ей обидные клички больней, чем побои.
Ее голодом морят за каторжный труд.

Повторял ее имя Спартак, погибая.
За нее на кресте принял муки Христос.
Дочь Адама и Евы, лишенная рая,
чьи страдания и скорбь долетают до звезд.

Пусть лицо обвеваает ей ветер лукавый,

отлетевший от розы ветров лепесток.

Пусть вернут ей лишь то, что должны ей по праву:

горы, небо, моря, перекрестки дорог.

Пусть поставят ей дом на земле плодородной,

пусть зажжется очаг, застрекочет сверчок.

Пусть вспорхнет ее сердце орленком свободным,

и пусть сон ее будет беспечно глубок.

Слышу я, как История грозным набатом

загудела: в лицо угодил ей портрет!

Ради девушки этой я стану солдатом,

чтобы ночь умерла и родился рассвет.

Товарищ Туньон

Перевод В. Столбова

Я пробовал разные ритмы, на всякие пел голоса.

Падал в глубокие бездны, взлетал высоко в небеса.

Жизнь моя вихрем дерзаний и блеском надежд полна,

с годами становится чище, ярче сверкает она.

Писал я статьи, рассказы... драмами я грешил,

но песня была и осталась любимицею души.

Куда бы я взор ни кинул — поэзия, всюду ты.

Сверкает улыбка жизни из темных глубин мечты.

Лишь на пути к коммунизму поэтом могу я стать,

и в ногу шагаю с жизнью, стараясь не отставать.
Я верный сын Аргентины и гражданин Земли,
в Испании и Корее сражались стихи мои.
Одно у меня достоинство — я не хочу других, —
только с народом слившись, вынашиваю я стих.
Я побывал в тех странах, что в будущее ворвались,
я трогал своими руками небес голубую высь.
В поэзию, в революцию, в алое пламя знамен
я верю, и звать меня люди будут «товарищ Туньон».
В Москве сочинил я песню, ветер ее унес,
расправила крылья песня под ситцевый шум берез.
В колхозе мне дали светильник — колосьев ржаных пучок,
чтоб сны детей бесприютных им осветить я мог.
Мир — мое знамя зовется, через огонь и дым
барьеры границ последних перешагну я с ним.
Пусть на песке пишу я — мой стих не смоеет волна,
ибо в симфонии песен грядущего нота слышна.

АЛЬФРЕДО ВАРЕЛА[70]

Это слово, друг...

Перевод Риммы Казаковой

Не бойся произносить это слово,
не пугайся его,
не скрывай, что в нем нежно и что сурово,
его музыку слушай снова и снова,

верь в его торжество.

Ты, пастырь слов,
повелитель снов,
потрясатель основ,
знаток созвучий,
тральщик строк,
что к самой лучшей
строчке строг,
ты должен чувствовать это слово — итог
поэзии, слившей в единый поток
землю, и розы, музыку, росы,
борьбу, зарю, всеобщего братства объятия...
Это слово — Партия.

Не бойся произносить это слово,
кровью его стихи наполни.
Светит оно и греет, словно
солнце в полдень.

Это слово — рубашка рабочего,
кров единственный дома отчего,
чистая скатерть,
открытая книга света...
Да будет твоя Партия
сердцем твоим воспета!

Покончи с самоцензурой,
стыдись строки, где ты
заменял это слово цезурой —
синонимом пустоты.

Пусть запретит его кто-то,
но сам себе — никогда!

Оно — словно мед в сотах,
в нем соль борьбы и труда.

Душой, к удивленью готовой,
радостно им владей!

Оно — телескоп, в который
виден завтрашний день.

Ты должен знать, что происходит в мире.

Луна — и, та давно уже не та.

Где ангелы? Скорей в твоей квартире,
чем в небесах.... Где бог? Глядит с холста.

В безмерной бездне холодно звезде.

И лишь поэзия живет везде:

в алгебре, солнце и кибернетике,

в трогательном детском беретике,

в великом гении, в малом зерне,

в спутниках, в лазере,

в тебе и во мне,

в голубой грусти,

в машинах гигантских плотин,

в крови героя,

которой он счастье твое оплатил,

в любви, создающей миры,
творящей жизнь каждый миг,
не знающей, что такое апатия...

Поэзия живет везде!

Поэзия — это и Партия.

Я говорю: Партия — и, значит, я говорю:

Улыбка, Надежда, Мечта.

Я говорю: Партия — и зажигаю зарю

хоралов, симфоний,

которые жизнь читает с листа.

Реки борьбы,

Кордильеры счастья,

ветер из лепестков роз...

Я говорю: Партия, и каждый, кто к ней причастен,

распрямляется в полный рост.

И вселенную

опоясывают руки

тех, кто не спят ночей,

чтобы ценою их муки

родился

мир без цепей и без палачей.

Я говорю: Партия — и предо мною черты лица моего отца.

Я говорю: Партия — коммунистов —

и вижу вчерашний день,

где враги ее беззастенчиво, злобно, низко

обманывают людей.

И вижу день, где ни единой тени,

где всем принадлежит краса земли,

движение вод, дыхание растений,
все, что настало, все, что там, вдали.

Я вижу бессонное братство сердец
и подвигов анонимность
там, где процветала, пророча конец
всеобщей гармонии, мнимость.
Не под фальшиво-бравурный туш —
в скромной одежде буден,
праздничной чистотою душ
счастье приходит к людям.
К тем, что борются под знаменами века
за мир для человека.

Партия — это любовь миллионов,
слитая воедино.
Партия — это нежность,
которая каждому необходима.
Плодотворнейшая пыльца,
оживляющая сердца.
Созидательная селитра,
могучая, как природа,
настойчивый строитель
спасительного единства народа.
Маг перемен,
пилот сверхзвукового лайнера,
мудрец, чья душа состраданием ранена,
повелитель стали и пшеницы,

врач у постели роженицы,
где и задуманно и внезапно
рождается завтра.

Я говорю: Партия —
и взлетают тысячи птиц
радостным каскадом.

Я говорю: Партия —
и нет границ:
самое дальнее рядом.

Я говорю: Партия —
и эхо победы в моих ушах:
миллионы печатают шаг.

Поэт, произнеси же это слово,
в ладони взвесь и ощути на вкус.
Оно всегда волнующе и ново,
оно для сердца — крылья, а не груз.
И струны строк, что были просто лепетом,
бесстрашно тронь его высоким трепетом.

НЕСТОР ГРОППА[71]

Свобода

Перевод А. Эйснера

Когда человек отправил своих богов на небо,
он начал ждать тебя на земле.

Все ремесла
участвовали в построении мира,
и многие, многие тысячи лет
загрубелые пальцы трудились
для нашего времени.

Но ни дети, кости которых давно истлели,
ни матери их, потонувшие в реках столетий,
ни отцы, доисторические труженики,
не смогли увидеть тебя,
хотя и предчувствовали твое появление
каждой клеточкой тела.

Легенды не говорят, кем ты была — птицей,
звездой
или цветком,
но лишь повествуют о древних скрижалях,
изъятых, потому что в них рассказывалось о тебе.

Мы, американцы,
проходя там, где некогда высились города
или простирались империи,
шагая среди веков, омываемых двумя океанами,
сквозь ветры, поднимающие тысячелетнюю пыль,
знаем, что миллионы и миллионы мозолистых рук
продолжают строить эту часть мира и не могут жить без тебя
сегодня,
когда на ветви деревьев и на птиц Америки

падает дождь.

Свобода,

мы будем искать тебя уже не в легендах

и не в крови павших братьев,

но когда лохмотья и камни,

эти самые старые свидетели горя Америки,

увидят тебя;

даже если мы растворимся в тысячелетиях,

по тому, что останется от нас в мастерских,

и по честно исписанной нами бумаге,

и по цветам, хранящим память о нашей любви,

они узнают, как мы искали тебя,

они узнают об этом по безмолвию ушедших в могилы,

по всем неустановленным датам и безымянным терзаниям, —

узнают, что вместе с корнями современных народов

ты прорастала как хлеб,

как смиренный хлеб, который питает историю.

Так будет,

ибо не напрасно

столько боли вынесено в прошлом

и столько боли сейчас на земле.

АРМАНДО ТЕХАДА ГОМЕС[72]

Перевод Н. Горской

Древний землепашец

Господь, земля была и раньше.

Струились реки,
и льнули к матери-земле, как дети,
и ткали для нее накидку из глины голубой,
и соли ей несли
из глубины планеты;
струились реки, поднимаясь ввысь к ветвям деревьев,
и увлажняя тень, и порождая птиц.

Господь, земля была единой и огромной,
и не было тогда дурных полей и не было хороших.
Была дорога.
Луна на горизонте.
И не было тогда земле конца и края,
и хлеб вдали маячил колоском.

Об этом помнит ветер,
он сеет семена повсюду,
он пальцами воздушными их рассыпает ночью,
и ток его горячий сметает все границы,
освобождая землю от владельцев.

Клянусь, господь,
я видел ночь в полях
во всем величье звездном, в теснине тишины,
и говорю: преступно землю разделять,
ограды ставить на ее груди и продавать частями, —
ведь вся земля принадлежит лишь ночи,
и вселенной, и мотыге пропотевшей,
которую извечная крестьянская усталость движет
да воля землепашца, что тверже заступа стального.

Она принадлежит тому,
кто знает праздник первого ростка,
тому, кто сеет — побратиму солнца,
кто опускает в почву зерна, как святыню,
и ждет, безмолвно, волшебства воды.

Поверь, без этого крутого лба,
без этих грубых рук,
без нескончаемых часов труда, набивших нам мозоли,
не знали бы мы жизни на земле,
не ведали б, как сотворить весну и виноградное вино,
как из леска и глины создать закваску песни.

Поэтому, господь, я вопрошаю: когда наступит день
я час пробьет, чтоб землю расковать,
с кем я пойду,

какую песню мы споем,
цветы какие мы посадим на месте частокола?

Пусть вся Америка услышит мой призыв,
пускай не только ты —
но каждый внемлет:
ведь на истерзанной земле материка
есть жирные землевладельцы,
и уголь проклятый,
и голод, что с агонией на ты,
и рабство олова,
и меди нищета,
и есть пшеница у бесчестных торгашей,
и нефть, — вот-вот померкнет ее весенний черный блеск, —
и апельсины, с ними вместе увозят солнце побережья,
и дети, — не встретив человека на пути,
они шагают в никуда,
идут, улыбку отдавая смерти,
и исчезают среди потерянных и выгнанных из жизни.
Пуускай не только мы с тобой —
пусть каждый знает.

Америка! — простая песня у моей гитары —
пою, чтоб землю пробуравить песней
и яростную самбу зажечь в глубоких недрах;
мой пульс, господь, сродни
порывам ветра,
он бьется,

он блуждает
в напеве древнем соков тростника,
чтоб мы, американцы, стали
насыщенным раствором, семьей новорожденной,
и помогли мулатке нашей —
надежде обнищавшей —
оковы снять с родной земля.

Господь, земля была я раньше.

Струились реки,
и солнце понимало их влажное наречье,
и ввысь росли деревья,
и целовали хаос, где зародилась жизнь.

И вот, господь, я вопрошаю:
когда наступит день?!

Первое одиночество

Меня мать сегодня не любила.
Я ходил вокруг, смотрел умильно,
только все впустую — не любила.
Хоть бы взгляд, ну, хоть бы подзатыльник!

На пустырь пойду, умру с досады,
в доме двери посрываю с петель.

В желтой тишине пылает солнце,
жаркий полдень невозможно светел.

Никого — ни сторожа, ни кошки.
Улица пустая да ограды.

Только как же умирать я буду,
если мамы нету рядом?

Ребенок на улице

В этот час, несомненно,
по улицам бродит ребенок.

Такой же, как я, — то есть в нем я вижу себя,
моя детский рассвет, это я продаю
на улице чью-то темную совесть, историю, время —
газеты;
и мне тошно от всех президентов,
от консерваторов, от законников разных,

а я еще только расту, я простодушен,
но детство разменяно на медяки,
едва наскребешь, чтобы штраф уплатить —
огромный, как битком набитый вагон,
а мать в это время ждет-поджидает, —
я говорю про всех бездомных мальчишек, —
и стоит на пороге и нас вопрошает:
что вы сделали с ним,
с детенышем, с кровью от крови моей,
что с ним будет, если по улице бродит ребенок...

Совесь велят человеку поддерживать все, что растет,
смотреть, чтоб не бродило по улицам детство,
предупреждать катастрофы сердец, хрупких, как лодка,
путешествующих в мире разбойников, кладов,
в мире невысказанных приключений и шоколада
и вместо черствого хлеба раздаривать звезды;
иначе — зачем
выращивать радость и песню,
зачем,
если сегодня, сейчас по улицам бродит ребенок.

Где они, спутники детских скитаний,
которые вместе со мной пробивались по жизни локтями,
я помню, один на тягчайшей дороге
рухнул на камни, совсем еще юный,
и вера его стала осколками боли;
и ныне мне нужно узнать: у кого есть улыбка,

и песня моя вопрошает: спасся ли кто-то,
и если не спасся, зачем мне юная песня,
мне больно, мне горько этой весной.

Два способа есть для познания мира.

Один — спастись самому,
а прочих, не глядя, сбросить с плота;
другой —
со всеми спастись, и рисковать своей жизнью,
спасая того, кто в волнах захлебнулся,
и не спать этой ночью, если по улицам бредит ребенок.

Сейчас, в эту минуту, — в городе ливень,
и туман наползает расплывчатой жабой,
и завывания ветра ничуть не похожи на песню, —
нельзя допустить, чтоб по земле бродила босая любовь,
вздымая газету, как усталые крылья,
чтобы жизнь, едва народившись, стоила грош,
чтобы детство иссякло на скудном, горбом заработанном хлебе, —
иначе руки людские — всего только жалкие плети,
а сердце — не стоит и доброго слова.

Порой ты скитаешься по городам и поселкам
иль в поезде едешь по спокойным просторам,
а родина
смотрит в упор на нищих отцов и детей
и спрашивает, с какого числа они голодают,

и что с ними было,
и куда приведет их дорога;
но повсюду, будь то Север или Юг,
бессовестный город к ним повернется спиной,
насыщаясь булками, и виноградом, и сахаром с тех полей,
где от сладкого тростника даже воздух сладок,
а ты будешь работать поденно,
встретишь тихих отцов, измочаленных фабрикой,
и матерей, отупевших, не знающих отдыха,
и однажды, держа на руках ребенка, выйдешь
на улицу в сонный дождливый рассвет.

А другой в это время смакует анекдоты и имена,
вспоминает, как пили в Париже
за нетленную красоту божества и как на утлом плоту
увидели лицо одиночества
и удивились печальному нраву того, кто один;
а их жены меж тем тоскуют, меняют
днем — докторов и любовников — ночью,
им скучно, им отвратителен мир,
и они — соучастницы нищеты, грызущей детей.

Они позабыли,
что по улицам бродит ребенок,
что по улицам бродят
миллионы детей
и толпы детей
вырастают на улице.

В этот чае, несомненно, подрастает ребенок.

И я слышу, как бьется сердечко,
вижу глаза — прекраснее сказки;
а он взрослеет, приходит к познанию,
но обломок молнии пересечет его взгляд,
ибо всем наплевать на растущую жизнь,
и любовь затерялась,
как ребенок на улице...

БОЛИВИЯ

РИКАРДО ХАЙМЕС ФРЕЙРЕ[73]

Перевод В. Васильева

Дорога лебедей

Волны бурные, вцепившиеся в гривы
табуна ветров, смятением обуянных,
в час, когда среди рассыпавшихся молний
в горней кузнице гигантский молот бьет по наковальне.

Волны бурные под клочьями нависших
беспокойных туч, что в сумерках холодных
окровавленные медленно дымятся.
Мутных глаз грядущей ночи потаенные обводы.

Волны бурные, что страсти злых чудовищ
укрывают, шумно двигаясь и пенясь
в час, когда надрывным басом шторм заводит
дикую эпиталаму, величание вселенной.

Волны бурные, чьи ломаные гребни
к берегам далеким судорожно мчатся
и рыданиями глухими нарушают
ледяной, суровой ночи равнодушное молчанье.

Волны бурные, пронзаемые килем
и воителя могучим острым взором,
где Дорога Лебедей в кипящих недрах
тускло светится, встречая грозного Царя Морского.

Смерть героя

Хотя на щите пробитом кровь полыхает, как зарево,
хотя не закончен меча его стремительный взмах,
но мрак необоримый уже проникает в глаза его,
и мужественная песня оборвалась на устах.

На суку двое воронов со взорами ненасытными
расправили сильные крылья, что мертвенно черны,
и ночь встrepенувшихся крыльев глаза, как день, слепит ему,

и к бледному горизонту уносятся вещуны.

Меч

Меч кровавый, меч разбитый...

Конь небесный красной гривой день-деньской метет его,
запылившийся, как идол, высоко в горах забытый,
как поверженное божество.

Вороны

В смертоносном лязге стали и в безумных кликах воинов
слышно карканье и виден круг неспешного полета:
двое неземных посланцев, двое вещей черных воронов
к богу на плечи садятся и нашептывают что-то.

Странствующая Венера

I

За судном легкокрылым
следую наудачу;
слышу, как ветры рыдают в снастях корабельных,
вижу, как чайки садятся на мачту.

Рыбы на киль, со скрежетом режущий волны,
тусклые взоры уставили;
их чешуя от солнца на мелкие части дробится;
белая пена вскипает под черными их хвостами.

Слежу беспокойно,
как скалы скрываются за горизонтом.
Блуждает взор мой
в бескрайнем царстве водном.

II

Странствующая Венера, ты — сладострастия стражница.

Тебя не знает в лицо, но предан тебе мореходец.

Странствующая Венера...

Он грезил с тобою вместе, быть может.

За белокурой Венерой он быстрый корабль
вел вдоль берегов, седых от туманов и инея.

На бронзу его загара с надеждой взирали
глаза ее серо-синие.

За черной Венерой корабль он вел
вдоль выжженной солнцем пустыни,
и легкие, как тень, эбеновые руки
шею его обхватили.

Странствующая Венера, на берегу его ждешь ты.
Может быть, баядерой ты обернуться хочешь?

Искусна ли ты в любви?

Тебя не знает в лицо, но предан тебе мореходец.

III

Всплыли в тиши одиночества

мечты в виденья зыбкие,

и контуры ах таинственные

вычерчиваются в дымке.

Мимолетное

Однажды ветер ветку

с куста цветущей розы

сорвал, унес в болото

и прямо в омут бросил.

Вмиг расступилась волны,

и трепетную розу

болото засосало

в голодную утробу.

Лишь листья над водою

остались плавать сиром,

покрывшись илом черным

и став чернее ила.

Но в час, когда таится
весь мир во сне глубоком,
струится запах розы
над мертвенным болотом.

ФРАНЦ ТАМАЙО[74]

Баллада о Кларибели
Перевод М. Квятковской

В этот вечер тревоги неясной,
Кларибель,
под зарей холодной и красной,
Кларибель,
снова я люблю тебя страстно,
хотя все мне твердит: — Напрасно! —
Кларибель!

Подхватило ветра дыханье,
Кларибель,
твое имя, словно рыданье,
Кларибель,
но напрасно мое ожиданье —
не сойдемся мы на свиданье,
Кларибель!

Этим голосом кличет разлука,

Кларибель!

Нет печальней, хрустальней звука,

Кларибель!

В нем тоски терпеливая мука,

неразлучности нашей порука,

Кларибель!

Горы круты, бездонны пучины,

Кларибель!

Перейду ль я речные стремнины,

Кларибель?

Одолею ль морей глубины,

доберусь ли до снежной вершины,

Кларибель?

Время шло, и о том, что было,

Кларибель,

ты, наверное, позабыла,

Кларибель!

Но мечта — упрямая сила:

верю я — ты меня любила,

Кларибель!

Горький хлеб мне дарован судьбою,

Кларибель, —
это память о нас с тобою,
Кларибель!
Неразумное и дорогое,
наше прошлое вечно со мною,
Кларибель!

В самоцветах то утро мне снится,
Кларибель, —
ты пришла, моя чаровница,
Кларибель!
Милый идол, дитя и царица,
снег и роза, звезда и зарница,
Кларибель!

Где-то птица исходит песней —
«Кларибель!»
Ты прелестна, нельзя быть прелестней,
Кларибель!
И в руладах певуньи безвестной
слышен плач и смех твой чудесный,
Кларибель!

Ты звенишь, как напев затаенный,
Кларибель,
моей жизни, тобой потрясенной,
Кларибель;

бьет из раны, тобой нанесенной,
яркий свет и мед благовонный,
Кларибель!

Речь моя — ручей аромата,
Кларибель, —
в ней гвоздика, и мускус, и мята,
Кларибель,
стойкой миррой она богата,
ей неведом урон и утрата,
Кларибель!

Только злая колдунья-беда, —
Кларибель! —
выжгла в сердце: — Ушла навсегда
Кларибель! —
Для меня никогда, никогда
не взойдет моей жизни звезда —
Кларибель...

АДЕЛА САМУДЬО[75]

Перевод М. Квятковской

Конец века

Вперед, о человек! Весь мир огромный —
твой дом, отсюда вечный оптимизм;
скользя над бездной, — горький реализм! —
ты не пугаешься загадки темной.

Под гнетом бед, в печали неумемной
тебе защитой стал алкоголизм;
исток твоих трагедий — анархизм;
твой адюльтер — приют любви бездомной.

Вперед! И пусть перевернется мир —
во имя высших прав терпя лишенья,
ты бьешься... за вооруженный мир.

Наука же хваленая твоя
дала тебе изведать в утешенье
непоправимый вкус небытия.

Прогресс

Было некогда время любви идиллической,
и наука еще не была прагматической,
и мораль, перепутав земное с небесным,
Пела славу девицам невинным и честным.

Чистым девам тогда представлялась ужасной
проза этого мира, реальности властной,
и пятнадцатилетних прельщали без меры
розы мира иного, мечты и химеры.

Но с тех пор, как наука подвластна мужчине,
стал сочувствовать он их ничтожной судьбине,
и теперь прилагает немало старания,
чтоб улучшить их нравственное воспитание.

Убоясь, как бы девы не вышли из правил,
он единственный путь им покуда оставил —
не в цене образованность и добродетель,
лишь была бы семья да законные дети.

Нынче девочки знают с пеленок отлично,
что любовь к идеалу глупа, непрактична.
Их наука — найти с положением мужа;
киснуть старою девой — что может быть хуже!

Не бывает сегодня наивных простушек!
Есть у каждой запас хитроумных ловушек,
и Невинность, предавшись сомнительным хлопотам,
испарилась навек с преждевременным опытом.

Нынче брак по любви, безусловно, не принят —
ведь любовь в нищете раньше срока остынет.
Пусть любовь подождет — ей не станет обиднее,
если дева найдет что-нибудь посолиднее.

И уж если мужчина задумал жениться —
пусть он после не кается и не дивится,
что его половина одной половиной
остаётся с ему неизвестным мужчиной.

ЭКТОР БОРДА[76]

Шахтеры

Перевод С. Гончаренко

Как болит у них кровь!
Кашель мертвым узлом захлестнул им нутро.
Хлеб их тверже, чем в шахтах упрямая крепь.
Дни похожи на ночи,
а ночи похожи на раны.

Как им трудно ползти по широтам
зауженных штолен,
продираясь сквозь жала москитов!

Как ложится руда
синевой под глазами
шахтерских детишек!
И ни рисом,
ни хлебною коркой
нельзя почему-то заткнуть
эту глотку всегдашнего голода...

Холодом
обжигает дубленую кожу,
и древний озноб
шевелит их индейские космы.
Оловянная пыль
им врачует
отверстые раны, и боль
заползает в туннели
рентгена.

Как дрожат оскверненные недра!
Как едкий гранит
прирастает, врастает в шахтерскую кожу...
И все же
вдруг подкатит надежда
соленым комком
к пересохшему горлу.

Как улыбочиво утро

в своем отрешенном покое.

Ветер щедро вливается в легкие,
зреет пшеница, пророча
свой колос —
простой и насыщенный...

И нельзя побороть искушение —
усесться над пропастью смерти
и, вкушая отраву торжественной коки,
погрузиться в пучину видений...

Только все же сильнее желанье
прорасти сквозь темницы забоев
прямо к солнцу,
к пророческим зорям
и с яростным кличем сломать
хребет вековечному гнету.

Как болит у них кровь!
Кашель мертвым узлом захлестнул им нутро.
Их увечья — как будто пощечины.
С каждой
проступает все явственней облик их смерти.

Да и смерть — это просто
кровавая рана,

отверстая рана,
свербящая рана
шахтера.

ГИЛЬЕРМО ВИСКАРРА ФАБРЕ[77]

В стране окаменелого плача

Перевод А. Эйснера

В этой стране окаменелого плача

грозы колотят в черные барабаны
и соколы за неподвижные крылья прибиты
к высокому хрусталию мрачного неба.

О, кто ты, прерывисто рыдающий призрак
со сломанной шпагой, с сумеречными очами
и со спутанными волосами утопленника?

Каменная глыба, спящая под солнцем, покрыта
золотистым мохом и серым лишайником,
но она вздыхает древней грудью, мечтая
об огненных ласках первозданных бурь.

Там вдалеке, среди бесформенных утесов,

слышно рычание пум,
и треск ломающегося льда,
и чистый серебряный перезвон снежных колоколов,
и голоса боливийского ливня,

а ветер вздымает похожие на змей
туго заплетенные косы индейских принцесс.

В прозрачном меде мелодичных флейт
утро перебрасывает с вершины на вершину
легкие мосты из пепельной мглы
и одинокая птица роняет свою холодную песню
капля за каплей, как острый рубин за острым рубином.

Эти скалы некогда были стройными девами
и воинами в шлемах из кактуса или металла,
которые охотились за воздушными викуньями[78]
и разбрасывали по небу стрелы, похожие на блестящих рыб.
А теперь, укрывшись каменными шкурами, и девы и воины спят.

Вот она страна сокровищ,
где слова всегда остаются зажатыми
за широкими пылающими губами.

Дикий дрок пустыни
раскрывает свой зонт, источающий слабый запах,
над горячим коралловым зевком заспанного оленя,
который соткан из легкого тумана.
Оленю вчера угрожала засада
осторожных и незримых ловчих
и стрелы, летящие из созвездий;

пропасть поглотила его стройную самку
с окрыленными ножками и страстными глазами.

Рядом с немymi существами, дремлющими в камне,
под небесным куполом у подножия гор,
тысячелетняя нагая вода
сонно лепечет в зеленых гитарах своих берегов.

На заброшенных дорогах, на которые льет дождь
сквозь неподвижную сажу непроницаемой ночи,
остаются следы перелетных птиц и бродячих сердец...
Есть час, накапливающий неосязаемую сладость,
тоску пламенеющих звезд и темнеющей бездны,
в этот час складывает руки странствующая смерть
под аккомпанемент приглушенной музыки,
и только монашеское пение дождя, падающего в песок,
ласково омывает и горький мирт, и злаки.

А дерево капули зажигает индейскую кровь
в ягодах, полных ярко-красного сока,
и по его ветвям восходит аромат
набальзамированных аравийских мумий.

ОСКАР СЕРРУТО[79]

Перевод А. Косс

Плоскогорье

1

Плоскогорье, как память, неизмеримое,
шкура киркинчо[80], распяленная меж четырьмя сторонами света;
ветер здесь плотен на ощупь и пахнет зверем.
Плоскогорье, блестящее металлическим блеском,
безлюдное, как луна, барабан восстаний.
Девушки в этих краях пасут ненастья да горести,
подкладывают дрова в костер, зажженный гитарой.
Мужчины в вороненой стали волос
прячут жаркий ветер сражений.
Плоскогорье в морщинах дорог, скорбное,
как ладонь шахтера.

2

Плоскогорье, как ненависть, неотвязное,
слепящее, словно кровь, приливающая к зрачкам,
плоскогорье в панцире льдов,
звнящее холодом, синим, точно лоб мертвеца.
Воды времени татуировкой расчертили его хребет,
здесь проходят землепашцы — аймарэ[81] свой гроб за плечами несут,
у них есть пращи и ружья, в ночи спугнут они птицу — свет.
Дымит их скудный огонь, черная копоть безмолвия ложится на всю их жизнь,
а дожди пробирают их до костей, гасят песню щегла.

3

Беспредельное плоскогорье,
распластанное и яростное, как пламя.

От звона его гитар чернее черное горе,
безлюдье капля за каплей буравит камень.

Список твоего
наследственного имущества

Воды неба тебе завещаны,
где ладьи — облака ползут,
где рыбы — сполохи плещутся
в грозу.

Кордильера завещана голая,
и снега вершин,
и белый холод
в синей тиши.

Тебе — каменистая пампа
в перехлесте ветров,
их певучая гамма,
барабанная дробь.

Тебе — река, печальная нива,
гладь темнокожая,
под которой — тайны и сроки мифа
и буйства истории.

Тебе — одиночество,
беспредельное, как власть его,
но если тебе захочется,
единым словом ты можешь его заковать.

А свет зато мягкий какой!
Потрогай рукой:
течет сквозь пальцы, точно
золотая пыльца цветочная.

И озеро в отдаленье,
в электрическом поясе струнном —
как высшее восхваление,
как прозрачная притча пуны[82].

И навстречу тебе тревога
воздвигнется городом детства:
из воздуха стены и своды,
гармония, ливнем одетая.

Этот город — как сон, как твое родословное дерево:
без конца растягивается.
На башнях — не из камня, из марева —
боевые стяги.

«Есть горы в краю моем...»

Есть горы в краю моем,
— а моря нет[83] —
пшеничных волн окоем,
— а моря нет —
есть сосен зеленый плеск,
— а моря нет —
текучая синь небес,
— а моря нет —
и ветра хриплая песнь —
— а моря нет.

ИОЛАНДА БЕДРЕГАЛЬ[84]

Ноктюрн слез

Перевод Риммы Казаковой

По ночам, когда нас слезы душат,
зреют наши души.
Лишь при свете плача
мы касаемся неприкосновенных
стен жизней, живых и потухших.

Только ночами, когда слезы нас оглушают,
умершие живых утешают
и все не свершенное просит у нас прощенья,
и те, кто оставил нас, склоняют колени,
чтобы коснуться губами печальных воспоминаний.

Лишь по ночам в слезах
любящие читают любовь друг у друга в глазах,
и становится ложе страсти
белым покровом причастий.

Ночь в слезах проясняет небо
над морем, темным от бури бессонниц,
и все, поглощенное ими,
обретает собственное имя.

В плаче любовного недуга
больше, чем в счастье, мы познаем друг друга.

Жажда

Перевод В. Столбова

Ни водой,

Ни вином,

Ни кровью

Мою жажду не утолить.

Я хочу и того, что было,

И того, чего не могло быть,

И того, что могло случиться.

Но не будет, как ты не жди.

И того, что не повторится,

И того, что еще впереди.

Я вечности жажду

в стеклянном бокале

мгновения.

ОСКАР АЛЬФАРО[85]

День

Перевод М. Ваксмахера

С холмов задорным галопом

конь белоснежный скачет.

Четыре звезды — копыта,

грива — жаркое пламя.

Скачет он по дорогам —
в лугах просыпаются травы.

Великая радость жизни
в его голосистом ржанье.

Малыш, ты мир завоюешь,
если белого коня оседлаешь!

Клетка с канарейками
Перевод М. Ваксмахера

Наполняя гармонией
тишину моей комнаты,
на окошке качается
с канарейками клетка.

Яркие звездочки,
желтые лучики
скачут по жердочкам,
точно по веткам.

Живые и чистые
музыкальные ноты

деловито снуют
за магической сеткой.

Вырываются в сад
мандолинные трели,
заполняют аллеи,
кусты и беседки.

И от музыки ясной
улыбается сердце,
будто грудь моя — тоже
с канарейками клетка.

Стихи для детей

Перевод Т. Давидянц

Кена

Кена — плененная птица, —
Поющая песни на кечуа[86],
В руках старика индейца
Стонет, как боль столетняя.

Индейский мальчик

Как птица с веселой песней,
С вершины горы отвесной
На крыльях большого пончо
Он в небо подняться хочет.

Колибри

Искорка-комета

Кружится над цветником:

Над цветами-планетами,

Пахнущими медком.

Индюк

Сенатор багровый от гнева,

Что слово — то заиканье,

Разглагольствует смело

На курином собранье.

Петух

Его крик в поход призывает,

Похож на раскаты грома.

Петух — боевое знамя

Каждого сельского дома.

Филин

Тень с круглыми глазами —

Большими зеркалами,

В которых сплелись и кружатся

Все на свете ужасы.

Улитки

Утром ранним, синим

Ползут друг за дружкой

С портфелями за спинами

Школьницы-подружки.

Мяч

Скатился с неба месяц,
Упал на школьный двор,
Мальчишки счастьем светятся,
Играя им в футбол.

БРАЗИЛИЯ

ОЛАВО БИЛАК[87]

Слушать звезды

Перевод П. Грушко

«Он слышит звезды! Знать, сошел с ума!»

А я отвечу вам: ночной порою
встаю, заслышав их, окно открою —
дрожу, как будто ночь поет сама.

Покуда звезд не меркнет бахрома,
их речь течет над бездною пустою.
И так печально в час, когда зарею
размыта умирающая тьма...

Вы скажете: приятель, ты в уме ли!

Где слыхано, чтоб звезды ночью пели!

А я отвечу вам: мне внятен стон их.

Любите их, друзья. Секрет здесь прост:

лишь только тонкий, нежный слух влюбленных

поможет разгадать наречье звезд.

МАНУЭЛ БАНДЕЙРА[88]

Перевод П. Грушко

Дети-угольщики

Дети-угольщики

бредут через город

(«Эй, угольщик!..»),

большими плетками нахлестывают ослов.

Ослы старые, кожа да кости,

на каждом по шесть мешков древесного угля.

Кусочки угля падают наземь.

(Под вечер по их следу бредет старуха
и стонет, подбирая уголь.)

Поэтическое искусство

Я сыт по горло худосочным лиризмом
Хорошо воспитанным лиризмом
Лиризмом чиновника и его папки с делами
и его выражения уважения
к господину директору

Я сыт по горло лиризмом который спотыкается
на ровном месте и листает словари чтобы
выяснить первоначальное значение слова
Долой пуристов

Хвала всем словам в особенности всемирным
варваризмам
Хвала всем грамматическим конструкциям
в особенности синтаксическим исключениям
Хвала всем ритмам в особенности неуловимым

Я сыт по горло лиризмам донжуанов
Политическим
Рахитическим

Венерическим

Любым лиризмом который капитулирует
перед силой

Все это не лиризм

А бухгалтерия тригонометрическая таблица
слуга влюбчивой госпожи с письмовником
и разными способами ублажить женщин и т. д.

Я за лиризм сумасшедших

За лиризм пьяниц

За трудный и едкий лиризм пьяниц

За лиризм шекспировских шутов

Знать не хочу лиризм который не зовется
освобождением

Стихи с газетной полосы

Жоан Гостосо был грузчиком на ярмарке

а жил в трущобе Вавилония в бараке

без номера

Однажды под вечер он зашел в бар «20 ноября»

Пил

Пел

Танцевал

А после бултых в озеро Родриго-де-Фрейтас
и утонул

Ласточка

Ласточка за окном напевает:

— Я день прожила без пользы... —

Ласточка, моя песня печальней:

жизнь прожита без пользы...

Рондо в жокей-клубе

Лошадки бегут гуськом,

мы — лошади — пьем и жуем...

Твоя красота, Эсмералда, —

заноза в сердце моем.

Лошадки бегут гуськом,

мы — лошади — пьем и жуем...

Повсюду солнце, но сердце

объято мраком и сном!

Лошадки бегут гуськом,

мы — лошади — пьем и жуем...

Альфонсо Рейес уедет,

а прочие — нипочем...

Лошадки бегут гуськом,

мы — лошади — пьем и жуем...

Италия озверела,

в Европе сущий содом.

Лошадки бегут гуськом,

мы — лошади — пьем и жуем...

Бразилия политиканствует.

Поэзию съели живьем.

На улице столько света,

повсюду свет, Эсмералда,

но мрачно на сердце моем!

Мгновение в кафе

Когда мимо проехал катафалк,

сидевшие в кафе люди

машинально сняли шапки,

рассеянно приветствуя мертвого,

они были заняты жизнью,

растворенные в жизни,

надеясь на жизнь.

И лишь один из них широко распахнул руки,
глядя вслед медленной процессии.
Он-то знал, что жизнь —
неостановимое яростное клочотание,
что жизнь — предательница,
и он приветствовал вечную материю,
навсегда освободившуюся от умершей души.

ОСВАЛД ДЕ АНДРАДЕ[89]

Перевод М. Самаева

Землеописание

В ее очертаниях изящество арфы.
Граничит она с вершинами Анд
и отрогами Перу,
которые так надменно возносятся над землей,
что даже птицы с трудом их преодолевают.

Ноктюрн

Там, за окнами, все еще лунно,
и поезд расчеркивает Бразилию,

точно меридиан.

РАУЛ БОПП[90]

Негр

Перевод М. Самаева

Скорбит в крови твоей голос
неведомого происхожденья.

Сумрак лесной сохранит
тайну твоих корней.

Твоя история высечена бичами
на спинах гранитных.

Однажды тебя впихнут
в брюхо черного корабля...

И после: ночами, долгими,
томительными ночами
шум моря будет тебе казаться
стоном, тот страшный трюм
распирившим.

Море — брат твоей расы.

Потом, на многие годы, —
клин земли или трюм корабля,
конура для черных рабов
и стон в железном ошейнике.

МАРИО ДЕ АНДРАДЕ[91]

Перевод П. Грушко

Негритянке

1

Не знаю, какой древний дух
распорядился мной и тобой...

Луна побелила манго
там, где слились тишина
и прибой.

Ты — словно тень
из свиты подростка-царицы.
И взгляд мой от слез серебрится.

Ты из звезд, любимая,
из осколков звезды!
В манговой роще твое молчанье
отяжеляет плоды.

2

Ты так нежна.

Твои нежные губы
бродят по моему лицу,
запечатывают мой взгляд.

Закат...

Нежная темень
течет от тебя,
растворяясь во мне.
Так — во сне...

Я думал —
грубы твои губы,
а ты учишь меня в темноте

чистоте.

Утро

Розов был сад у подножия солнца,
и лесной ветерок, прилетевший из Жарагу?,
овевал все вокруг дыханием влаги,
шумел, ворочался, радуясь городскому утру.

Все было чисто, как напев флейты,
можно было поцеловать землю — ни муравьев, ни сора:
губы коснулись бы хрустала.
Безмолвие севера, неземная прозрачность!
Тени цеплялись за ветви деревьев,
точно грузные ленивцы.
Солнце заняло все скамьи, загорало.

Покой в саду был таким древним,
а прохлада пахла рукой, подержавшей лимонов.
Было так тихо и так покойно,
что мне захотелось... Не любви, нет...
А чтобы рядом со мной гуляли...
Ну, скажем... Ленин, Луис Карлос Престес[92], Ганди...
Кто-то из им подобных!..

В нежности почти иссякшего утра
я бы сказал им: присядьте...
И рассказал бы о наших рыбах,
описал бы Оуро-Прето, предместье Витории,
остров Мараж?, что сделало бы праздничными
лица этих человеческих стихий.

Сорок лет

Вся жизнь моя, взглянуть со стороны, —
сплошное счастье без единой тени.
Но так ли это? Разве не в сравненье
с бедой мы радость познавать должны?

Всё ложь, я знаю. Всё пустые сны...
Но как удобно в этом сновиденье!
Да, жизнь моя — цепочка наслаждений!
За эту ложь мне не избыть вины.

И все же к старости, перед чертою
меж полнотой земной и пустотою,
ужасно понимать, что жизнь лгала.

Так пусть не завершится жизнь кончиной,
пусть длится сон, и мнится смерть — невинной
забавою, какую жизнь была.

РОЛАНД ДЕ КАРВАЛЬО[93]

Бразилия

Перевод М. Самаева

В эту пору чистого солнца,
замерших пальм,
лоснистых камней,
бликов,
искренья,
сверканья

я слышу бескрайную песню Бразилии!

Я слышу на Игуасу? топот коней, бегущих
по каменистому мысу, колотящих ногами по утренней
воде, пузырящих ее, поднимающих
зеленые брызги;

я слышу твой грустный напев, твой дикий и грустный
напев, Амазонка, напев твоей медленной и маслянистой
волны, нарастающей и нарастающей
волны, которая лижет глину откосов и гложет корни,
наволакивает острова и отпихивает океан, вялый, как бык,
исколотый копьями сучьев, веток и листьев.

Я слышу землю, которая лопается в огненном чреве северо-востока,
землю, которая кипит под бронзовыми икрами бандита,
землю, которая крошится и катится каменными головами
по улицам Жуазейро и трескается сухой коркой,
изжарясь на плоскогорье Крато.

Я слышу жизнь Каатинги — треля, чириканье, писки, рулады,
свист, гуденье, удары клювов, дрожащие
басовые струны, вибрирующие тимпаны, крылья,
жужжащие и жужжащие, скрип-скрипы, и шелесты,
клекот, хлопанье, хлопоты, бесконечные хлопоты —
каатинга под синью небес!

Я слышу ручьи, что хохочут, прыгая по золотистым

крупам макрели и шевеля тяжелых сомов,
лениво пасущихся в иле.

Я слышу, как жернова перемалывают тростник,
как темной патоки капли падают в чан,
как звенят котелки на плантациях каучука;

как топоры прорубают лесную дорогу,
как пилы валят деревья,
как лает свора охотничьих псов, напряжись
перед прыжком на ягуара,
как булькают на свету манговые чащобы,
как лязгают челюстями кайманы,
пробуждаясь в теплых зарослях игап?...

Я слышу всю Бразилию, кричащую и поющую,
наигрывающую и вопящую!
Слышу покачиванье сетей,
свистки сирен,
лязг и скрежет, гуденье и грохот, завыванье
и рев заводов;
слышу, как распираются трубы,
двигутся краны,
стучат колеса,
вибрируют рельсы;
слышу мычанье и ржанье, крики погонщиков
и перезвон бубенцов на холмах и равнинах,

треск фейерверков и музыку колоколов
в Оуро-Прето, в Баии, Конгонье и Сабар?;
слышу насмешки толстосумов, кичливых, как попугаи,
шум толпы, колышущей солнце в приветливом небе,
и голоса всех рас, выброшенных портовым прибоем
в сертан!

В эту пору чистого солнца я слышу Бразилию!

Все твои разговоры, смуглая родина, приносит мне ветер:
разговоры фермеров за столиками кафе,
разговоры шахтеров в штольнях,
разговоры рабочих у сталеплавилен,
разговоры старателей на драгах,
разговоры помещиков на верандах усадеб...

Но то, что я слышу прежде всего в эту пору чистого солнца,
замерших пальм,
лосниотых камней,
прозрачного воздуха,
бликов,
искренья,
сверканья, —
это скрип твоих колыбелей, Бразилия, всех колыбелей твоих,
в которых спит, с грудным молоком на приоткрытых губах,
смуглый доверчивый человек нашего завтра.

КАСИАНО РИКАРДО[94]

Дама, пьющая кофе

Перевод М. Самаева

В ресторане или в салоне,
где-то в далекой-далекой Европе
прелестная дама смакует кофе,
щуря глаза антилопы.

И не знает она (в ней ни капли романтики),
что до чашечки кофе были воды Атлантики
и что, синюю гладь океана утюжа,
шел из южной страны пароход неуклюжий.
Шел из порта, в котором трапы, краны, лебедки,
спины грузчиков, зной, паровозные глотки...
Что до этого где-то над головой
полз по съерре товарный состав,
как от боли, железной утробой воя.
А после, запыхавшись и устав,
останавливался на мгновение,
груз подхватывал и, несмотря
на одышку и сердцебиение,
гнал опять на восток, где дымилась заря.
А за паршивенькой станцией,
где часы то стоят, то пускаются в бег,

на небольшой плантации коротал свой век человек.

Черт знает когда пришел он сюда,

в этот сертан, и целые дни

деревья валил, выкорчевывал пни.

Сколько возился он с каждым ростком!

А как доставалась ему вода!

Кто знает, как он, что значит

лечь богачом, а встать бедняком,

когда, как кошмары, над жизнью маячат

суховеи и саранча.

Ведь богатство — оно как с приданым невеста:

обещает, а после... а после, известно,

выходит за богача.

Где же сертан?

Изрыт-перерыт.

А где крестьянин?

Кофе растит.

А кофе?

Выпила дама в Европе.

Прелестная дама —

глаза антилопы.

ЖОРЖИ ДЕ ЛИМА[95]

Эта черная Фул?

Перевод П. Грушко

Много лет с тех пор прошло,
и сейчас никто не скажет —
за какое деду зло
от всевышнего досталась
негритяночка Фуло.

Эта черная Фуло!

Эта черная Фуло!

— Ох, Фуло! Ух, Фуло!

(Это бесится хозяйка.)

Прибери постель, плутовка,
уложи-ка мне прическу,
да белье повесь сушиться
на дворе, пока светло!

Эта черная Фуло!

Эта черная Фуло!

После ваяли в дом Фуло,
чтоб сеньоре помогала,
чтобы было у сеньора

все белье белым-бело!

Эта черная Фуло!

Эта черная Фуло!

— Где Фуло? Ну, Фуло!

(Это бесится хозяйка.)

Помоги-ка мне, мурло!

Пوماши-ка опахалом,

что-то нынче припекло,

почеши-ка под лопаткой,

поищи блоху, Фуло,

покачай гамак да сказку

расскажи, а то зело

уморилась я, Фуло!

Эта черная Фуло!

Эта черная Фуло!

«Во дворце жила принцесса,

а носила всем назло

кринолин из рыбьей кожи

и другое барахло,

спать ложилась с петухами

под цыплячее крыло,

кто поверил этой сказке —

тот, видать, и сам трепло!..»

Ох, уж эта мне Фуло!

Эта черная Фуло!

— Где Фуло? Ну, Фуло!

Уложи детей в постельку,

ножки им укрой тепло!

«Баю-баю, спите, детки,

солнце за гору зашло,

малых неслухов совиха

унесет в свое дупло!..»

Попадись-ка мне, Фуло!

Эта черная Фуло!

— Эй, Фуло! Ух, Фуло!

(Это белится хозяйка,

голос у нее — сверло.)

Где флакон с одеколоном,

ты не видела, :Фуло?

Ну, плутовка, ну, воровка,

чтоб тебя разорвало!

Эта черная Фуло!

Эта черная Фуло!

Прибежал хозяин с плеткой,
на девчонку глянул зло,
скинула она платьишко —
господина обожгло:
чернота в глазах, чернее,
чем проказница Фуло...

Эта черная Фуло!
Эта черная Фуло!

— Эй, Фуло! Ну, Фуло!
Где косынка кружевная,
пояс, брошка и браслеты?
Может, ветром унесло?!
Где подарок господина —
наши четки золотые?
Чтоб тебя разорвало!

Эта черная Фуло!
Эта черная Фуло!

Вновь бежит хозяин с плеткой
к негротяночке Фуло,

лишь сняла Фуло юбчонку —
как рукою гнев сняло.
Вот наглица: вся от пяток
до макушки наголо!..

Что ты делаешь, Фуло!
Что ты делаешь, Фуло!

— Проклятущая Фуло!
Где сеньор? Его ли небо
мне в мужья не нарекло?!
Ах, плутовка, ах, воровка!
Черномазое мурло!

Чтоб тебя разорвало!
Чтоб тебя разорвало!

РИБЕЙРО КОУТО[96]
Перевод М. Самаева

Поэзия для Бразилии

Я звал одного человека.
Он был удивительный выдумщик.

Он говорил:

— Поэзию нужно вырастить
из солнца этой страны
для этой страны солнца.

Немощно то, что делаете
ты и твои друзья.

Поэзия тоски и недугов —
она для слабых,
а жизнь полнокровна.

Посмотри, как прохожие заметались
под хлынувшим ливнем,
как вдруг потемнела площадь.

Мне жалко поэзию — бледную, анемичную,
боящуюся сквозняков а яркого света.

Мне хочется больше солнца
для твоей малокровной поэзии.

Ведь Бразилия — это избыток солнца,
ведь Бразилия — это избыток силы.

Нужно создать, нужно вырастить
поэзию из солнца Бразилии... —

Я слушаю его иронически
и, как мне казалось, невозмутимо.

Дождь начинал стихать,
а тени — сгущаться.

Одна в темнеющей комнате
мы какое-то время молча
смотрела в окно, на площадь,
блестящую от воды.

Вот молодая женщина
торопливо прошла под зонтом,

и стук ее каблуков
слился с шуршанием дождя.

Элегия

Чего он хочет,
студеный ветер?
Он то и дело
стучится в двери,
моля: — Открой!

Мне страшен ветер
ненастной ночи,
поры холодной,
что пахнет морем
пустынных пляжей.

В его надрывной
мольбе мне слышно
стенанье мертвых,
идущих к людям,
чтоб обогреться.

Я тоже ветром
однажды стану,

к твоим дверям
с мольбой приникну.
Но я приду
не зимним ветром
ненастной ночи,
поры холодной.

Весенним ветром
к тебе приду я
и губ твоих
коснусь, лаская
дыханьем листьев,
цветов, уснувших
в ночной теплыни.

И ты услышишь
мой голос: — Помни!..

СЕСИЛИЯ МЕЙРЕЛЕС[97]

В деревне осенью
Перевод М. Самаева

Воздуха горькая свежесть,
робкая мягкость травы,

бурая глина холма,
беззащитного перед стужей,
бык, разминающий грязь,
поле, руки, серпы,
птицы, пьющие небо из лужиц.

Лачуги. Они ни в какую историю
не внесены;
сутулятся, но не упасть
до последнего силятся.
Так бесконечны поля,
что не думаешь — как грустны.
Ночь придет и на это все
опрокинет чернильницу.

Обрюзглые тучи; последняя пчелка
на качающемся цветке;
белье на заборах и ветках полощется;
цикада где-то струну настраивает,
а вдалеке
мост и река под ним,
как само одиночество.
И хочется здесь навсегда
затерять во времени взгляд
и плыть в волнах слов,
их теченью судьбу свою вверив,
ждать чего-то всегда,
и куда-то брести наугад,

и глядеть, как текут муравьи
по стволам деревьев.

КАРЛОС ДРУММОНД ДЕ АНДРАДЕ[98]

Элегия

Перевод П. Грушко

Ты безрадостно трудишься на немощный мир,
где формы и действия не содержат никакого примера.
Старательно повторяешь универсальные движения.
Холод, зной, безденежье, сигарета, поиски женщины.

Герои заполнили парки, где ты крадешься, как тень,
разглагольствуют о добродетели, самоотречении,
самообладании, понимании момента.
Вечером, когда моросит, раскрывают бронзовые зонты
или садятся за учебники истории в сумрачных библиотеках.

Ты любишь ночь за ее разрушительную силу,
знаешь, что во сне все проблемы умирают.
Но зловещее пробуждение подтверждает существование машин,
возвращая тебя, гномика, в лоно невозмутимых пальм.

Ты бродишь среди умерших ж беседуешь с ними
о грядущих делах и душевных делишках.
Литература пожрала твои лучшие часы любви.
А сколько времени, отпущенного на ласки,
убито на телефон!

Заносчивое сердце, призван свое поражение,
отсрочь на столетие общественную радость,
смирись с дождем, войной, безработицей,
несправедливым распределением благ,
ведь ты же не взорвешь в одиночку
остров Манхэттен.

Взявшись за руки
Перевод П. Грушко

Я не буду поэтом одряхлевшего мира.
И не буду петь о мире грядущем.
Я узник жизни, я смотрю на друзей.
Они печальны, но очень надеются.
Среди них действительность беспредельна.
Настоящее — огромно, не потеряться бы.
Чтобы не потеряться — возьмемся за руки.
Я не буду петь о красотках, рассказывать байки
о вздохах при луне, о дивных пейзажах,
распространять ужасы и письма самоубийц,
не сбегу на острова, не буду похищен ангелом.

Мой материал — Сегодня, сегодняшнее время,
сегодняшние люди, сегодняшняя жизнь.

Наше время

Перевод М. Самаева

Это время разъединенья, время
расчлененного человека.

Напрасно листаем тома,
странствуем и придаем себе лоск.
Час вождельный крошится на мостовую.
Люди требуют мяса. Тепла. Ботинок.
Мало одних законов. Лилии не рождаются
из законов. Мне имя — толпа.
Я расписываюсь на камне.

Исследую факты, но тебя не встречаю.
Где скрываешься, время, зыбкий синтез, залог
всех моих снов, спящий свет на веранде,
скрупулезная мелочь ссуды?
Ни один шепоток не взберется
ко мне на плечо — поведать
о городе целых людей.

Молчу, ожидаю, загадываю.

Вещи, возможно, становятся лучше.

И какая в них сила, в вещах!

Но я-то не вещь, и я восстаю.

Ищут русло во мне слова,

хриплые, жесткие,

гневные и упругие.

Но столько дней пролежали они под спудом,

что взрываются черев силу и почти потеряли смысл.

* * *

Это время, когда я молчу.

Время смерзшихся губ, бормотанья,

недомолвок, оглядок

на углу, время всех моих чувств

в одном: за тобой следят.

Это время коричневых штор

и бесцветного неба, это время политики —

в яблоке и в святыне, в любви

и в неприязни, в обузданном гневе

и в разбавленном джине,

в подведенных ресницах, в зубах

из пластмассы, в изломах

речи. Уравновешенность —

ее мы провозглашаем.

В любом переулке,

на каждой стене —

политика.

Пташки поют

осанну

в небесах пропаганды.

А в комнате, за четырьмя стенами, —

ухмылка и грязный воротничок.

* * *

Вслушайся в упоительный час обеда.

Канторы внезапно пустеют.

Рты всасываются в море мяса, овощей, витаминизированных пирожных.

Рыбы прямо из океана выпрыгивают на тарелки.

Голодные катакомбы рыдают супами. Глаза

механического динозавра влажнеют. Кормитесь, бумажные руки.

Это время обеда. А впереди еще время любви.

Постепенно канторы заполняются снова,

и грандиозное дело запускается в ход.

Толпы пересекаются с ним, не замечая: оно

без плоти и крови. Вот обернулось трамваем,

рефрижератором, телефоном, самолетами в небе

и из твоей души извлекает проценты.

Вслушайся в томительный час возвращения.

Мужчина, опять мужчина, женщина, ребенок, мужчина,

брюки, сигара, шляпа, юбка, юбка, юбка,

мужчина, женщина, мужчина, мужчина, женщина, юбка, мужчина.

Им кажется — что-то их ждет.

Они молчат, растекаясь шагами и ускользая, рабы
дела. Представь. Возвращаешься. Призрачный город.
Вечер. Угасшие стены. Представь.

Вслушайся в крошечный час возмещения.

Чтение, бар, казино, прогулка на берег,
тело с телом, потом обмякло,
а в мозгу неудобные мысли раба.

Ворочается, скрипит, вздыхает и постепенно
зарывается в прошлое и признается себе,
что важнее всего — уснуть.

* * *

Поэт

не желает нести ответ
за ход вещей в буржуазном мире.
Своими словами, интуицией, символами и прочим
оружием он обещает помочь
его уничтожить,
точно некую каменоломню, как червя,
как нелепость.

Диего Ривера. «Смерть крестьянина»

Фреска в с/х. школе в Чапинго. 1926–1927 гг.

АУГУСТО ФРЕДЕРИКО ШМИДТ[99]

Удел

Перевод М. Самаева

Где они — те, что так улыбались
и были свежи, как рассветные розы?

Где они — те, что были чисты,
точно вода, которая в сердце леса
стекает с высоких камней?

Где они — те, что были прекрасны,
те, в чьих глазах отражались звезды?

Где они — те, кому зори дарили
музыку благовеста и краски?

Где они — те, что были легки и в танце
гнулись, как ветви под порывами ветра?

Где они — те, что набирали в кувшины
живую воду фонтана?

Где они — те, в чьих улыбках, веселых и милых,
таяли сумерки жизни?

Где они — те, что в темные кудри
сердечко цветка вплетали?

Как далеки они, боже!

Туда, где сплетаются корни твоих деревьев,
осыпались, точно ночные листья.

ВИНИСИУС ДЕ МОРАИС [100]

От родины вдали
Перевод М. Самаева

Моя родина — это как улыбка застенчивая
или желание плакать...

Она как уснувшая девочка,
моя родина.

Почему помню ее лишь такую?
Почему, на ребенка спящего глядя,
вдруг до спазм горловых, затоскую?

Бела спросят о родине, чт? отвечу? Не знаю...

Поле, город, дорога ели чаща лесная?

Я не знаю ее «почему» и «когда»,
только знаю: она — это свет я вода,
которые вылечат, будь в твоём сердце хоть рана сквозная.

А больше о ней не знаю...

Я хотел бы глаза целовать моей родины,
гладить волосы ей под напев колыбельной,

я б ей новое платье купил, если б мог,
приодел бы ее хоть немного:
ведь ни туфельек нет, ни чулок
у дикарки моей босоногой.

Почему так люблю тебя, родина,
я, живущий вдали от родины,
я — занесенный ветром бог знает куда,
я — не спешить обреченный,
я — всеми нервами
к боли времени подключенный
я — частица звена между словом и делом,
я — незримая нить
между всеми «прощай», между всеми «навек»,
я — посмевавший о стольком забыть...
Ты во мне, как любовь, которая только
притворилась умершей;
ты во мне, как цветок,
случайно примятый;
ты, как вера, которой никто
меня не учил;
ты во всем — и во всем, что со мной, ты повинна,
даже в комнате этой, большой и чужой,
с камином.

Новой Англии ночи... Забыть ли, как до рассвета
я Центавра искал с лучезарными альфой и бетой,
обегаю глазами весь звездный реестр,

как напрасно из капель расплавленного металла
я составить мечтал Южный Крест.

Рассветало...

Ты — медовый источник;
ты — грустно глядящий зверек,
средоточье дорог моей жизни, и цель, и опора.
Даже лишенный всего, я бы в сердце берег
искру надежды, что скоро
переступлю твой порог.

Чтобы видеть тебя, моя родина, чтобы
только вновь тебя видеть, я всем пренебрег.
Глух и нем ко всему, раздражен, одинок,
мучим приступами то бессилья, то злобы,
рвал стихи, рвал с возлюбленными, что ни шаг —
ошибался, плутал... И устал, и иссяк...

Моя родина... Это не брызжущий зеленью свежей
рай земной — это белая даль побережий,
это земли пересохшая глотка, пустынность дорог
и анаконда реки,
ползущей сквозь дебри тропические,
реки, пьющей тучи, переваривающей песок
и вливающейся в Атлантический.

Моя родина... Сыщешь ли ярче, знойней
и с глазами как два озера доброты.

Помню, раз на экзамене, с мыслью о ней,
латинское «Libertas quod sera tamen»
перевел как «Свободною станешь и ты»...
Вот и памятен мне тот экзамен.

Моя родина... Вспомню —
и невольно глаза зажмурю:
вот ветер в лицо твое смуглое плещет лазурью,
вот кудри твои лохматит его пятерня.
Этот ветер приносит твой запах через многие мили разлуки,
и я слышу твое дыхание,
а в груди твоей — ритмы батуки,
и тепло твое, и твой голод проникать начинают в меня.
Для иных, моя родина, ты велика, — для меня ты —
островок в моем сердце, островок безымянный, объятый
морем нежности. Имя твое я давно
страшусь называть, потому что бешусь от бессилия
выразить то, что в груди поднимает оно,
патрицианское имя твое — Бразилия.

А теперь позову соловья (с ним друзья мы),
позову и признаюсь:
— Есть певчая птичка по имени саби?
Передай ей, пожалуйста, текст птицеграммы:
«Родина, больно сердцу, вспоминающему тебя.
Винисиус де Мораис».

Женщине, которая проходит мимо

Перевод П. Грушко

Боже мой правый, как сердцу мила
та, что со мною, как воздух, была!
Белые груди прохладнее роз,
радостна радуга легких волос,
рот ее полуоткрытый так свеж —
рот ее семь опалили надежд!

О, как была она сердцу мила —
та, что со мною, как воздух, была!
Чувства ее — как стихов сотворенье,
грусть ее — доброй печали томленье,
волосы нежною вьются травой
над горделивой ее головой.
Дикае руки — как шеи лебязьи,
нет ни белее, ни гибче, ни глаже.

Боже мой правый, как сердцу мила
та, что со мною, как воздух, была!

Как я люблю ее! Что же проходит
мимо меня и с ума меня сводит?
Мимо проходит с усмешкой у рта,
в полночь и в полдень — моя маета!

Бросила — разве тебе я не пара?
Сердишься — разве не лютая кара,
облик твой милый в разлуке тая,
видеть при встрече, что ты не моя!
Что ж стороною проходишь ты? Что ж
солнцем над сердцем моим не взойдешь?
Вечно я вижу тебя, как в тумане.
Разве мое не правдиво желанье?
Что же ты сердцем моим погнушалась?
Что же не сменишь жестокость на жалость!

Боже мой правый, как сердцу мила
та, что со мною, как воздух, была!

Боже, верни мне любую ценой
женщину ту, что рассталась со мной!
Ради твоих неизбывных мучений,
боже мой правый, услышь мои пени,
пусть, как великое чудо господне,
женщина в дом мой вернется сегодня!
Пусть успокоит, вернувшись обратно,
та, что была и чиста, и развратна, —
женщина, легче коры на волне,
корнем вошедшая в сердце ко мне.

ЖОАН КАБРАЛ ДЕ МЕЛО НЕТО[101]

Реклама для туристов в Ресифе

Здесь море — как горный склон:
правильный, синий, округлый,
он выше рифов встает
и чащ на равнинах юга.

Пользуйтесь нашим морем,
его побережье — это
лезвие из металла
и геометрия света.

Собственно город — вот он:
реку тесна, лачуги,
сжав известковые плечи,
лепятся друг на друге.

Здесь по архитектуре
вы бы урок получили:
легкости и равновесья,
непринужденности стиля.

Будни бедняцкой реки,

полные однообразья,
текут в цементном склерозе
медленной кровью — грязью.

Люди при жизни тлеют
на берегах замшелых:
холод и гниль отбросов —
вот их судьба, удел их.

Поймете здесь: человек
высшая мера всему.
Но — если жизнь, а не смерть
мера ему самому.

Пейзаж по телефону

Когда б мы по телефону
ни говорили, казалось,
твой голос ко мне доносился
из светом залитого зала.

А там, за дюжиной окон,
мог различить я вскоре
утро, и больше чем утро,
поскольку оно — морское.

Северной нашей Атлантики
утро, еще у подножья
каменного полудня,
где берег на камня тоже.

Утро из Пернамбуко
с такой чистотой во взгляде,
какая — только в Ресифе,
в Олинде или Пьедаде,

где разбивается солнце
о паруса на осколки
и о плоты, что белы
от многолетней просолки;

плоты — как павшие стены,
но облачением света
не солнце их осияло,
не в солнце они одеты:

оно лишь сняло покровы
из сумрака и тумана,
чтоб обнажилось вольно
то, что под ними дремало.

Твой, голос по телефону
таким мне казался, будто
облачена была ты
в это прозрачное утро;

так чист был и свеж он, словно
звонила ты мне нагая
иль только в том, что скинешь,
в ванну ногой ступая;

одежды такая малость
была на тебе, что ею
не затмевался твой свет,
когда ты звонила, вернее,

казалось мне, что лишь ванна
была твое одеянье,
и не воды отраженьем
было твое сиянье, —

вода выпускала только
твой собственный свет на волю,
как шестью строфами выше,
солнце, касаясь соли.

Ткань утра

Один петух не может выткать утро,
и он о помощи собратьев просит.
И вот какой-нибудь петух поймает
крик, долетевший до него, и бросит
другому петуху, а тот поймает —
и третьему. И между петухами
начнут сплетаться солнечные нити
их ранних криков, и тогда над нами
тончайшей тканью возникает утро,
сработанное всеми петухами.

Вот купол уплотняющейся ткани
натягивается над всеми нами.
Мы входим под него, и он свободно
над головами реет, бескаркасный.
Ткань утра столь легка, что ввысь уходит
сама собою: шар светообразный.

Обучение камнем

Урок — основа обученья камнем.
Дабы понять — к ним прибегайте чаще.

Сначала вникните в его язык:

он точен, сух — безликий, неблестящий.

Урок морали даст — противоборством
потоку, и ударом не сомнете;

урок поэзии — конкретность, сжатость;

экономичности — компактность плоти.

Уроки камня (изнутри — наружу
его немного букваря прочтенье).

Урок четвертый — камень из сертана
(извне — вовнутрь, еще в предобученье).

В сертане камень не дает уроки,
и по нему учиться бесполезно.

Там, от рожденья, он всего лишь камень,
но камень там — с душой, с душою — бездной.

ЭМИЛИО КАРРЕРА ГЕРРА[102]

Ноктюрн Копакабаны

Перевод М. Самаева

Копакабана, бегут твои рельсы и реки асфальта.

Копакабана, бреду, спотыкаясь

о цементные корни зданий.

Нависает стеклянная перспектива фасадов,

Сердце — и камень, камень, камень.

Хлопают двери, хлопают двери, хлопают двери.

На заднем плане — белье на балконах.

О знамена домашнего мира!

Из дворов вырывается вечный запах

стирки...

Окна, огни, окна, огни.

Рефрижераторы, лифты, готовые взвиться...

Небоскребы, кому вы приют даете?

Кого изрыгаете на тротуары?

Кто-то в постели, под самыми тучами,

занят любовью,

кто-то под душем мурлычет песню,

уши пронзает криком новорожденный,

на зеленом сукне схлестнулись четыре масти,

нагая сирена дает поглазеть на себя в бинокли,

этот читает журнал, а этот вскрывает вены.

Но найдётся всегда и такой,

кто работает в это время

в тиши кабинета,

и мысль его ищет меня,

затерявшегося среди ночи,

ищет, чтоб раздавить.

ЖЕИР КАМПОС[103]

В характере профессии и в условиях

работы интеллигента и рабочего не

существует сколько-нибудь

существенных различий. (Из «Гарантий законов о труде»)

О профессии поэта

Перевод М. Самаева

Моя профессия

Рабочий песни, представляюсь вам

с лицом открытым, без клейма и шрама;

душа моя чиста, и руки чисты,

открыта грудь, и — такова программа —

что думаю, высказываю прямо.

Договор о работе

Я призван петь; нет ничего чудесней,

чем море звуков в раковине песни.

Прекрасен мир: свет солнца, небо в звездах...

Но говорю я песне — позабуди их,

покуда боль живет во мне и в людях.

Пусть это вечной темою зовем мы —

нет старых тем, есть старые приемы.

О связи с другими профессиями

Хотя свой стих из серебра чеканю,

он не снискал доверия банкиров;

мне с коммерсантом или с продавцом

приходится нередко состязаться

в умение подавать товар лицом;

как служащие телефонных станций

и радио, о чем ни говорю,

стараясь помнить про регламент строгий,

в три — пять минут укладываю строки;
для музыкантов истинных, для них,
чувствительных к звучанию, к тембру слова,
старательно инструментую стих;
для кинодеятелей стих мой — это
добротный фильм, не блекнувший от света;
в сердца проводников и машинистов,
немалые пространства покрывая,
всегда по расписанию прибываю;
для экипажей кораблей — на реках
или в морях, в пути и у стоянок
для них звучит моя простая песня
привычным и бодрящим звоном склянок;
на холодильных установках глыбы
апатии растапливать могли бы,
цитируя меня в змеевики;
на шумной пристани портовики,
притягиваемые силой звуков,
на свет слепящий вылезут из люков;
я с песней опускаюсь в шахты, веря,
что ждут ее и там, где добывают
руды и уголь из земных артерий;
коллегам по газете, журналистам,
я новости хорошие даю
с благим советом, как распространить их,
как лучше ими начинить статью;
учителям, преподающим детям
умение быть взрослыми, читаю
мой курс о воспитании умелом
и нужное пишу на стенах мелом;

я химикам дал много формул новых,
я вывел из страданий бедняков их...
И к остальным, ко всем, кто любит труд,
пусть, как друзья, мои стихи придут.

О времени работы

Работаю в любое время суток:
и днем, в тени, и по ночам, когда
созвездий диаграммы пламенеют;
кто любит труд, тот бодрствовать умеет.

О времени отдыха

По воскресеньям или на неделе
случаются свободные часы;
тогда заботам двери отворяю,
а отдых свой друзьям я доверяю.

О праве на праздники

На праздники имеет право всякий,
а я всегда встаю, как по гудку,
без выходных работая; однако
сам труд мой праздничен когда строку
спряду сначала, а потом сотку.

О праздничном вознаграждении

Мне к празднику вознаграждение — весть,
что песнь моя кого-то вдохновила,
что в звуках лиры не угасла сила.

О минимальной зарплате

Работаю на шумном перекрестке,
связавшем север, юг, восток и запад;
мой минимум прожиточный таков:
жить, в звуках песни душу утоляя,
и петь — о чем, кому и как желаю.

О работе в ночную смену

В ночную смену я тружусь бессменно,
и если кто поет одновременно,
мы песнь, чтобы ансамбль нам удался,
на разные выводим голоса.

Об охране труда

Я петь могу в потемках, на ветру
и под дождем; пою, вдыхая свежесть
полей и в полдень, ослепленный светом,
зимой под солнцем и в прохладе летом;
я петь люблю, когда сады цветут
или когда нальется плод румяный,
но при фальшивом свете петь не стану,
как те, чье немощное вдохновенье
смирилось с полусветом, полутенью;
и если воздух слишком разряжен,
слабее стих мой, меркнет лиры звон.

О гигиене труда

Я не пою, когда меня неволят,
среди людей, чьи помыслы нечисты;
чьим сытым душам нужны лишь забавы;
чтобы избавиться от скуки или

поразвлекать скучающих красавиц,
я не пою...
Но петь приятно мне,
когда с надеждой мы наедине.

О расторжении договора и т. д.
Уж такова моя работа — песней
товарищам в их деле помогаю,
служу им, раскрывая душу слова;
но если вдруг я окажусь нужнее
на поприще ином — за честь почту
служить им верно на любом посту.

ТЪЯГО ДЕ МЕЛЛО[104]

Стихи о безлюдной площади
Перевод М. Самаева

Воздетой песнею в ту ночь, в апреле,
народная надежда ожила.
И думал я, что грудь моя доселе
ни радости не знала, ни тепла.

Была лишь скорбь, как серые панели
на улице пустынной, и была
тоска — не оттого, что холодели

в моем угрюмом сердце страх и мгла.

Но оттого, что улица пустела,
и до упадка родины своей,
как мне Казалось, никому нет дела,

и песня на просторы площадей
поток не созывала многолюдный,
чтоб радость добывать борьбою трудной.

СОЛАНО ТРИНДАДЕ[105]

Перевод П. Грушко

Предостережение

Есть поэты, которые пашут лишь о любви,
поэты-герметики в конкретисты,
в то время как делаются
атомные в водородные бомбы,
в то время как делаются
приготовления к войне,
в то время как голод изнуряет народы...

Потом они сложат

стихи ужаса в раскаяния,
но не избегнут кары,
потому что война в голод
настигнут и их —
поэтов, которых настигнет забвение...

Есть у моря жена...

Есть у моря жена,
море на дюнах рокочет —
море на дюнах женато,
целует их, когда хочет.

Само на дюнах почило,
а нас с женой разлучило!
И я целовать хочу
любимую в час любой.
И чтоб она целовала
меня, как дюна прибой...

Цветной галстук

Когда у меня будет вдосталь хлеба
для моих детей,
для любимой,

для товарищей
и для гостей,
когда обзаведусь книгами,
тогда — в выходной —
Я куплю себе галстук
цветной,
красивый,
длинный-предлинный
и завяжу узел
без морщинки единой,
выставлю его
напоказ —
пусть весь галстучный сброд
глазеет на нас!

ВЕНЕСУЭЛА

ФЕРНАНДО ПАС КАСТИЛЬО[106]

Меж ветвей мелькают огни
Перевод Н. Горской

Меж ветвей мелькают огни,
дома — в мельканье огня,
у каждого дома свой голос,
и голосу голос — родня.

По улицам смерть недавно
бродила в вечерний час,
и где-то увяли ветви,
и где-то огонь погас.

Недавно смерть проходила
в одежде из белых роз.

Меж ветвей мелькают огни,
и где-то дома скорбят,
возносят молитву к богу
и в темноту глядят.

Глядят они ночью в поле,
где смерть недавно прошла
и, кроме скорби, надежду
каждому дому дала.

Темных решеток плетенье,
в окне твоём — тени, тени!
Я знаю, травинкой вольной
росла ты в долине земной,
всходила стеблем душистым
среди саванны хмельной.

Я знаю, глаза сняли,
источая свет и тепло,
и слезы твои, как росы,
поблескивали светло.

Я знаю, травинкой вольной
росла ты в зеленом поле.

Смерть появилась ночью,
немая в немой тени,
и слезы в глазах сверкнули,
и в окнах зажглись огни.

Смерть появилась ночью
в одежде из белых роз.

Ночью пришла украдкой
и в каждом доме сама
посеяла зерна скорби,
чтоб породнились дома.

Недавно смерть проходила
в одежде из белых роз.

Меж ветвей мелькают огни,
дома — в мельканье огня,
у каждого дома свой голос,
и голосу голос — родня...

Но где-то — над жизнью нашей,
над домом, над скорбью дней,
вдали, за лугом иль пашней,
вверху, над шатром ветвей, —
сияет свет меж теней.

Я вижу: травую горькой
взошла печаль в твоём сердце.

Но знай, что в скорбное поле
открыто окно у меня,
и все огни — единое пламя,
и голосу голос — родня.

АНДРЕС ЭЛОЙ БЛАНКО[107]

Перевод М. Самаева

Солнце

Каждый день надзиратель
отмеряет нам порции солнца.
Через отверстия в крыше
получаем мы ломтики солнца.
В самые ясные дни,
когда солнце себя без удержу тратит,
мы, политзаключенные,
получаем не больше,
чем дает надзиратель.
Пять квадратиков —
всех наших чувств средоточие —
и пять арестантов под ними.
Сто других образуют очередь.
Солнечные отверстия —
окошечки касс на станции
небесной железной дороги;
чтоб увидеть белый свет,
больше ста пассажиров
ждут, когда им дадут билет.
Ясные дни —
настоящие праздники света,
когда раздают нам квадратики солнца,
как галеты.

Кандалы

К утру простыня сбивается,
и оголяются ноги.
— Чертова холодина! —
ворчат арестанты,
скрючившись под тряпьем.

А я — я не чувствую стужи
и зноя не чувствую тоже;
кандалы мне натерли мозоли
на коже.

Небо дверное в следах
плуга — оконной решетки;
скоро ночь в черноземе своем затеплит
свечки листочек кроткий.
Запахи дальних кухонь,
запах тюремной лавчонки;
испарения от городских огней;
если захочешь — глазами,
сколько захочешь, пей.
Но я ничего не вижу
за бороздами решетки
на тихом небесном поле;
кандалы на глазах мне натерли
мозоли.

Солдаты заводят песню,

и песня над вышками реет.
Отправившись вслед за песней,
я бы, пожалуй, мог
выпить улицы добрый глоток
или добрый глоток прогулки
под звездами
вместе с любимой
у реки иди где-нибудь в роще,
набитой гитарными вздохами.
С песней я мог бы, пожалуй,
коротать одинокие ночи.

Но теперь я уже никогда не пою,
я боюсь даже вспомнить про песню мою;
кандалы мне мозоли натерли
в горле.

Вечно кто-нибудь жалуется:
заключенный,
умирающий или бездомный,
и волны людского моря
где-то за далью дальней,
за далью темной;
и сгорбленная деревушка —
лишь взглядом, без слова, без стона;
и в каждой жалобе скорбной
жалуются миллионы.

Пленник

Выводили его из ранчо
под крик петухов на рассвете;
по бокам с винтовками двое,
позади с винтовкою третий.

Он убил — так тигр убивает,
разъярясь и словно ослепнув,
оттого, что грызет его голод
и охотник идет по следу.

От куста к кусту пробираясь
и пытаюсь выйти на берег,
он себя раздирал о колючки,
обагрят собою репейник.

А потом в дубняке скрывался,
и, готовый не дать даром,
поджидал приближенье смерти,
одетой в форму жандарма.

Да, убил. Но они ведь забрали
и жену, и все, что имел он,

и когда просил — был исхлестан,
а когда проклинал — осмеян.

Да и в ночь такую, как эта,
убийство — не преступленье.
Руки скручены за спиною,
на щеке полоса от плети,
подгоняют руганью двое,
подгоняет прикладом третий.

А какая-то женщина пела
вслед ему на краю деревни:
— Ты прощай — одна загорюю,
ты прощай — одна поседею.
Когда вырывают корни,
что боли земли больнее!

Увели, увели хлебопашца,
и солнце иссушит землю,
и женщина станет камнем,
и змеями станут стебли.

Уже борозде не раскрыться,
и добрых семян не беречь ей,
уже не изведать мне муки
от ребенка, что мне обещан.

Их ведут по земле изнуренной
и изглоданной болью древней,
той, которая старит женщин,
не носивших дитя во чреве.

Руки скручены за спиной,
на щеке полоса от плети;
по бокам с винтовками двое,
позади с винтовкою третий.

Черные ангелочки

— Ах, люди! У черной Хуаны —
ну кто бы подумать мог! —
умер ее негритенок,
ее сынок.

— Ай, сосед, как же так случилось!
Ведь не хворый был мой сыночек.
Я хранила его от сглазу,
берегла, укрывала ночью.
Отчего же он сохнуть начал?
Стал — поверишь? — кости да кожа.

Раз пожаловался на головку,
занемог, а неделей позже
умер, умер мой негритенок;
бог прибрал его; волей божьей
ангелочком теперь на небе
стал мой маленький, мой пригожий.

— Не надейся, соседка. Черным
разве может быть ангелочек?
Ведь художник без родины в сердце
о народе думать не хочет,
когда пишет святых на сводах;
только тем он и озабочен,
чтобы ангелы покрасивей
составляли круг Непорочной;
никогда среди них не встретишь
чернокожего ангелочка.

Живописец с чужой нам кистью,
но рожденный на наших просторах,
когда пишешь вслед за былыми
мастерами в церквах и соборах,
хоть Пречистая светлокожа —
напиши ангелочков черных.

Кто напишет мне ангелочков,

на родной мой народ похожих?

Я хотел бы, чтоб среди белых
темнокожие были тоже.

Отчего же ангелы негры
на свои небеса не вхожи?

Если есть живописец Пречистой,
и святых, и небесного свода,
пусть на небе его заиграют
все цвета моего народа.

Пусть на нем будет ангел с жемчужным
цветом кожи, и ангел безродный,
и кофейных оттенков, и рыжий,
и, как красная медь, ангелочек,
ангелок светлокожий, и смуглый,
и такой, что темнев ночи, —
пусть они на задворках неба
зубы радостные вонзают
в солнце-манго с мякотью сочной.

Если только возьмет меня небо,
я хочу на его просторах
не святых херувимов встретить —
бесенят озорных и задорных.

Свое небо изобрази мне,
если край твой душе твоей дорог,
так, чтоб солнце налило белых,
чтобы оно глянцеваало черных;

ведь не зря же скрыт в твоих венах
добрый жар лучей разъяренных;
хоть Пречистая светлокожа,
напиши ангелочков черных.

Нет нигде богатого храма,
нет нигде простого прихода,
где бы черные ангелочки
на меня глядели со свода.
Но куда же тогда улетают
ангелочки земли моей знойной,
мои скворушки с Барловенто[108],
мои жаворонки из Фалькона[109]?

Свое небо изображая
на высоком церковном своде,
хоть когда-нибудь вспомни, художник,
о забытом тобой народе.
И среди отливающих медью,
среди белых в кудрях золоченых,
хоть Пречистая светлокожа,
напиши ангелочков черных.

АНТОНИО АРРАИС[110]

Когда корабли скрипучие

Перевод Б. Слуцкого

Когда корабли скрипучие ищут грязные гавани,
Паруса из брезента обвисли, на корме матросы сидят,
Смолою одежды запачканы, иссушены губы в плавании,
На руках ободраны ногти,
Заросли бородами лица,
Грубо жаждет женщину взгляд.

Нас встречают смешные люди, ни лица не знаем, ни имени.
Может, нас изменило море и прежних нас больше нет.
Может, мы так долго плавали, что все друзья наши вымерли,
Может, наши глаза обжигает ослепляющий моря свет.

Мы с моря идем, где люди от диких смерчей спасаются,
Смеются, переглядываются, долго, жалобно перекликаются.
Мы с моря идем, где старухи распустили седые гривы
Бессмертные, безумные распустили седые гривы.

Мы якорь бросали в съесту у ярко-алого мола,
Где негры, ростом до неба, но цепей им не порвать.
Когда рассвет улыбался, пред нами девушки голые,
Нагие белые девушки плясали на островах.

Ночами нам слышалась музыка, стонавшая, будто раненая,

И вот что нам привиделось однажды, в полуночный час
Из моря вышла женщина, луной сотворенная, странная и целовала нас.
Сколько мы плавали по морю! Все кончилось — водка, бананы,
И соль, и мясо. Как-то, решая все поскорей,
Убили двоих: не понравилась нам шкура их, что ли, поганая

И вот мы вернулись с ободранными
Ногтями, и заросшими
Лицами, и иссохшими
От жажды губами, залитые слепительным светом морей.

Смерть

Перевод В. Столбова

В тот день,
когда смерть придет и ко мне,
я сумею встретить ее,
как воин,
с бесстрастным лицом
и твердым духом.
Смертельная рана —
пусть она будет в грудь,
в голову или в живот,
но только не в спину.
Закружатся черные тучи
и неторопливо
обволокут мое тело.

Из раны
вместе с горячею кровью
хлынет с шипением жизнь.
И затаю я тогда
свою предсмертную песню,
прошрое воспую,
вспомню охоты и битвы,
вспомню великие подвиги,
обычные вспомню дела.
Даже для женщины той,
той черноглазой и быстрой,
которая затемнила
светлый поток моих дней.
И меня заставила пить
горький напиток забвения.
Я отыщу спокойные
и ласковые слова.
Вместе с горячею, кровью
вытечет моя сила,
тихо угаснет песня,
и вслед за песней и жизнь.
Мужчины нашего племени
возьмут неподвижное тело
и выполнят надо мною
весь похоронный обряд,
подобающий храброму воину.
И дух мой, свободный, вылетит
через открытую рану
и по неизведанным тропам
отправится в дальний путь,

на заоблачные луга.
Туда, где нет женщин,
омрачающих нашу жизнь,
туда, где мужчины знают
только войну и охоту,
туда, где смелым и сильным
позволено созерцать
чело Великого Духа.

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА[111]

Моя песня мчится к морю

Перевод Б. Слуцкого

Старые кедры вздымают стволы,
как прародители воды и тени,

молодые кедры прячут корни
в залежах руды и вплетают кроны
в бушприты урагана,

хабилю[112] скрывают под шершавой корой
твердый и белый живой мрамор
своей древесины,

нагое сияние цветов
освещает мои воздушные витрины.

Мои соки текут в море.

Попугаи вздымают зеленые стяги
и алые флаги в ущельях зари.

Между берегом и берегом, между
лесом и лесом скрещиваются
мирные и добрые стрелы — это цапли,

Ягуары вдыхают в тесноте лиан
тяжелый желтый запах сельвы.
Диего Ривера. «Сбор сахарного тростника».

Рыбы плывут вместе со мною.
Их кинжалы вспарывают лоно
воздуха, пробивают в нем дорогу.

Моя кровь течет в море.

Мои стоки видят кривые контуры хижин
без дыма и без надежды на завтра.

В моих водах отражаются взоры
метисов из деревни, забытой на бескрайней
равнине.

Мои притоки несут гитарное треньканье
и песню, охрипшую от рома.

В моих заводях купается голая
женщина, всегда одна и та же.
Хотя мое сердце трижды, как
апостол Петр, отреклось от нее.

Моя жизнь течет в море.

Фреска во дворе Кортеса в Куэрна-ваке.
Фрагмент. 1929–1930 гг.

ХУАН ЛИСКАНО[113]

Перевод Б. Слуцкого

Любовь человека

Потому, что люблю ночь, землю, воду, ветер,
детей, тобою мне данных, радость солнца
и твою радость — источники жизни
и печали, текущие морскими волнами;
потому, что люблю мой древний народ,
и другие народы, и всемирного человека,
вздымающего сегодня в печальное небо
новые Полярные звезды;
потому, что люблю ласковое зверье,
теснящееся в тени друг к другу,
и хлеб, который делю с тобою,
и сны, которые мне снятся рядом с тобою,
и жизнь, внезапно огненными стрелами
ранящую меня, и смерть,
переходящую дорогу под аркою из плодовых деревьев
в медленном молчании золы и пыли;
потому, что люблю жажду и утоление, добро и зло —
все они, как блистающие кони; потому, что люблю
все, что видят глаза мои, широко раскрытые,
все, что целуют руки мои, все, что трогают губы мои;
поэтому все сильнее
люблю тебя, моя Самая Главная Женщина!

Земля, умирающая от жажды

Останавливаются задохнувшиеся ветры,
Раскрывают рты, раскаленные удушьем,

ищут отдушину, скребут землю,
взрывают, раскапывают, сваливаются,
сморенные тяжелыми снами земли.
Падает ветер в недвижимую пропасть,
а среди тяжелых, как глыбы, теней
сверкают потоки камней,
костенеющие растения и лысины холмов.

Ссохшаяся, сожженная зноем земля,
бесплодный, мертвый лунный мир.
Струпья щебенки, как
шрамы, руины, могилы,
белые лишайи, проказа,
слепащие россыпи черепов,
длинная кость следит,
как свет роется
в других костях.

Деревья умирают, но не гниют,
не возрождаются, пройдя через гниль
плодородья, перегной плодоносный.
Лучи разъедают, как кислота, —
все мгновенно испаряется, умирает
и по пескам, засеянными камышами,
ветры разгоняют прах;
обглоданный скелет
отпугивает птиц, траву, растительные соки.

Здесь рождается жажда,
здесь проясняются ее черты, начинаются ее шорохи:
гальки, скелетов, кустарников,
колючек, похожих на кристаллы, на ежей, на палку, на насекомых,
треск высохших семян —
пронзительные визги, шепоты, жужжанья;
здесь жажда прокладывает свои штольни,
как в древние геологические эры.

Она возвращает к тем судорожным дням,
когда под дождем и ветром здесь жили звери,
полчища грызунов, млекопитающие
с грузными костями.
Из них-то и образовалась
эта бесплодная, яростная, пышущая жестоким одиночеством земля.
Эти ошметки кожи, эти шелудивые шкуры,
эти обглоданные кости,
прикрывающие ископаемый мозг.

Ничто не зовет к жизни, к рождению,
к преодолению одиночества, к соитию,
к тому, чтобы выбиться из скорлупы,
смешать тени, лучи, расстояния.
Смерть, как в зеркало, глядится в эту землю,
обрамив ее фосфорическим нимбом,
Когда смерть засыпает, все угасает,
ветры, несущие шипы кварца,

замирают у гневного рака засухи.

И все же жизнь пульсирует и здесь:

выползает и молча готовит яды

или вздымается в кратком внезапном полете

и зарывается в землю или стремглав пересекает пустыню,

находит источники крови и соков,

обглаживает даже ветер

и в конце концов передает цветку кактуса,

его когтям и шипам

свежесть подземных потоков.

Ничто не зовет к жизни, но она

сопротивляется и продолжается,

вновь и вновь

испытывает жажду и голод,

проходит сквозь битвы и соитья,

скорпионов, похороны, зверства,

смерзшийся клей слюны змеиной,

сквозь поры губок,

клей и воркованье перьев,

теплокровность млекопитающих,

через их пот, язык, дыханье.

О карьеры белой глины, голгофы, овраги,

скалы, колючки, пустыри,

о лунная равнина земли,

обглоданная крысами дождя,
ободранная хищными ветрами,
земля, погибающая от яростной жажды,
земля, где все изменило жизни,
но жизнь не погибла все же
и все же сюда пришел человек.

Против разъедающих лучей встал человек,
против колючих ветров встал человек,
против камнепадов встал человек,
против языков пламени встал человек,
против ядовитых зубов встал человек,
против дней и ночей в песках,
против когтей, против времени и смерти
встал человек, встал человек, встал человек.

ЛУИС ПАСТОРИ[114]

Баллада о лани

Перевод Риммы Казаковой

На цыпочках ты проходишь по двадцати моим чувствам,
женщина, ускользящая от поцелуя, как пчела.
Ветер тебя коснулся... Обладать бы этим искусством!
Кто мне сказал, что моею была ты еще вчера?

«Моя, моя!» — восклицаю, и ты уже не чужая.
Но еще больше моя ты, когда я об этом молчу.
Как там твои глаза, моих не отражая?
Может быть, этот вечер тебя прильнет к моему плечу.

Ты совсем не моя, хоть в это не верю упрямо.
Сестра всего, что цветет, рядом с тобою вокруг,
женщина, возьми мои руки, сделай из них раму
и оставь свое лицо в этой раме рук.

О, твои ладони. Это ладони — или птицы?
Каждая привязана лентою руки,
которая от нежных берегов груди струится.
Узницы тела, плененные мотыльки.

Твои волосы — тень теплого и нежного дождя,
остановленного плечами.
Твое тело из дождевых капель замерло, ласково следя,
как падает этот радостный дождь днями и ночами.
Опускается ночь, твои нежные волосы падают на глаза,
что-то смутное рождается от тебя, непонятной и зыбкой.
Колелет твое лицо неожиданная слеза,
погашенная улыбкой.

Тогда ты в моих глазах, куда ни глянь,

я с тобой — как вода со спокойной травой.

Мне кажется, из твоих глаз выскакивает лань.

Я не знаю, какой я, но я знаю, что я твой.

Женщина, ты моя лань. У тебя лицо лани.

И еще ты знаешь тайну ветра и бега.

Удержу ли тебя последним небом желаний,
когда у тебя уже не останется ни для кого неба?

Женщина, я зову тебя. Твои колени, белеющие во мгле,
твое тело, волнующееся, стремительное, как вихрь,
твоя ноги, твердо стоящие на земле,
небо, начинающееся у бедер твоих.

Твои щиколотки, твоих бедер полукруг,
твое тело, подобное равнине,
ты, как яблочное семечко, для моих проворных рук,
маленькая косточка, сладкая, как финик.

Ты сгибаешь локоть и пишешь: «Иногда»...

А я в моей непробудной тиши
со слепую радостью читаю: «Всегда!»

О, роковая правда сладкой лжи!

Твоя ресницы — длинные, вразброс,

перед сном, смежающим твою длинные веки строго,
твой нос, женщина, твой нежный, как у лани, нос,
твой поцелуй — к ближнему берегу упоительная дорога.

Это старая привычка — говорить тебе: «Моя, моя!» —
так, как будто на самом деле нуждаюсь в тебе не очень,
старая привычка: зная, что любим тобою я,
произношу «Моя!» машинально, между прочим.

Я зову тебя другую — не переиздание твоей душа,
не копию, точно и скучно повторившую портрет,
ту, которая тихо шла рядом с мальчиком в дальней глуши,
каким я был, если сбросить каких-то пятнадцать лет,

Женщина, ты моя лань, моя страсть, награда, не требующая наград,
нежная девочка, опирающаяся на мою руку звезда,
вся — поэзия, маленький ад,
и он же — небо, которого больше не найду нигде и никогда.

ИДА ГРАМКО[115]

Невыразимое иносказание

Перевод И. Чижеговой

Невыразимое иносказанье —

молчанье.

Но сквозь него к нам рвутся голоса

со всех сторон:

ведь в каждой вещи,

нас окружающей,

свой мир, и хочет он

открыться нам,

стать нашим и поведать

нам тайну,

ту, что в нем заключена.

Ведь немота вещей не мертвая.

Она

жива.

И это мы вокруг

бежим, спешим, кричим и суетимся,

не постигая языка вещей,

простого, сильного, живого...

Но каждый миг мы чувствуем невольно

не разумом, скорей душой и телом,

движенье губ, движенье губ вселенной...

Услышьте же, всеильные поэты,

кудесники стиха, владыки слов,

услышьте этот тихий, робкий зов,

звучащий мерно, глухо, сокровенно!

На дне фонтана, в глубине зеркал

ужель никто ни разу не видал

улыбки там живущего певца?

Вы воспевать готовы без конца

колонны, фризы, капители,

но стал ли вам хоть на единый миг
понятен их таинственный язык?
В любом цветке, в любой травинке
живет поэт... Они творят без слов
простым движеньем, дрожью, колебаньем,
и к нам в сердца их древний, вечный зов
прорваться хочет сквозь иносказанье,
невыразимое в словах —
молчанье.

ПЕДРО ЛАЙА[116]

Каньяу?[117]

Перевод М. Самаева

О Каньяу?,

несправедлива к нам земля отцов,
дремота, как туман, в ушах коня,
и бесполезны стали зубы псов.

Работать нам не вмоготу,

здесь больше жить нельзя, как жили деды, —
здесь даже травы не растут,
и кролики из наших мест бежали.

Бесплодны тучи, Каньяу?,

язык земли от жара пошершавел.

Здесь прежде Хуанита Кастауриана
ткала платки из нитей своего молчанья.
А нынче дым здесь отравляет чаек,
в зубах машины стонет дерево.
За что разрыты русла ручейков?
За что сгубили песни клевера?

Здесь больше жить нельзя:
здесь вечность по ночам
глазами сов глядит на беды наши.
И этот едкий скрежет на заре,
и — прямо в сердце остриями — башни.

Вчера в трясине появилась цапля,
а дрозд летал над головою телки.
И вот в огне кружится одиночество,
и стонет, и болит ночами долгими.

О Каньау?,
ты видишь — сплющило лягушек,
и жабы стали безголосы.
Тоска вошла под наши кровли.
Прошел сквозь наши жизни черный дротик,
и заплутались на земле дороги.

Не надо преклонять колени
перед бичом, карающим страну.
Земля ведь наша, Каньау?!
Мы нашим сыновьям ее вернем.
Она в твоём зажата кулаке,
зажата и в моем.

Не надо на коленях жить дрожа.
Острее точите лезвие ножа.

ГАИТИ

ЖАК РУМЕН[118]

Гроза

Перевод Д. Самойлова

Ветер погнал белых бизонов стада по просторный степям
Небес. Безмолвные грузные быки растоптали солнце;
Оно погасло.
Ветер орал, как роженица.
И тогда прибежал проливной дождь,
Сотканный из огня и моря.
Он приплясывал, и топотал,

И волочил над землей полотнище тумана.
Листья пели дрожа, как дебютантки кафе-шантана;
Потом явился гром;
Он рукоплескал. Все это свершалось для того,
Чтоб радовался и рукоплескал гром.
Хлестала вода; не раскрывшись, умирали цветы;
Пальмы размахивали веерами;
Черных бизонов стада шли вслед за ветрами с востока на запад;
Ночь спешила им вслед, как женщина в траурном платье.

Гвинея

Перевод Е. Гальпериной

Долгий путь ведет до Гвинеи:
Смерть приведет тебя к ней.
Вот и темная чаща лесная,
Слышишь — ветер шумит сквозь вечную ночь
Ее длинных волос.

Долгий путь ведет до Гвинеи:
Предки твои там ожидают тебя
На дороге, — неторопливо беседуют,
Ждут.
А костяные четки ручьев
Негромко стучат по камням.

Долгий путь ведет до Гвинеи.

Нет, не ждет тебя пышный прием

В черной стране черных людей —

Под мглистым небом, прорезанным криками птиц.

Раскрываются веки деревьев над круглым глазом болот,

Над стоячей водой.

В мирной деревне там ожидают тебя

Хижина предков твоих и жесткий камень надгробный,

Чтоб наконец

Голову

Приклонить.

ЖАН БРИЕР[119]

Приветствие Ленину

Перевод М. Ваксмахера

Сказочный город, Москва, под прозрачным дождем,

Как рисунок углем,

Как толстовских времен литография,

Москва, синеватая в дымке листвы запоздалого лета,

Москва, на рассвете вся розовая, а в вечернем тумане

Нереальная, будто мираж

(А днем две взъерошенных птицы

Клюют с подоконника зернышки летнего зноя),

Москва, в кружевах осеннего золота,
И задумчивый Пушкин на площади,
И недвижимый пожар тополей вдоль аллей и проспектов,
Москва, золото, пурпур, сангина и сепия,
Пространство огромное, камень нетленный,
Мрамор, бронза, базальт богатырского роста,
Черепица годов на кровлях столетий
Под плющом сегодняшней жизни,
Москва, вся звенящая песнями, воплощенными в знамени красном,
И голос рабочий, под рокот машин,
Вздывается выше дворцов, минаретов, соборов,
Москва, величавая фреска, чьи краски — живое свидетельство
Героизма народного, века мужества и мечты, —
Москва, я к тебе прихожу из далеких краев
С изорванным знаменем своих поражений,
С поникшим полотнищем, повитым печалью
Моей истерзанной родины.
Я прошел через два континента, через душную толщу изгнания,
И болят моя корни, которые вырваны
Из родной гаитянской земли.
Москва, я к тебе прихожу,
Как в самую главную гавань всей жизни моей,
Прихожу без билета партийного и без визитной карточки,
Прихожу без сверкающих погремущек — без тропических орденов,
Я прихожу, чтобы с Лениным говорить.
Чтобы встретиться с голосом,
С живым человеческим бытием,
С живым присутствием мастера, изваявшего образ
Грядущего мира.
Я хотел услышать могучую поступь истории

И в ней обрести человека, который остался навеки
В магнитном поле прошедших времен —
В простом одеянии мужества.
Я видел фигуру его в человеческий рост
В Москве и Ташкенте —
Он обращался к народу.
Я видел его, одетого в мрамор, на площадях и в залах музеев,
И ночью, возле Москвы-реки,
И в Ленинграде, под хлопьями снега.
Я видел его на экране — в иное времени.
Но встретиться с Лениным по-настоящему
Мне довелось в рабочем квартале, в скромной рабочей квартире.
Вы напрасно бы стали в этом жилище искать
Плесень нужды, паутину отчаянья.
Не бумагой оклеены стены, а достоинством человеческим.
На стуле старая кепка ожидает хозяина,
Потертая куртка напоминает о фабрике, о работе.
Ни старой прокуренной трубки, ни керамической кружки для водки.
Книги, на репродукции — царские власти разгоняют рабочее шествие.
Все эти вещи могли бы принадлежать и Владимиру Ленину.
Все вокруг говорило о жизни,
И было у времени отвоевано не ухищреньями химии,
А жизнью самой и любовью.
В этом скромном жилище, в рабочем квартале,
Чистотой все дышало и правдой,
Как на заснеженном стоге в Разливе.
Был здесь зеленый узбекский чай,
И черный московский хлеб,
И белокурая девушка с точеной фигуркой,
И старая женщина, словно шагнувшая к нам

Из романа Горького «Мать».

И ее рабочие руки мне протянули

Азбуку жизни, соль гостеприимства, братства живую воду, —

Руки, простые, как детский, бесхитростный взгляд

Ее старческих глаз,

Руки, поющие, как молодость мира.

Вряд ли бы Ленин добавил хоть слово

К тому, что она мне сказала,

И я говорю:

«Ленин, вы мне помогли — издавека, на всех языках, —

Помогли мне создать моих идеалов колхоз,

Ниву мысли моей,

Глубинные ритмы моих поэм.

Помогите мне, Ленин, и мне и братьям моим,

Которые мне даны историей и судьбою,

Напоить нашей кровью мятежной

Родную землю,

И песню создать, которая нас выражает,

И клич обрести, который ведет нас к свободе».

Я вас приветствую, Ленин!

РЕНЕ ДЕПЕСТР[120]

Поэма о моей скованной родине

Перевод П. Антокольского

Вот лучи твои скручены сзади, как руки»

Вот в лицо твоей песни нацелилась банда убийц.

На усталых ногах твоей пляски железные обручи голода.

Я узнал тебя, родина, раньше, чем ты мне взмахнула

Окровавленной синей косынкой надежды.

С детства, раннего детства я чувствовал дрожь твою — словно удав

Обвивал меня грустной тяжелой лозой.

С детства чувствовал горе твое — словно кровный близнец

Проникал в глубину, в тайники моего ликования.

Вся избитая в кровь, вся в тоске, ты была, как вдова

Осужденного на смерть по подозрению в насилье.

Это ты, моя родина!

Это холод ножа, стоит только тебе засмеяться,

Это черная грязь торгашей на лице твоём.

Это ты, моя родина, съежилась в утренней свежести мая

И свила себе грустное гнездышко в сердце

Какого-нибудь музыканта-бедняги.

О разбитая грубым ударом гитара!

Ты в наручниках. Ты на коленях.

Но в распахнутом пламени черных очей твоих

Вновь трепещет и блещет зеленая роща Свободы.

Я стою пред тобой — низкорослая травка изгнанья,
Я пою, так пою мою песню, что сердце вот-вот разорвется,
Там, на самой вершине поруганной жизни!
Восемь лет миновало, как ты, моя мать, провожала меня у ворога.
И дрожала от горя и страха,
И следила, как в теплом ноябрьском тумане,
В голубом молоке исчезал самолет.
Уносивший меня в неизвестную Францию,
А она призывала меня голосами любимых поэтов.
Ты в ту ночь расщедрилась на наставленья.
Все слова негритянской семейственной нежности
Закачались, как пестрые маки.
Все рассказы твои о замученных неграх
Завели свою грустную горькую музыку:
— Берегись вероломной зимы.
Твои легкие могут не выдержать стужи.
Будь веселым, приветливым парнем,
Берегись тротуаров с девицами и со шпиками.
Берегись их машин на весеннем асфальте.
Их глубоких обманчивых рек.
Берегись, если братом тебя назовут,
И поделятся хлебом с тобой и вином,
И усядутся рядом с тобою на землю, и юный твой разуи
Усыпят в опьяняющем вихре.
Береги свою черную кожу от красных ранений,
Береги лепестки твоей плоти цветущей,
Берегись каждой лужи, расплеснутой в полдень,
Чтоб никто не осмелился лунных следов твоей крови стирать,
Не заставил тебя поскользнуться.
Так, одетый в сверкающий возраст народа,

Безоглядно отдайся всем ярким надеждам
И вернись, озаренный любым человеческим рукопожатьем,
И любую прочитанной книгой,
И любым из кусков поделенного хлеба,
И любую из женщин, с которой окажешься дружен,
И любую однажды тобою распаханной новью,
Ради золота завтрашней жатвы людской.

К Гаити

Перевод Л. Лозинской

Дождь родины, сильнее, сильнее стучи
в пылающее сердце,
залей струей прохладной
незатухающий огонь воспоминаний!

ГАИТИ...

Вот уж сотни лет
я пишу на песке твое имя.
И море каждый день его смывает...
И горе каждый день его смывает...
И утром снова я его пишу
на тысячелетнем песке моего терпенья.

ГАИТИ...

Проходят годы с их великим молчаньем моря.

Есть еще мужество в крови.
Но от случайности любой зависит тело,
и разум мой не вечен.

ГАИТИ...

Мы смотрим друг на друга
сквозь моря бесконечное стекло,
и плачет в моих глазах одно желанье:
пусть твой дождь прольется
над моей неутолимой жаждой, над моей неутолимою тоской!

АНТОНИ ФЕЛПС[121]

Перевод М. Ваксмахера

Дерево

Повинуясь шепоту веток,
ветер губы свои разомкнул,
чтобы в зеленой тени
разомлевшему лету поведать
тайны стиха и науку соцветий.

* * *

Ни на что не похожее дерево,
угловатое,
высится

посреди одинокого дня,
как упрек.

Одинокое дерево
с лохматой листвой —
как упрек небесам.

* * *

Отражение дерева
в раме воды.

Отражение дерева
на холсте синевы.

Оскорбленное дерево
в раме гулкового ветра
кровью сочится
и думает о семенах.

* * *

Он во мне, этот образ
одинокого дерева,
протянутого, словно рука,
к ловушке лазури,
к равнодушию небосвода,
и голос его во мне —
призыв одинокого дерева,
крик, не знающий эха,
хватаящий за душу голос
дерева —
и цветы
на его ветвях.

ГВАТЕМАЛА

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ АСТУРИАС[122]

Сонет влюбленной любви

Перевод Риммы Казаковой

Бесчисленные мелочи ценя,
то, без чего мы все так мало значим,
любовь, помилуй, ослепи меня,
пойми, мне больше незачем быть зрячим.

Слепому не нужны уже бои
за счастье, что отвергнуто. Доколе
терпеть, что не спешат черты мои
стать пустотой — из очертаний боли?

Ведь все равно замкнулся жизни круг
тех, кто твоей немилостью отмечен.
И руки не нужны без чьих-то рук,

и не к чему прислушиваться чутко,
и ничему глазам ответить нечем,

и без любви мертво любое чувство.

Сонет опечаленной любви

Перевод Риммы Казаковой

Зачем искать тебя в тебе, когда —

во мне ты от начала и вовек.

Едва надламываю стебли век —

мы вместе, и душа собой горда.

Ты, что во мне, я, кроме немоты,

от подлинной ничем не отличу.

Тогда за что сражаться я хочу?

О чем вздыхаю, коль со мною ты?

Взлетает цапля над простором вод,

где отраженья-корня больше нет.

Вода теперь сама — как небосвод.

Она глядит смятенно птице вслед.

Вот так и я, пока ты вправду рядом,

неверящим с тобой встречаюсь взглядом.

Сын твой, индеец...

Перевод Риммы Казаковой

Из прозрачных глубин

ты выходишь к солнцу, человек,

жажда, дыханье,

безмолвие статуи.

Твой невесомый лик пробуждает

все вокруг.

Бегут молодые твои облака.

Мимо тебя

непрерывно текут века,

недоступно сливаясь

с одинокой далекостью неба.

Кто твой сон раздробил?

Ты проснулся

уже в движение, и с этих пор

из потока, впадающего в водоем,

ты выходишь — задумчивый и босой.

Ты идешь не спеша

певучим простором

своей флейты, давая время

и влагу деснам

борозд, чтобы сберечь

зеленые зубы

посевов. Музыка мотыги

шагает рядом

то впадинам эха и прялок.

Тот, кто живет, как ты,
умирает смертью растений
и оставляет землю, сдобренную мечтой.
За тобой гонится марево моря,
но не догонит. О соленом море
нет ничего в твоей истории.
Только о пресных морях.

Спрессованное одиночество твоего пекла
заставило меня задуматься о тебе.
Стал ли ты статуей моего ожидания?
Кто придет завтра?
Позволь мне спросить об этом: о твоём сыне,
изменчивом, как музыка реки,
влажном, как ложе озера,
несущем улыбку и бесконечность.
О твоём сыне, индеец!

Индийская мудрость

Перевод Риммы Казаковой

Тебя нашли позади твоей тени.
Закат за твоей спиной —
вот причина твоего поражения.
Если солнце — в твоей груди,
если ноги и голову оно золотит,
ты неподвластен ни людям,

ни богам, ни стихии.

А поверженный, ты видишь, не глядя,
слышишь, не слушая, чувствуешь, не ощущая,
разговариваешь безмолвно,
осужденный на молчание,
кровь твоих ран — твой вопль.

Какие травы укрыли
твое дыханье тинахи, наполненной водой?
Ты кладешь свое утро в золу
и ворошишь его среди перьев
окоченевших птиц, что поют
в ожидании твоего смеха. Не гримасы. Смеха.
Ох! Того невозвратного белозубого смеха.

Солнце опять войдет в твое горло,
в твое сердце, в твое лицо,
прежде чем нависнет ночная мгла
над твоим народом,
и такими человеческими будут крик, прыжок,
сон, любовь и пища.

Сегодня есть ты, а завтра
тебя сменит такой же, как ты.
Ни торопливости, ни нетерпенья.

Неиссякаем род людской.

Вот тут была долина, а сегодня — гора.

Там был холм, а нынче — ущелье.

Окаменевшее море стало хребтом,

а застывшая молния — озером.

Пережить все перемены — вот твое назначенье.

Ни торопливости, ни нетерпенья. Неиссякаем род людской.

Живой Неруда

Перевод М. Ваксмахера

Дележ добычи в Гватемале.

Предательство бананового войска.

К твоей, поэт, груди своим усталым лбом

прижался мой народ,

когда во рту его иссяк

прохладный привкус неба,

когда соленый ливень

его лицо омыл.

Шел пятьдесят четвертый год

столетья нашего,

и ты, поэт, безмерно чуткий

к страданиям человеческим,
постиг в то лето душу
измученной тропической страны,
залитой кровью
рабочих.

Сегодня доблесть Чили
затоптана солдатским сапогом.
Погромы, казни.
И сердца благородного
биенье.
Да, сердце бьется — значит, жив Альенде.
Оно стучит — я, значат, жав Неруда!

Мы не отступим.
Ваш пример
идет от сердца к сердцу
дорогою не траура, а молний.

Неруда будет петь всегда,
его стихам рождаться бесконечно,
взвиваться ввысь,
как чайкам в клочьях пены.

Кто утверждать посмеет, что ты умер?
Я говорю,

я снова повторяю,
что ты ЖИВОЙ.

Твой голос отвечает
з?ву Чили.

Октябрь 1973

СЕСАР БРАНЬЯС[123]

Пустая земля
Перевод Б. Слуцкого

Ангелы, скажите мне, ангелы,
сгнули вы куда?
Не встречаются ангелы
на земле никогда.

Матросы, вы, матросы,
в чьих глазах отразилась
голубизна морей!
Где же те матросы,
что не вернулись с морей?

Раскройте солдатскую тайну!

Куда солдаты ушли?
Неужто кончились войны?
Ведь мира нет на земле!

Может быть, есть мечтатели
с челом, озаренным луною,
с жасмином, растерзанным в сердце?

Может быть, есть влюбленные,
а может быть, у влюбленных
губы — кровавая рана
и на снежном ложе
или на огненном ложе
жертвы они приносят
любви?

Может быть, есть святые,
сердце в руках несущие,
жгущие себя факелами
безумцы, представляющие
на земле мир иной.

Разве земля не пустая?
Разве есть надежда!
Где они, дни золотые?
Где он, мир иной?

Земля вертится, вертится
у ней, пространства пленницы,
ни радости, ни ясности,
земля вертится, вертится,
она пустая — скорлупка,
и что ей мир иной?

ЛУИС КАРДОСА-И-АРАГОН[124]

Перевод М. Ваксмахера

Солнце, аквамарин и пальмы

Как мне назвать Гавану?

Смуглой, соленой, славной?

Ах, слова мои — только пена,

и уже не вмещаются краски

в плоды, и цветы, и женщин,

в землю, море и стены.

А гитара под пальцами негра

рассекает закатное небо —

и пейзаж истекает шелком,

солнцем, пальмами, аквамарином.

Из чистой платины утро

легко, как твое дыхание,
и вокруг разливается ясность,
безмятежная и бескрайняя,
а золотое солнце,
и небосвод высокий,
и город, и твой профиль
врываються в мои строки,
и глаза мои синими стали
от этого неба и моря.

Жила Клеопатра кубинская,
Аврора в мантилье синей,
Сипанго великой нежности,
золотая жаркая женщина
из пальмовой древесины...
И сквозь оранжевый вечер,
лиловый, лимонный вечер
улицами Гаваны, —
словно в сердце ужаленное,
бродит мое желание.

Не в цветах возродились — в пальмах
минувших времен плясуньи,
канувшие в забвенье...
Плясали они так лихо,
что юбки взлетали к небу,
обнажая стройные ноги.
...От красного пламени румбы,

от солнца я винограда
даже глубокой ночью
упоенно поет цикада.

Пенье цикад я звезды
ясную ночь буравят,
в длинные волосы водорослей
одеты сирены,
а еще в лабиринт улыбок
и в ожерелье пены.
Морро глядится в волны,
где изумрудные ноги
сирен неистово рвутся
прочь от морского плена.

Гитара под пальцами негра
рассекает закатное небо,
и шелком пейзаж сочится,
солнцем, пальмами, аквамавром,
красным пламенем румбы...
Плясали они так лихо,
что юбки взлетали к небу,
обнажая стройные ноги.
Пенье цикад и звезды
царят над высокой ночью.

Радиограмма дону Луису де Гонгоре

Я, право, не знаю, каким мне вас вообразить, мой огромный и ясный друг!

Я вас вижу в саду, среди орхидей, жизнерадостным вижу Юпитером

с охапкою вечности в сильных руках,

лабиринтом вас вижу зеркальным, населенным сиренами,

большой вижу раковиной морской,

великаном, по-детски робким,

гильотиной, срезающей розы,

калейдоскопом безмерной нежности...

Нет, право, не знаю, каким мне вас вообразить.

Чтобы вас лучше увидеть, я закоптил

стекла своих очков.

Звездный ваш стих, исполненный меда и хмеля,

меня ослепляет. Сам Аладдин растерялся бы

в катаклизме ваших чудес,

ибо вы — древнейший пример движения вечного, ибо вы —

современный самый поэт.

Ваши стихи понятны, как рыбы в стеклянном аквариуме.

Все в вас — бескрайнее, океанское,

о невиданный спрут с нежнейшими щупальцами, с крыльями ангела!

Раскрываю я книгу — и боюсь, что стихи ваши

в небо взлетят.

О вашей жизни, простой и проклятой,

Малларме написал пером из крыла жар-птицы.

Шлюзы неба вы отворили —

и оно затопило нас ласковым плачем,

потому что поэзия ваша — бесконечная сфера,

и центр ее — всюду,

как Паскаль говорил о пространствах!

Млечный Путь вашей песни — это грядущее чудо,
это солнце для каждой зари.
Время не существует для вас.
Ваши творения столь велики,
что никогда им не стать до конца актуальными,
и они через годы скользят, точно рыбы.
Вы и в сто лет по-прежнему молоды,
молоды в каждом столетии.
А теперь я хочу вам послать свои книги
и на этом закончить свое затянувшееся
объяснение в любви —
завершать чересчур многословную оду,
что отныне для снов моих будет приманкой,
точно наживка для рыб.
Ах, как прекрасна она, ваша муза,
как прекрасна в своем косоглазии!
Ваши руки, ваш рот и глаза были созданы для жизни иной,
для иных континентов,
вы — Атлантида, Сипанго поэзии...
Так скажите же мне, своему смиренному брату,
для которого вы — неизменно огромный и нежный,
как кормилица для ребенка, —
скажите,
если мечта — это жизнь в измерениях Гонгоры,
то какой же была она, ваша мечта?

ОТТО РЕНЕ КАСТИЛЬО[125]

Будущее

Перевод М. Симаева

Дитя маиса,

дитя кофе,

в тебя мы верим.

В красное имя твое,

в твой завтрашний день.

Ты будешь счастлив.

Ты будешь свободен.

Дитя маиса,

дитя кофе.

Потомок древнего нашего

праотца,

общей праматери нашей.

Мы ждем тебя

в окружении ненависти.

Мы не спим — ожидаем!

Потому что близится

день нашей радости!

Имя твое священо,

потому что священен народ.

Потому что горек твой хлеб — священо!

Потому что хмуро утро твое священно!

Дитя маиса,
дитя кофе,
ты дашь нам землю,
чтобы на ней мы посеяли нежность!

Тогда возвратятся ласточки на маисовые поля,
как птицы, лишённые крыльев,
под ударами ветра.

В тебе,
только в тебе
скрывается ваша вера,
потому что ты — луч, ты — путь,
ты — и сын и отец наш, ты — песня,
ты — земля, которая ждёт наших рук
и обретёт их в грядущем.

ГОНДУРАС

РАФАЭЛЬ ЭЛИОДОРО ВАЛЬЕ[126]

Лимоны

Перевод Б. Дубинина

Дни золотого чекана.

На черепице багряной —
солнечный пестрый узор;
в переплетении веток —
зори ярчайших расцветок,
полон цветами весь двор.

С ясною их белизною
веет мне в сердце отрада,
помнится время иное —
и шелестит надо мною
пена январского сада.

Только взглядеться в соцветья —
нежно, как после разлуки, —
и на далеком рассвете
снова потрянуть эти ветви
тянетесь, детские руки!

Снова стою под лимонной
вздрагивающею кроной,
и замираю, и снова
чую на зорьке погожей
этот скользящий по коже

ласковый дождь лепестковый.

Как белизною, бывало,
землю кругом укрывало!
Как мне хотелось при этом,
взявши корзины в сарае,
все их наполнить до края
всюду рассыпанным цветом!

Ливень ли сек по забору —
мне и в ненастную пору
чудилось, как в лихорадке:
это поэт из-за тучи
белые горсти созвучий
сыплет на тропы и грядки...

Кипень лимонного сада —
в памяти, как за оградой,
не увядаешь с летами,
так же приветно и щедро
сердца покойные недра
переполняя цветами.

Да не оставишь меня
и до последнего дня
вспоминаньем, что свято, —

и, возвратившийся в прах,
я потону в лепестках,
так шелестевших когда-то...

КЛАУДИА БАРРЕРА[127]

Все пройдет

Перевод Риммы Казаковой

Все пройдет... Не будет ни следа

на песке, холодном и остылом.

Все исчезнет: светлая звезда,

золотом прошитая руда,

серый сон и слезы в детстве милом.

Все пройдет, не будет ни следа

на песке, текучем, как года.

Все пройдет. Пусть сладко дремлет сон

на щеке моей, в одно мгновенье

с утренней зарей уйдет и он.

Все исчезнет: пробужденья стон

и ночных фантазий сокровенье.

Все уйдет, и все-таки права
эта непонятная тревога...
Тайна песни, чуткие слова,
ритмы, различимые едва,
жажда счастья — к вечности дорога.

Все исчезнет. Но уйдет и боль
жизни одинокой, несогретой,
потому что люди мы с тобой,
и тоска по вечности, любовь,
не проходит на планете этой.

ПОМПЕЙО ДЕЛЬ ВАЛЬЕ[128]

Освобожденная песня

Перевод П. Грушко

Я мечтаю о песне со звучаньем набата,
о песне свободной,
как гражданская совесть солдата.
Эта песня должна быть народной,
ни на что не похожей,
чтобы ее услышал народ —
он замечательно слышит
и верно поет.

О песне мечтаю, которую защитят
тридцать тысяч рабочих,
огонь и бетон их прочных
умелых рук,
чтобы повсюду вокруг
звучала она непрестанно
на устах у народов различных стран,
как буря Тихого океана,
как взбунтовавшийся Атлантический океан.

Мечтаю о лучшей из песен,
водруженной в гуще событий,
как знамя, чей цвет пунцов
от крови кровопролитий,
от красной крови борцов.
Я хочу, чтоб слова этой песни звучали
над просторами улиц и площадей,
где бессмысленно умирают миллионы людей
в рабском одиночестве и печали.

О песне мечтаю, яркой, как солнечный день,
слова которой рабов всколыхнут
и укажут, откуда, падает тень
и в чьих
руках
кнут.

Чтобы люди закрыли дороги истерике,

хлынувшей с севера мутной волной,
чтоб закрыли живую стеной
будущее индианки Америки,
которая на карте лежит в океане
подобно загнанной лани.

Мечтаю о песне сильной, как шквал,
если хотите — о песне-тайфуне,
который, разбившись у мола,
вносит на улицы города краснопенный вал
и обрушивается, как молот,
на бронированные авто, где, забившись в угол,
дрожат, пистолеты сжимая,
сеньора с лицами пугал.

Мечтаю о песне, сколоченной грубо,
о песне-стреле, выкованной из металла,
о песне, способной увлечь всякого,
о песне, которая, как народ, многолика,
о песне-птице над морем бунтующих масс,
чтоб ее повторяла Куба
и слушала Гватемала,
чтоб узнали ее в Никарагуа,
чтобы пела ее Коста-Рика,
а подпевал Гондурас.

О смелой песне мечтаю,
о песне, которая пуль не боится,
о песне, похожей на море,
которая только мужает в горе
и не страшится полиции...

Вот о какой я песне мечтаю,
чтоб вложить ее в уста поколений,
вставших с коленей!
Чтобы светом победы повсюду окрест
был озарен небосклон,
чтобы под натиском
социалистических наших колонн
рухнул призрачный крест
и народы встали стеной,
молот и серп в небеса вздымая,
во славу жизни земной
вечный мир на земле утверждая!

Реке Днепру

Перевод М. Самаева

Бушуют реки, катятся в ночи
с высоких гор, над дымом, над лесами
моей страны обобранной, и в слезы,
в таинственные слезы
преображаются в долинах.
Ты, Днепр широкий,
ты друг простых людей:
ребенка, женщины и старика.
Ты, Днепр, любовью
наполнил грудь мою,

ты подарил мне свет
своих веселых, золотистых лун.
Ты, Днепр могучий,
на юношу прозрачного похож
в одежде волн и голубей.
Просторный Днепр,
ты полевым цветам поешь
бесчисленные песни Украины,
Урала,
Киргизии,
Кавказа.
Поешь ты
цветам
твоих народов радостные песни.
Ты добрый друг и брат
любого, кто зовется
советским человеком.
Ты песнь своей земли
поешь цветам,
земли, где все цветы, все излучает свет:
пшеница,
воздух,
пламя,
и железо,
и даже время,
и будущее даже,
просторный Днепр.

МАНУЭЛЬ ДЕЛЬ КАБРАЛЬ[129]

Перевод С. Гончаренко

Ослику

На пригорок трусцой забираясь лениво,
утро долгим «иа-а» наполняя до края,
канув мордой на дно лугового разлива,
ты невинен, как эта трава росяная.

Даже если греховною брагой порыва,
осквернив целомудрие сельского рая,
кровь взиграет в тебе, то струя ключевая
вмиг искупит позор твой — такой немудреный,
ах, любимец ты наш: мой и дона Рамона[130].

Мой же грех — человеческий — смывают иначе:
он смертельною платою будет оплачен —
той, что грудь рассечет, как отточенный лемех,
и под сердце уронит свинцовое семя.

Посмотри же, мохнатый, оттуда, со склона,
как мужчины сойдутся в неистовом споре,
в поединок вмещая единое горе,
ах, любимец ты наш — мой и дона Рамона,
искупляющий в речке свой грех немудреный...

Как хорош ты, невинно жующий цветочек,
словно проголодавшийся вдруг ангелочек!

Поэзия

В стакане так светла вода:

прозрачный сплав стекла и льда...

Как будто это пустота

в сосуд звенящий налита.

Как будто ничего в нем нет...

Лишь бьет в глаза слепящий свет!

Маленькая аллегория

Соразмерна величию муравья и рассвета,

ты пространство ли? Времени ли средоточье?

Но молчанье твое, как гудящее лето,

глину плоти моей наполняет, пророча.

Эти очи твои, голубые поляны,

как стихи, добираются до сердцевины

и неск?занным словом во мне несказ?нно

окрыляют порыв оживающей глины.

Старые дырявые башмаки

По городам и весям с протянутой рукою...

Почтеннейшая обувь — худые башмаки...

Они вросли в мозоли, они срослись судьбою,
наверно, с каждым нервом твоей глухой тоски.

Дырявые обутки не просто просят каши —
сквозь смертные прорехи сочится жизнь в песок...

Два башмака — две раны. И каждый взгляд, и каждый
твой стон исполнен болью мучительных дорог.

По городам и весям с протянутой рукою...

Монетки, словно слезы, блестящие в глазах...

(Америка не знает, что новый день зарею
восходит из прорехи в дырявых башмаках!)

А знаете...

А знаете, что это значит —

быть господином в Америке?

Не поверите!

Дорого стоит построить дом, и все же

порядок в нем навести при том —

много дороже.

Господин толстяк, владелец собственного жира, —

не это ли самая взысканная роскошь? —

зачем ты отправился в музей, скажи-ка?

Чем глазеть на индейца из воска,

взгляни на живого,

который весь век проработал,
не окупив ни капли пролитого пота!

Взгляни на него: он словно поле живое,
возделанное солнцем — древней сохою,
а руки его — как две ветви, с которых
вкушают плоды благороднейшие сеньоры...
Еще бы! Какое древо не будет плодоносить,
если слезами и потом его оросить?

Господин,
у которого лоснятся ботинки и щеки!
Господин преуспевающий щеголь!
Вслушайся в ропот земли этой горькой:
он одинаков — что здесь, что в Нью-Йорке,
ибо везде животы и уста, сведенные голодом,
разговаривают одинаковым голосом.

Господин с воротничком накрахмаленным!
В ярком галстукe,
в сюртуке приталенном!
Знай, что ты со всею твоей гигиеною,
с безупречным пробором
и с тросточкой непременною,
будь ты тысячу раз белоснежен и нежен, —
в этом деле нечистом ты тоже замешан!

Посмотри-ка на негра

и прикинь на досуге: к чему, почему бы
так слепяще сверкают во рту его белые зубы?

Ведь их блеск

королеве бы сделал, наверное, честь!

Ах, не знаешь?

У негра такие чистые зубы,
потому что негру нечего есть!

В Латинской Америке

не дорого стоит еда.

Да.

Но ты запомнил, видно, —

как обидно! —

что у нас далеко не каждый

имеет сюртук отглаженный

и носит визитную карточку

в пухленьком портмоне.

Да что там еда! Даже воду

и ту по капле собирает беднота,

как будто эта самая вода

не пот, который выжимают из народа...

Взгляни на тех, кто приехал сюда не в уюте,

не в первой классной каюте,

а приплыл к нам на остров в трюме,

зарывшись в вонючую тару,

прибыл подобно скоту и товару,
чтобы п?том своим поливать поля
(не в этой ли секрет их плодородия?),
не смея сказать: «Вот эта земля
и есть моя родина».

Сеньор в безукоризненной сорочке,
обладатель немислимо белых рук!
Оставь свою трость и машину... Впрочем,
я не призываю тебя скинуть сюртук:
одежда — мелочи; рядись во что хочешь...
Но прошу: приложи к земле этой ухо.
Может статься, и твоего достигнет слуха
этот странный звук...
Слышишь? Вот так из столетья в столетье
стонет наша земля — словно тело под плетью.

Словом, нашему дому, нашей Америке
настоятельно необходимы
метлы и веники,
чтобы именно те,
кто лишен даже собственного имени,
нашу землю печальную начисто вымели,
потому как плесенью затхлых столетий
все пропахло насквозь
в этом Новом Свете,
потонувшем во мгле...
Континент наш поднялся, как колос,

но под тяжестью собственных зерен
склонился к земле.

И когда мы мечтаем,
не столь тяжело нам мечтания бремя,
сколько трудно мечтою своей
поделиться со всеми:
как одним колоском
накормить миллионное племя?

И, однако,
ждать нельзя. Надо действовать.
Это необходимо.
Посмотрите на карту! Воистину необозримы
наши земли: нам полполушария вверено...
В этот век скоростей
что пешком, что верхом —
все равно получается медленно.
Пусть же время вскипит?
Пусть докажет оно, что ожило!
Пусть грядущее кровью струится у родины в жилах!

А пока что
наша карта захватана лапами жирными.
А пока что
эти лапы играют не в карты,
а — нашими жизнями.

А пока что,
изнывая от жажды,
рубят негры тростник до заката с рассвета.
И слезой серебрится медовая капля на остром
мачете.

А пока что...

Вот такая пока что история.
Все у нашей Америки есть.
Нет лишь голоса, хлеба
да собственной территории.

Негру,
у которого ничегошеньки нет

Я видел тебя в золотом руднике,
тебя, безземельный негр.

И в коях алмазных, во тьме-глубине —
с киркой и лопатой, негр.

Как плоть свою, что чернее недр,
ты уголь рубил, негр!

Ты эту землю кормил по весне
зерном, безземельный негр!

Я видел, как землю поил твой пот,
твой пот, безземельный негр.

Твой горький пот из породы вод,
чище которых нет.

Твой древний пот, он слез солоней,
он льется рекой, негр!
На тех, кто всю землю скупил кругом,
ни разу ногой не ступив в чернозем,
на них ты работаешь, негр!

Знать, только земля в могиле твоей
станет твоею, негр!

АНТОНИО ФЕРНАНДЕС СПЕНСЕР[131]

Перевод А. Косс

На земле

Идем по земле, мечтая,
чтоб светом оделась твердь.
Мы — семя; нас разметала
и гонит по ветру смерть.

Касаемся уст устами,
пьем в поцелуях рассвет,
но сколько б ни рассветало,
света в душе у нас нет.

Мы — память да плоть простая,
и тщетно солнцу гореть:
в груди моей вырастая,
велит оно умереть.

Умрут уста твои, знаю,
и голос умрет, и песнь.
Мы — темная персть земная:
свет гаснет, дробясь о персть.

Мальчик, который пел

Проходит полем мальчик. Безлюдно. Вечереет.
Пичуги над рекою уже заводят песни.
Проходит полем мальчик, и синяя рубашка

мелькает в тихих травах, а сверху смотрят звезды.

И он — не просто мальчик, такой же, как другие:

в глазах его сияют вечерние светила,

в душе его, как в русле, текут речные воды.

Он — мальчик. И похожа на плод поспевший песня,

и Время длится в песне. А вечер полон света,

закатного свеченья, свеченья апельсинов;

колокола запели, и загрустило Время.

Поет и мальчик. Солнце зажглось под синим ситцем.

Я — как трава, что Время взрастило и спалило.

Есть у меня початки созревшего маиса,

есть дом в горах высоких, и есть простор зеленый,

где дробно плещут реки и где пасутся кони,

багряные от солнца, с глазами, как озера.

Люблю я нашу реку, люблю наш дом спокойный:

в его тяжелых бревнах — душа живая леса.

Еще люблю я плуг наш — за щедрость урожая.

В саду целую щеки румяных круглых яблок,

а на полях певучих шальной целую колос,

и радость полыхает во мне, как пламя в кузне,

для родника придумал я имя, как бубенчик.

Как только день наступит, его вином крещу я,
рассвет со мною славят резвящиеся кони;
для утра я придумал название — колокольчик:
скажу — и чистым светом заря оденет горы.

Я счастлив, как колодец, как воды в быстрой речке,
бегущие по гальке, серебряной и чистой.
Я счастлив, словно ветер, что гриву жеребенка
развеял рыжим стягом во Времени летящем.

Я — мальчик, Время длится во мне, вокруг. Об этом
ты знаешь, гладь морская, ты знаешь, прах сыпучий.
Мне Время рвет рубашку, шершавит поцелуи,
ты это знаешь, птица, и потому примолкла.

Моя простая радость — как плод, несомый ветром.
В себя я погружаюсь, как в глубину колодца.
Я — как земля: изранен и кровью истекаю.
Сегодня светом правды горит мой лоб открытый.

Поля мне плотью стали, дрожат в губах поющих,
что яблоками пахнут и горечью познания.
Сегодня мне сказала звезда в вечерней небе:

петух поет напрасно — ты не уйдешь от смерти.

Так мальчик пел, и поле его учило тайнам
и Времени, и жизни, томя его тоской,
глубокой, словно реки, что умирают ночью,
простой, как прах истлевший, как жалкий прах людской.

ПЕДРО МИР[132]

«Отныне...»

Перевод С. Гончаренко

Отныне

Я

перестало быть главным словом,
словом, с которого начинается мир.

Отныне

мир начинается со слова

Мы.

Мы — железнодорожники.

Мы — студенты.

Мы — шахтеры.

Мы — крестьяне.

Мы — бедняки планеты.

Мы — населенье земли,
герои черной работы,
с нашей любовью и гневом,
с нашей верой в надежду.

Мы — белокожие,
мы — желтолицые,
негры, индейцы,
черные, черноволосые,
красные, цвета оливы,
рыжие и альбиносы.

Нас побратала работа,
нужда и годы молчанья.

А еще — этот отчаянный крик
вопиющего в пустыне хозяина,
который орет в ночи,
щелкая отменным кнутом,
суля нам жалкие деньги,
уповая на свой золоченый нож
и свою железную душу.

Он брызжет слюной,
он захлебывается словом

Я,
но звучное эхо в ответ

доносит мощное

Мы!

И катится над портовыми кранами

Мы!

Над фабричными трубами

Мы!

Над цветами, мольбертами

Мы!

И звучит на высоких дорогах орбит

Мы!

И в мраморных залах

Мы!

И в темных застенках

Мы!

Диего Ривера. «Древняя и новая медицина».

Фрагмент росписи в Госпитале де ля Раса в Мехико.

1952–1953 гг.

КОЛУМБИЯ

ХОСЕ АСУНСЬОН СИЛЬВА[133]

Ноктюрн

Перевод М. Квятковской

Давней ночью,

ночью, полной ароматов, полной шепота и плеска птичьих крыльев;

давней ночью,

ночью свежей, ночью брачной, освещенной колдовскими светляками,

ты, прильнув ко мне всем телом, и бледна, и молчалива,

словно чувствуя заранее наши будущие беды,

в неосознанной тревоге, омрачившей сердца тайные глубины,
через сонную равнину, по тропе в цветах и травах,
шла со мною;
и луна светлей опала
в небесах темно-лиловых, бесконечных и глубоких, свет молочный разливала;
наши тени —
легким, стройным силуэтом, —
наши тени,
обрисованные белым лунным светом,
на равнине беспредельной
сочетались,
и, сливаясь воедино,
и, сливаясь воедино,
и, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной,
и, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной,
и, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной...

* * *

Этой ночью
я один, и мое сердце
переполнено непоправимым горем, обездолено твоею смертью.
Многое меня с тобою разделило — расстояние, время и могила.
В бесконечность,
в черный мрак извечный
канули бесследно наши речи.
Онемевший, одинокий
снова проходил я той дорогой.
И собаки выли на луну,
на бескровную луну,
и гремели лягушачьи хоры...

И в меня ворвался холод. То был холод,
овладевший навсегда твоим альковым,
оковавший твои руки, твои щеки, твои очи,
белоснежным скрытые покровом
погребальным.

То был холод замогильный, стужа смерти,
лед небытия.

Тень моя,
обведенная печальным лунным светом,
одинокко,
одинокко,
одинокко протекала по пустыне.

Тень твоя
легким, стройным силуэтом,
приближаясь,
словно той далекой ночью вешней, ныне мертвой, вечно незабвенной,
ночью, полной ароматов, полной шепота и плеска птичьих крыльев,
с нею рядом полетела,
с нею рядом полетела,
с нею рядом полетела...

Неразлучные обнявшиеся тени!

Тень души, спешащей слиться с тенью тела!

Тени скорбные, нашедшие друг друга
в эту ночь печали без предела!

ГИЛЬЕРМО ВАЛЕНСИЯ[134]

Перевод С. Гончаренко

Верблюды[135]

(Фрагмент)

Раздуты жадно ноздри... Пружинит сонно шея.
Мерцает зелень взгляда, горчащего полынью...
Под рыжим шелком шерсти на солнцепеке млея,
верблюды мерят шагом Нубийскую пустыню.

Внезапно, вскинув морду и поведя глазами,
размеренную поступь прервал двугорбый лоцман.
Текло в плавильне неба крутым расплавом пламя,
но он учуял струи подземного колодца.

Когда ж в ковры кочевий легла дремота мрака
и закатилось солнце за выжженные дали,
под ликом смуглой Девы, под чернью зодиака
они пошли, ступая, как призраки печали.

О побратимы скорби! Покачивались мерно
их выи, словно пальмы под ветром... и казалось,
что их угрюмый облик сплели во мгле химеры,
и сфинкс вдохнул им в очи предвечную усталость.

Пригубьте взор их горький, флейтисты Византии,
шлифующие дактиль под перезвоны в звеньях

цепей... Лишь он расскажет о муках летаргии
вселенной, изнемогшей без жаркой крови в венах!

Новый год

Сегодня — белый вечер. Сегодня — белый ветер
с морозным воркованьем стеклянных голубей.

И смятена холодной метели добродетель
девичьим смехом. Эхом, звенящим все слышней.

Сегодня белый вечер. Сегодня нет на свете,
на целом белом свете печалей и скорбей.
Пусть мирозданье в душу звездой Полярной светит,
но все равно созвездье девичьих глаз светлей.

Сегодня белый вечер. И в полночь каравеллы
из лепестков лимона поднимут парус белый,
озвучив снежной песней дремотный сонм светил!

Сложив покорно крылья, готовые разбиться,
Летят из поднебесья светящиеся птицы,
и хлещет белый ливень пургою снежных крыл.

Существование из существительных

Крестины. Школа. Университет. Диплом.

Нужда. Долги. И суд. Скандал — залог успеха.

Кандидатура. Пост. Существенная веха:

вояжи. Лондон. Рим. Париж. И снова дом.

Невеста. Обручение. Роды. Дочь. Потом —

пеленки. Школа. Свет. Уже жених. Потеха!

Медовый месяц. Ревность. Сцены. Не до смеха.

Внук. Школа. Университет. Опять диплом.

Вдруг — старость. Немоци. Бессонница. Облатки.

Страх. Головокружение. Слепота. Припадки.

И — одиночество. И — ни души окрест.

Инфаркт. Могила. Плач. Поминки. Даже пресса.

Улыбки. Смех. Прогулка до собора. Месса.

Могильная плита. Крапива. Точка. Крест.

ПОРФИРИО БАРБА ХАКОБ[136]

Перевод Т. Глушковой

Человек

Вы, в чьем сердце не было скорби по господе богу,
а на руках — крови убийства,
те, чей разум не потрясен был Вселенной,
кто не слышит, как червь трусости
неустанно подтачивает нашу душу,
кто не знавал ни высочайшей хвалы,
ни неизбывного позора;

вы, кто был счастлив в самую меру —
без ослепительных озарений, негаданных, ежечасно возможных,
кто не задумывался о призрачности Пространства и Времени
и полагает, что жизнь ограничена очевидным:
закон, брак, любовь и ребенок;
кто колосья крадет у разгневанной пашни
и невозмутимо разламывает хлеб вымытыми руками;

кто произносит: «светает», —
не замирая перед волшебным ирисом зари;
кто не сподобился стать просто-напросто нищим
или добыть хлеб и кров своими трудами
среди разоренья, трущоб, нищеты;
кто в бедности не умел отсчитывать дни,
не рассуждая, а лишь терпеливо страдая;

те, кто не бился от ужаса
в страшных тисках, железных объятиях

страсти,
те, чья душа не сгорала в темном и чадной огне, —
сумрачная, немая,
сосуд позора, светильник безмерной жертвенности, —
те не постигли страдальческой сути
этого имени: ЧЕЛОВЕК.

Сердце

О, цветущее сердце мое, погоди!
Красный маяк, зажженный в моей груди,
пурпурный сгусток, темная роза страсти,
ты, мое сердце, станешь когда-нибудь старым.
Твой ритм волны,
дуновения ветра в апрельских садах,
твой аромат весны,
детский порыв, печали любви будут развеяны в прах
времени мягкой рукой —
не вечно тебе колотиться,
и бросят тебя в тюремный покой,
опустелый ларец, мертвая птица.
Песни твоей трепетанье,
жадное пламя, что плоть мою яростно жжет,
гнева и слез накипаенье —
все, растаяв, уйдет.
Ты, цветущее сердце мое, погоди, —
красный маяк, зажженный в моей груди,
пурпурный сгусток, темная роза страсти...

О, мое сердце!..

О, мое сердце!..

Песнь глубинной жизни

Человек — это нечто тщетное,
изменчивое и колеблющееся. Монтень

Дни бывают, когда так легки, так легки мы,
будто ветер, что плещет в зеленом древесном уборе,
будто нам в небесах улыбается ласково Слава, —
жизнь ясна и распахнута, словно лазурное море.

Дня бывают, когда так щедры, так щедры мы,
будто пашня в апреле, что дышит податливо страстью:
разум смело парит над безмерным простором вселенной,
а в душе — озаренье, и мудрость, и гордое счастье.

Дни бывают, когда мы столь глухи, столь глухи,
точно камня нутро, будто сами мы в камень одеты:
ночь в безмолвье пронесит над нами огни смоляные,
за Добро и за Зло почернелые сыплет монеты.

Дни бывают, когда мы бездумны, бездумны
(вод сапфирная синь! Детство в сумерках, синих и зыбких!):

и строка из стихов, и лесная летящая птица,
даже горесть — и та предстает нам достойной улыбки.

Дни бывают, когда в нас — желанье, желанье,
так что лучшая женщина вряд ли насытит нас может:
миг прошел, как, лаская ей грудь, мы ее обнимали,
но округлость плода — и мы снова в пылающей дрожи.

Дни бывают, когда так мрачны, так мрачны мы,
будто сосны в ночи, будто стоны лесов темнокрылых.
Изнывает душа — мировой ей не выплакать скорби,
сам господь в эту пору утешить нас был бы не в силах.

И бывает еще... день... единый... единый...
Якорь поднят! Заря красновато забрезжит...
О земля! Налетают гремучие ветры
в день, когда на земле нас никто нипочем не удержит!

ЛУИС КАРЛОС ЛОПЕС[137]

Перевод О. Савича

Моему родному городу

Печальный град, вчера — царица моря. Х.-М. де Эредиа

Ты был для предков — золотая манна
и все забыл, мой город грязно-белый.
Где времена креста, меча, обмана?
Когда погас светильник закоптелый?

Эпоха авантюрного романа
окончилась. На рейде каравеллы
не выплывут из зыбкого тумана,
и не в горшки льют масло маслоделы.

Во времена колониальной были
твои сыны едва ли походили
на воробьев, трещащих без запинки.

Сегодня в затхлости нечистоплотной
внушаешь ту же нежность безотчетно,
как стоптанные, старые ботинки.

Провинциальные девицы

Приди, Сусанна, я хочу твоей любовью насладиться... Легар

Провинциальные девицы,
не выйдя замуж, год за годом тонут

в романах-фельетонах,
следя за жизнью из окна, с балкона...

Провинциальные девицы
всегда с иголкой и наперстком рядом
ничем не заняты. Вот разве на ночь
пьют кофе с молоком и мармеладом.

Провинциальные девицы,
когда на час решатся дом покинуть,
уходят в церковь спозаранку
домашнею походкой, как гусыни.

Провинциальные девицы,
и перезревшие, и прочее такое,
поют с утра до ночи;
«Приди, Сусанна, и побудь со мною...»

О, бедные девицы!
Так бесполезны, бледнолицы,
так целомудренны, что даже дьявол шепчет,
скрестивши руки: «Бедные девицы!»

Ночь в населенном пункте

Село под тропиком, а час вечерний,
медлительный. Но — колокольный звон,
и вот проходят дамы от вечерни,
и дверь тоскливо издает свой стон.

Потом, как колотушкой, башмаками
стучит батрак. И пахнет как в саду
горячим шоколадом, пирожками,
сырами, коржиками на меду!

А там, где ночь от взглядов укрывает,
аккордеон заблеял, как баран:
очередную дуру подзывает
к стене конюшни местный донжуан.

Один аптекарь, мой сосед унылый,
бесстрастно бодрствуя, глядит в глазок,
чтоб дать кому-то с жестами сивиллы[138]
за два сентаво рвотный порошок.

Луна со своего большого ложа
обводит церковь выпуклым пером.
Опухшая луна на флюс похожа,
а церковь — словно соска с пузырьком.

На палубе баржи

Гляжу на суда, на море.

Летит вдали альбатрос.

А вечер в желтом уборе...

Смола ударяет в нос.

Луна с облаками в ссоре,

и ветер ее унес.

На суше порылся в соре

и лапу приподнял пес.

Все пахнет дегтем, брезентом.

Волна обдает и под тентом

милльонами мелких слез.

Закон атавизма, быть может, — но хочется сделать то же, что сделал только что пес.

В Гуамбаро

...Поздравляем новобрачных,

которые служат украшением

лучшего общества Гуамбаро... Из газет

Какая свадьба на селе, — смотрите!..

На жениха узду надеть пора, —
подвержен приступам словесной прыти,
он жаждет в ратуше болтать с утра.

Невеста не совсем урод; открытий
не сделает; немножечко стара;
зато умеет шить, стирать в корыте,
и как готовит, — что там повара!..

О ты, любовь с утиными крылами!
Тебя не тронет сильной страсти пламя,
ты прочно сохранишься, как в спирту,

не побывав в лирическом пространстве,
где чайки в поисках свободных странствий
в часы заката гибнут на лету!

Приходская скука

Что за жизнь! Фемистокл

В селе под жгучим солнцем — никого.
Все тяжким сном подкошено.

«Ну, что хорошего?»

В ответ зевок; «Да ничего...»

И даже ни на миг ни одного
миража! Стоит дешево
такая жизнь. Село как будто брошено
и выпущен весь воздух из него.

Ни подвига, ни даже преступления.
Нет никаких сенсаций и событий.
И ветра нет, и в небе нет ни тучки.

И только на секунду оживленье
на улице возникнет. Посмотрите:
бегут четыре кобеля за сучкой.

IM RASE[139]

Жизнь — это подвиг. Джон Сэй

Хоронят, бедняка в углу особом.
В законах естества,
что только пес трусит за гробом,
и равнодушны небо и листва.

Причина смерти? Дистрофия. Скажем
яснее: он на хлеб и сыр
глядел заочно, даже
не как факир.

Отвергнутый, как бесполезный довод,
он брошен в ящик, грязный и сырой,
из старых бочечных досок. Вот повод
пролить слезу и закусить икрой.

Летний вечер

Богач — это разбойник. Иоанн Златоуст

В тени застывшей, уютной,
вдали от дневных забот,
целительный отдых минутный
на сельской площади ждет.

Свой взор, тяжелый и мутный,
оставив в Требник, идет
села монарх абсолютный,
не глядя на глупый народ.

Он в рясе, как в пышной попоне;
на бедность родного края,
на горе ему наплевать.

А я стою на балконе
и чищу ружье, не зная,
в кого же я буду стрелять.

Тропический полдень

Воскресный день, полдневный жар. Кипенье

лучей до слез слепит.

От лени в утомленье

колодой полицейский в будке спит.

Совсем без вдохновенья

пес камни старой паперти кропит.

У жирных мух — желудка несваренье,

а хор цикад хрипит.

Пустыня, одиночество, кладбище...

Но в деревушке нищей

кончается неожиданно

воскресного бездействия пора;

истощно крикнул пьяный:

— В честь либеральной партии — ура!

«У этих мест...»

У этих мест

в начале утра злого

расстрелян он, как вор банальный.

А социальный

протест?

Никто ни слова

и не сказал.

А я — что мне за дело? —

все не берусь за дело,

все слышу залп

расстрела.

Погребение

Слушайте, что говорят, когда проезжает гроб. Кампоамор

Когда уйду из жизни жалкой,

немало дам вздохнет в тоске.

(С Инес встречался я за свалкой,

с Хуаною — на чердаке.)

Бормочет поп, уныл, как галка,

фарс на латинском языке;

в цилиндре кучер катафалка
мертвецки пьян на облучке...

Два-три венка, плохие речи,
а я беспомощен!.. «Что, печень?» —
персоны важные шепнут.

А Исабелла, Роса, Зоя
воскликнут: «Сердце золотое!» —
и про себя: «Какой был плут!»

ЛЕОН ДЕ ГРЕЙФФ[140]

Перевод С. Гончаренко

Сонет

Как? Трубка вкупе с бородой — и их союза
довольно, чтоб я слыл поэтом? Да, но я ж
отнюдь не потому свой байронский вояж
по департаменту (служебную обузу)

рифмую... Не нужны мне лавры толстопуза,
которому в башку втесалась эта блажь:
потеть, скрипя пером... И вот он входит в раж,

и з? косы дерет похищенную музу.

Вот взяты в оборот Бодлер, а с ним — Верлен;
злодей Артур Рембо, и чувственный Рубен;
отец Виктор Гюго — и тот в работу пущен...

Пусть сохнут пашни, исстрадавшись по зерну,
ржавеют поршни и в стране бюджет запущен...
Возвышенной зевать, уставясь на луну!

Рондо

Когда любовь ушла... Когда любовь ушла,
забудем про любовь, и только привкус грусти
с собою унесем. И лишь глаза опустим
над тем, что было — пламя, а стало вдруг — зола...

Когда любовь ушла... Когда любовь ушла...
Забудем про любовь, в только привкус грусти
с собою унесем в нирвану бытия,
где ты — уже не ты и я уже — не я...

Забудем про любовь, и лишь глаза опустим
над тем, что было — пламя, а стало вдруг — зола...

И тихо улыбнувшись полузабытой страсти,
полузабытой страсти, полусмешной напасти,

почувствуем, как снова она нас обожгла.

Песня

Повымерли давно сирены... Или
они и вовсе, может быть, не жили?

Их пение, звучащее из пены,
на песню трубадуры положили.

Вы не были сирены
или были?

То ветер ли трепещет над песками?
Волна ли это плещется о камень?
Мерещится мне плач
печали трубной...

Ах, трубадур, тебе ведь так нетрудно
заставить вещей силой сладкогласца
то в пение, то в пену окунаться
хоть дюжину сирен...
Или тринадцать.

Баллада о море, которого я не видел,
написанная строками разной длины

Да, я не видел моря.

Эти очи —

два марсовых, буравящих пространство,
два светляка, блуждающих в ночи
в излучинах космических пучин,
стальные очи викинга — в их взгляде
клубится ужас обморочной пади, —
мои глаза, питомцы вечных странствий
в пространстве звезд, в лазоревом просторе
не видели еще ни разу
моря.

Его лучистая, излу?чистая зыбь

мою мечту ни разу не качала.

Призывный плач сирен не слышал я...

Вся в ртутных высверках, морская чешуя

мои глаза

не жгла слепящим жалом.

Меня еще ни разу не глушили

набат штормов его и штилей тишина:

крутая циклопическая ярость,

а вслед за ней — безмолвная усталость,

когда внезапно, утомясь от бурь,

оно лощит серебряные блики,

кропя луной сапфирную лазурь...

Я знаю наизусть,

как пахнут волосы любимой... Знаю.

Я пил вздох медвяный аромат

девичьих локонов и лебединой шеи,

я столько раз вдыхал весенний сад

грудей, белее лепестков лил?и...

Я жег в курильницах таинственный сандал,

нирвану обещающий... Я часто

такими благовоньями дышал,

что и не снилось магам Зороастра[141]!

Но я не знаю запаха восхода,

набухшего соленой влагой йода.

Мои запекшиеся губы

не холодило терпкое вино

морской волны...

Мои запекшиеся губы,

мои безумные, бормочущие, жаждущие губы,

мои горячие тоской и гневом губы

не пенящейся брагою волны —

вином любимых губ опьянены.

Я побратался с облаками,

я им брат.

Брат облакам, поющим парусами
«Летучего голландца»... Чудакам,
гонимым зачарованно ветрами,
мятущимся, задумчивым умам,
плывущим в одиночестве над нами.

Я странник полночи,
я старый мореход,
бортом судьбы о рифы ночи тертый.
Угрюмые моря ее и фьорды
давно изведаль мой упрямый лот.
А вы, мои сомнамбулические сны!
Вы — корабли, разбитые о скалы,
запутанные карты и корсары...
Хмельная прихоть зреющей волны!

Мои глаза — скитальцы по вселенной,
извечные паломники ночей:
тишайших, бальзамических ночей,
трагических, тоскою рвущих вены...
На дне моих мифических очей —
осколки затонувших сновидений:
виденья
наслаждения и пени,
смертельной боли скрюченные тени,
и призрак мщенья, жаждущий прощенья,
и в пропасти высокая звезда,

и свет любви, замешанной на горе...

Все это вместе сплавил во взоре
мои глаза, не видевшие моря,
не видевшие моря
никогда!

ЛУИС ВИДАЛЕС[142][143]

Музыка

Перевод М. Самаева

Оркестрик в темной
углу кафе
струится странным
фонтаном.
Мелодия течет по волосам,
сбегает струйкой
по затылкам пьяниц,
клюющих носом
над рюмкой.
Она проскальзывает по шереховатой
поверхности картин,
слоняется по стульям
и по столам
и в спертom воздухе вдруг отдается

порывами —
изломанная,
жестикулирующая.

Вот залезает
ко мне в тарелку
и проползает
по беззащитному пирожному,
как муха.

И вдруг,
уже на пуговице пиджака,
волчком кружится.

Потом, лишаясь очертаний,
растягивается в пространстве
Тогда все начинает расширяться
и делаться расплывчато безбрежным.

Вот, наконец, спадает
ее прилив
и дрожи обнажает островки,
и с каждой убывающей волной
они все дальше,
все дальше.

ЭДУАРДО КАРРАНСА

Перевод И. Чижеговой

Ветер колосьев

Пшеничные поля, поля, поля,
и небо с чуть заметной правкой туч,
и вечер выткал на своем платке
голубку.

Колосья, как река, вокруг тебя,
и ты среди колосьев, словно колос,
как самый стройный колос, что дала
земля.

Соломенная шляпа, синий пояс
и платье, словно ранняя весна:
взлетает, весь в цветах и птицах, легкий
волан...

И, как весенний сказочный букет,
ты держишь радость, землю, солнце, ветер,
и над тобою голубиный вечер...
Такой ты снишься мне.

Твоих улыбок нежных голубятни,
в колосьях ветер, в небе — тучи стаей...
И ветер, ветер в золотистых прядях, —
как ты прекрасна!

Танцуешь ты, кружась среди колосьев
под свой напев, танцуешь без конца,
пока луна не пронесет над полем
свет своего лица...

Сонет Тересе

Тереса, в чьих глазах небес начало,
как запаха начало у цветка:
меня ты своенравьем ручейка
и нежностью вражды околдовала.

Лозой, и колосом, и розой алой
клонилась ты — легка, гибка, тонка,
и тело твое было как река
любви, что в море вечности впадала.

Тереса, для тебя встает заря,
и по ночам, вся звездами горя,
волшебных снов спускается завеса...

Тобой одной живу в разлуке я,
к тебе влюбленная строка моя,

и сердце бьется для тебя, Тереса.

Поэт прощается с девушками

О девушки! Не раз вы мной воспеты:
вы, чья походка музыкой влечет, —
когда в саду вы, в белое одеты,
мне чудится — в саду жасмин цветет...

Как обтекает ваши силуэты,
волнуясь, ветер, свой прервав полет...
Пока стихи слагают вам поэты,
поэзии не рухнет небосвод.

Сам бархат нежностью не спорит с вами,
и путаю я землю с небесами
там, где я вас встречаю, как зарю...

Но мне уж не идти с весною рядом:
я, провожая вас прощальным взглядом,
моей печали розу вам дарю.

Сердце в письме

Здесь образ сердца моего начертан:
к листу бумаги руку протяни,
и ты услышишь собственного сердца
счастливый стук, как в те, былые дни.

Разлуки нет, пока в нее не веришь;
мы снова, как вчера, с тобой одни:
тогда любви мы отворили двери,
сегодня вновь распахнуты они —

навстречу молчаливому горению,
навстречу бегу смертному к забвенью
от ранящего сердце остря —

к лазурной бухте нового свиданья,
где поцелуи утолят страданье,
где обретет покой душа моя.

КАРЛОС КАСТРО СААВЕДРА[144]

Перевод М. Самаева

Тайные пахари

Работа мертвых движется в тиши,
упорно, день за днем и ночь за ночью.
Работают без жара, терпеливо,
и никогда их труд не пропадает.
Они так незаметны, так смиренны,
что им для сна хватает двух метров глины,
и там они корпят над красотой пшеницы.
Обязано им все, что расцветает,
все, что однажды вызреет в колосья
и станет жатвой хлебопашца.
Из нитей крови собственной они
ткуют лепестки багряных маков
и тою малостью огня,
что в них еще от жизни сохранилась,
на лозах золотят хмельные грозди.
Так и растут они близ деревень,
преображаясь в смуглую пшеницу.
И все, что в мире зеленеет:
лесов неисчислимая листва,
трава младенческая и холмов покровы, —
берет начало в них.
Еще добавлю, что земля священна,
и топчущая борозду нога
тревожит тишину, среди которой
они своими снежными руками
неторопливо раскрывают зерна.

Море земли

Земля, точно море:

у земли есть волны,
пена голубок и скатертей,
кирпичные суда и причалы домов,
моряки, направляющие к хлебам
корабли холмов
и тонущие порой среди маков.

Волны земли,

где странствуют семена,
зеленочешуйчатые рыбешки зерен,
пена голубок
на деревенском небе
и скатертей на обеденных
столах.

А еще — пена свадебной простыни
среди бури объятий. И снова
кирпичные суда с экипажами каменщиков,
причалы домов, о которые бьются
ночные воды с их влажными
ракушками
и электрическими цветами.

Моряки крепко держат

руль плуга,
направляемого к плодам и цветам,
и паруса рубях полощутся на ветру.

Из земли

появляются сети пшеницы

с уловом — это

золотые сардины

колосьев.

Земля, точно море:

у земли есть волны,

окаменевшие и засохшие волны

и влажные волны зелени,

которой утоляется жажда животных

и жажда умерших.

Безработный

Есть человек, который выходит из дому, чтобы

сбивать свои ноги на тротуарах.

Выходит он и не знает — куда

направить уволенные свои кости,

глаза, ослабевшие от старых газет,

что валяются по учреждениям.

Полководец, разбитый полчищем улиц,

пленник прокуренной клетки бара,

собиратель глотков и лиц,
сигарет и бланков,
свидетель крошечных происшествий:
у чашки отваливается ручка, —
свидетель грязной и мокрой саркомы,
пожирающей горемычную кожу ботинок.

Безработный —
как те собаки,
что мочатся на задворках.

Нередко в его безработную голову
приходят мысли, голодные и лобовые:
столько хлеба на свете, столько хлеба,
и — ни кусочка, чтобы рту его дать работу,
столько на свете учреждений и диктатур,
и — ни винтовки, чтобы дать работу рукам.

КОСТА-РИКА

РАФАЭЛЬ КАРДОНА[145]

Старушкам

Перевод М. Квятковской

Кроткие монашки, тихие старушки,
вы сродни отшельницам, божии игрушки.

Правда, ваши лица сморщенны и жалки, —
вы как те пригорки, где растут фиалки.

Вы по жизни бродите — мощи, а не люди,
скорбная пародия умерших иллюзий.

Ходите, неслышные, легкими шагами,
белые вы матушки, убраны снегами!

Тихие старушки, кроткие монашки —
сколько раздали вы радостей, бедняжки!

Где те ароматы в высохших флаконах,
что пьянили некогда юношей влюбленных?

Нет в глазах потухших прежнего сиянья,
только губы скорбно шепчут поминанья.

Сгорбленные бабушки, руки, словно плети,

рухнувшие двери, сорванные с петель.

Вы ключи забытые, никому не нужные,
без конца вы тянете жалобы недужные.

До чего же грустно видеть вас под вечер
в уголке у печки, за вязаньем вечным!

Или, неуверенно нить в иглу вдевая,
шьете да кропаете, и, в дыму вставая,

дорогих видений пляшет контур зыбкий.
Скорбные старушки с доброю улыбкой...

В грубошерстных платьях зябнущие тени,
вороха живые вечных опасений.

Преданные бабушки, и пока вы в силах
удержать работу в этих пальцах хилых —

все бы наряжать вам ваших кукол милых!

АРТУРО МОНТЕРО ВЕГА[146]

Хочу обнять твои, отчизна, розы

Перевод Г. Кикодзе

Пусть ненависть вокруг, и стон, и горе,
пусть стынет в очагах твоих молчанье,
пусть нашу кровь уносят реки в море,
пусть в ужасе дрожат цветы ночами,

пусть сумерки горьки в просторах пашен,
пусть осыпается пыльца соцветий,
пусть пламень солнц твоих пока погашен,
пусть злоба хмурит брови на рассвете,

пусть трели птиц умолкли надо много,
пусть ясный взор мой застилают слезы,
пусть жизнь и смерть враждуют меж собою,

пусть скорбь и горе сильно сердце сжали,
хочу обнять твои, отчизна, розы
назло любому злу, любой печали.

Есть песня у меня...

Перевод П. Грушко

1

Есть песня у меня в защиту мира.

Сегодня сердце окрыленное мое
полно посланий светлых,
и крик из горла моего взмывает в небо.

Здесь,
в дальнем уголке Америки,
хочу я, чтобы чувства
мне силу сокрушительную дали,
чтоб стал мой клич поистине могучим
и до краев наполнился звучаньем,
и понят был на каждом языке,
и в каждом деревце прошелестел,
чтоб вторили ему напевом светлым
взволнованные реки и ручьи.

2

В ночи веков встает титан-рабочий,
и речь его, как молния, правдива.

Он рассуждает:

«Наша жизнь
замешана на извести простой,
и эта известь — вера в справедливость.

Вот почему, приветствуя рожденье
и ненавидя смерть,
мы защищаем мир
и проклиная войны!»

Солдат оглядывает горизонт,

глаза его внезапно стекленеют,
воспоминанья прорастают, как трава,
и он кричит:
«Я слышу шум подземных голосов —
они пощады просят,
они взывают неумолчно к нам,
они оповещают об угрозе,
они предупреждают
о голоде, могилах, нищете —
прислушайтесь к погибшим на войне!»

Давид Альфаро Сикейрос. «Жертва фашизма».

Фрагмент росписи «Новая декорация» во дворце изящных искусств
1945 г.

АЛЬФРЕДО КАРДОНА ПЕНЬЯ[147]

Отчизна поэзии

Перевод Ю. Петрова

Отчизна поэзии — в листьях зеленых,
гневом и смертью удобренных щедро;
кровью сочится земное лоно,
и нужно всего лишь проникнуть в недра —
и сердце горы обнажит лопата,
и можно коснуться тела солдата...
Какая скорбь в колокольных звонах!
Отчизна поэзии — в листьях зеленых.

Отчизна поэзии — ветер, летящий
дыханием зыбким над шпилем и крышей,
над садом и пашней, над током и чащей,
он будит цветы и флаги колышет;
в веселых порывах бездомного ветра —
грядущие весны и гимны рассвета.
Как зв?нок воздух, бурю сулящий!
Отчизна поэзии — ветер летящий.

Отчизна поэзии — в магии слова,
в пляшущей силе, скрытой, чеканной,
глагол — это мощь отрицанья бывшего
и сотворение великанов;
явлено слово — мертвые живы,
и жгучий жар освежает жилы.
Как много под спудом огня живого!
Отчизна поэзии — в магии слова.

Отчизна поэзии — в детстве раннем,
и память о нем, наполняя зори,
пахнет мхами и расстояньем,
спит в колокольном, рождественском звоне,
лоснится сонно испариной влажной
на мордах скотины, кроткой и важной.
Как льнет вильянсико к воспоминаньям!
Отчизна поэзии — в детстве раннем.

Отчизна поэзии — это предметы,
подчас незаметные. Где душегубы,
способные вытравить быта приметы:
шляпы, столы, водосточные трубы?
Недаром которое тысячелетье
они восхищенье рожают в поэте.
Как скромностью гордой вещи одеты!
Отчизна поэзии — это предметы.

Отчизна поэзии — в страсти к любимой;
лишь ради любви мы склоняемся к розе
и пламень срезаем ее негасимый;
любовь — бастион, недоступный угрозе,
любовь — это ласка земли, это урна
с теплом, это роза, цветущая бурно.
Какая свобода в тюрьме нерушимой!
Отчизна поэзии — в страсти к любимой.

Отчизна поэзии — это камень
и тишина, которая мудро
соткана временем и вьюнками,
в ней открывается древность утра,
нежность столетий, чудо мгновенья,
сладость памяти и забвенья.
Какая дрожь сбереглась веками!
Отчизна поэзии — это камень.

Отчизна поэзии — в сне весеннем
ребенка, живущего в каждом взрослом,
который с добром, чистотой, весельем
народом себе же, народу, послан.
Но нет отчизны ни в звездной выси,
ставшей приютом вздохам напрасным,
ни во влюбленном в себя Нарциссе,
ни в слове, мнящем себя прекрасным.
Отчизна поэзии рухнет, если
кольцо сопричастности потеряем...
Порвав навеки с бесплотным раем,
для человечности мы воскресли.

КУБА

ХУЛИАН ДЕЛЬ КАСАЛЬ[148]

Перевод В. Столбова

Ностальгия

I

Манит, манит север дальний,
альбатросов крик печальный
над волной.
Там, на сумрачном рассвете,

неустанно плачет ветер
ледяной.

Там хозяйка — непогода,
и слетает с небосвода
белый снег.

Покрывает луг узорный,
заглушает речки горной
бурный бег.

Солнца там лучи бесследно
пропадают в бездне бледной,
в небесах.

Но там звезды в изобилье,
они больше древних лилий
на гербах.

II

Одного порой хочу я —
по морям бродить, кочуя,
или жить
где-нибудь в стране далекой
и о будущем до срока
не тужить.

Незнакомые мне горы,
реки, рощи и озера
повидать.

Повстречать иную веру,
необычную манеру
размышлять.

Будь закон мое желанье,
я б в Алжир, как на свиданье,

поспешил.

Говорят, что мавританки,
как гвоздики на полянке,
хороши.

Но покой душе несносен,
в даль пустынь меня уносит
караван.

Солнце льет огонь повсюду,
солнце красит шерсть верблюдов
под шафран.

А потом среди равнины
мне палатку бедуины
разобьют.

Будет дуть песчаный ветер,
будет плавать в лунном свете
мой приют.

Парус мой подхватят бури,
землю огненной лазури
кину я.

Во владеньях богдыхана
опиум врачует раны
бытия.

Коротать в тени бамбука
без движения и звука
буду дни.

Чай — напиток мандаринов,
меня горечью старинной
опьянит.

Под луной, как бубен звонкой,
вверх по Хуанхэ нас джонка

понесет.

И полуночной порою
белый лотос предо мною
расцветет.

Что за дивное виденье!

Сок извечный вдохновенья
в нем сокрыт.

Это чудо резчик бедный
на кости в узор волшебный
воплотит.

К музе странствий на поруки

Я хочу от вечной скуки
убежать.

В океан открытый выйти,
возле острова Таити
дрейфовать.

Есть там озеро, я знаю,
в нем волшебница седая
на заре

под тягучие напевы,
чесет кудри королевы

Помаре[149].

Мне простор морской позволит
избежать душевной боли
и химер.

Позабуду я, поверьте,
о дыханье близкой смерти,
меры мер.

III

Мой кораблик — из бумаги,
только грезы — жизнь бродяги,
путь морской.

Ах, когда ж судьбы веленьем
будет мне дано забвенье
и покой!

Сумерки

Кровоточит зари распоротый живот.
Дымящаяся кровь стекает на холмы,
на плоский бледно-синий небосвод,
на оловянный блеск морской волны.

Утесы — как собранье мокрых спин,
у пульта вечер — странный дирижер.
Он мачты скрип навязчивый, как сплин,
вплел в плеск волны и в чаек хриплый хор.

Над морем сумрак поднял серый стяг
и горизонт замкнул стальным кольцом.
На горизонте сумрачном маяк
нам кажется пурпуровым цветком.

И водоросли — волосы наяд —

колышутся, подхвачены волной.
И горьковатый йода аромат
расплескивает в воздухе прибой.

Вот, как тюлени, тучи улеглись
и высыпали звезды, как роса.
Тяжелой поступью идет по скалам бриз
и заглушает склянок голоса.

БОНИФАСИО БИРНЕ[150]

Мое знамя[151]

Перевод В. Столбова

Я — скиталец с угрюмой душою
возвратился в родные края
и увидел я знамя чужое
над тобою, отчизна моя.

Почему ты, кубинское знамя,
уступило родной небосклон?
Затуманились очи слезами,
словно вижу я тягостный сон.

Мне достался нерадостный жребий,
но я верил и верю в одно:
развеваться должно в нашем небе
наше знамя — и только оно.

По полям, что кладбищами стали,
мы за ним мчались в вихре атак.
И товарищей мы погребали,
завернув их в простреленный флаг.

Не сверкали на нем украшения,
и не слышал он льстивых похвал,
но достоин бичей и презрения
тот, кто веру в него потерял.

Нас морили в темницах, но жалоб
не срывалось с искусанных губ,
знамя родины нас согревало
на чужбине, в холодном снегу.

Осеняла нам радость и муки
одинокая наша звезда,[152]
и наемника потные руки
не держали наш стяг никогда.

Где бы ни был я, родины знамя
гордо реяло в песнях моих,
и в изгнание оно было с нами,
наполняя и душу и стих.

Пусть же солнце на вольном просторе
и над островом нашим родным
наше знамя на суше и море
освещает лучом золотым.

Если ветры враждебные, воя,
попытаются флаг наш сорвать,
из могил встанут наши герои
и сумеют его отстоять.

РЕХИНО ЭЛАДИО БОТИ[153]

Перевод М. Симаева

Если бы душа имела руки

Вхожу в тебя, святой поток природы,
дай мне покой и сердце ободри,
дай сумеркам моим клочок зари,
чтоб с ним уйти в ребяческие годы.

От памяти моей отмой невзгоды
и борозды обид с нее сотри:
для ссадин, что кровоточат внутри,
твой поздний свет целительнее йода.

Как кротко ты и как безгрешно спишь,
и омывает снов твоих излучки
закатного сиянья благодать.

Как неоглядна даль! Какая тишь!
О, если бы душа имела руки,
чтоб море, горы и поля обнять.

Аромат твоей угасшей любви

Опять заря. И снова шум ветвей.
Стихи, роса и терпкий запах рани.
Забывтое волнение, навей,
навей душе обман воспоминаний.

И горечи мне принеси чуть-чуть,
чтоб скуку пресноватую приправить.
Но ты молчишь. Ты не наполнишь грудь
былой тревогой. Что с собой лукавить!

И я молюсь, молюсь о той заре,
о том объятье — там, на пустыре,
о той дрожавшей на ветру косынке,

о мятой мальве, о дыханье трав,
о кратком счастье, что, со мной устав,
ушло навеки — вон по той тропинке.

Пантеизм

Своей гранитной гармоничной плотью
скала нагая
взметнулась к бесконечности, в полете
изнемогая.

Зюйд гонит волны рать за ратью,
дробя их об утесы,
и хриплые ревет проклятья
под стон их тысячеголосый.

Как черный символ океанской
души, внезапные провалы
зияют на груди гигантской

меж радугой и гребнем вала.

Даль не прорежут альбатроса крылья,
и парус не мелькнет на водной круче,
не видно ни следа от килля,
ни тучи.

И лишь под шквалом ураганным
кипит свирепой круговертью
бой между жизнью — океаном —
и камнем — смертью.

Удары волн ударом встречным
превозмогая,
сама насмешка над быстротечным
скала нагая.

Проходит жизнь, и постепенно
жар чувств исходит в пепел серый,
а в сердце из песка и пены
слагаются аккорды «Мизерере».

АГУСТИН АКОСТА[154]

Повозки в ночи

Перевод А. Голембы

Вол сопит, а возчик смотрит туча тучей,
тянутся повозки чередой скрипучей.

Тянутся повозки, и скрипят их оси
посреди широких тростниковых просек.

И влекут колеса, тяжелы и грубы,
сладкую поклажу — будущее Кубы!

Землю под кубинским звездным небосводом
янки придавили сахарным заводом.

Над землею трубы черного колосса:
жалобную песню завели колеса.

Ах, кортеж судьбины! Бледный призрак рока!
Тростники мерцают, а луна высоко!

Лунный диск в тумане, бред фантазмагорий,
а надежда спорит с неизбывным горем.

И волы шагают медленно и важно,
а крестьянин песню затянул протяжно.

Вы, в клубок любовный спутанные нити,
в песенке креола горестно звените!

«Гарцевал под твоим окном я,
но ко мне ты не вышла, нет, —
лживо сердце твое, мой свет,
я навек твой обман запомню!»

И ползут уныло в ночь под лунной пряжей
старые повозки с хрусткою поклажей.

«Свести счета хочу с наглецом я,
не страшась бесчисленных бед:
пусть соперник мне даст ответ!
Ну, а мы с тобой в храме божьем
самой тяжелой беде поможем:
ты мне дашь послушанья обет!»

На ободья слякоть черная ложится,
старые повозки вязнут по ступицу.

Грузные колеса двигаются еле,
и глаза воловьи явно погрустнели.

Проклинает возчик — богоматерь, грязь ли?
Все равно — колеса накрепко увязли!

Вкруг его повозки возчики столпились,
вызволить из плена колымагу силясь.

В роще ствол тяжелый ненароком добыт:
вот его и надо подложить под обод!

Общие усилья, яростная ругань,
в слякоти — громада каменного круга!

Ты кричишь, крестьянин. Ты, как губка, выжат!
А волы вздыхают. Грустно губы лижут.

Вызволили обод. Возчики-собратья
едут вновь, мешая стоны и проклятья.

И плывет, сплетаясь с вздохами и смехом,
песенка, что стала тем проклятьям эхом:

«Не надеялся я, видит бог,
что себя целовать ты позволишь;
ты терзаешь меня я неволишь,
я смирить свою муку не смог!»

И под эту песню вновь при каждом шаге
горестно вздыхают, плачут колымаги:

«Пляшешь ты, не жалея ног,
а меня позабыть готова,
а ведь я тобой, право слово,
надышаться никак не в силах,
и сиянью очей твоих милых
эту песнь посвящаю снова!»

Вновь ползут повозки чередой скрипучей
через топь, и слякоть, и песок зыбучий.

Всем пора на отдых. На заводе — смена.
Громко загудела хриплая сирена.

Где дробятся тени ветром океанским,
печь пронзает темень факелом гигантским.

Пар летит рычащий к небесам родимым,
к ясным звездам — вечным и невозмутимым.

Тянутся повозки и скрипят их оси
посреди широких тростниковых просек.

И влекут колеса, тяжелы и грубы,
сладкую поклажу — будущее Кубы!

Землю под кубинским звездным небосводом
янки придавили сахарным заводом.

У ворот завода, где фонарь маячит,
плачут втихомолку,
по-кубински стонут, по-кубински плачут
старые двуколки!

ХОСЕ МАНУЭЛЬ ПОВЕДА[155]

Солнце бедняков

Перевод А. Голембы

Весь лачужный хаос, мир домишек раскосых,
весь квартал голытьбы, омраченный и бедный,
вдруг омылся сияющей краскою медной,
колыханьем закатных полосок.

Как дешевый браслет, весь квартал засверкал,
как браслет, что светлей драгоценностей прочих!
Купоросною пылью одели квартал
бесконечные толпы рабочих.

Солнце медлит убрать свои чудо-лучи,
что мужчин, ребятишек и псов обласкали:
солнце смотрит не так, как глядят богачи
на людей, копошащихся в нижнем квартале!

Солнце с неба глядит, как игривый сатир,
солнце, как старикашка, девчонок целует,
солнце смотрится в окна квартир,
и слепит, и ревнует.

Солнце всем свою ласку вечернюю шлет,
даже мухам навозным на смрадной помойке,
даже зелени тусклой стоячих болот!

Солнце ласково смотрит в глаза судомойки,
солнце слабо мерцает на потных плечах, —
загорелая кожа, закатное полымя, —
блики солнца блистают на спинах бродяг
(полуголые, славно играют в бейсбол они!),
проникает в таверну,
собутыльником добрым в сообщество пьяниц,
пьет, как пиво, вечерний
румянец.

И вдруг, постигая,
что уже запоздало,
льнет полукружьем багряного края
к прохудившимся кровлям квартала.

Исполнен любовью, мольбою и сплином
ноктюрн. Угасает лазури клочок.
Смычком незаметным по струнам пугливым
проводит сверчок.

Трущобная луна
Перевод А. Гелескула

С темного неба, как из ночлежки душной,
сонное и тупое,
смотрит лицо ее с миною злой и скучной

от перепоя.

По ней стосковались бары,
вакхово стадо млеет, —
сброд салютует дымом дрянной сигары
луне городских окраин, трущобной фее.

И та не в обиде — как дома в любой подворотне.
И по сердцу каждый бражник
луне городских окраин — бывалой сводне,
искусной в полночных шашнях.

Трущобный содом хохочет,
ликуют ловцы удачи;
луна воровская, кума непроглядной ночи,
о темных делах судачит.

А свет фонарей в тумане
сочится, как яд из ампул,
и плачет шарманка, — и тяжело толпу дурманит
таинственный вальс сомнамбул.

Но кратко веселье племса, а гаснет фонарь последний —
я вот над трущобным мраком
куда-то на новый шабаш луна улетает ведьмой,

махнув помелом гулякам.
Ищет ночлег оборванец,
стихают шаги за дверями,
полночный патруль выправляет зигзаги пьяниц,
и мостовые стелятся пустырями.

И, грязный от слез и пудры, один лишь Пьерро с гитарой
слоняется, шут печальный, в ночи пустынной и душной,
спеша для луны исторгнуть какой-то куплетик старый
и никому не нужный.

ХОСЕ САКАРИАС ТАЛЪЕТ[156]

Румба

Перевод Н. Горской

Мама, румба, барабаны и труба!
Мамимба-барабан, мабомба-барабан!

Мама, румба, барабаны и труба!
Мабимба-барабан, мабомба-барабан!

Эту румбу пляшет черная Томаса!
Эту румбу пляшет Хосе Энкарнась?н!

У Томасы ляжки заходили ходуном;
а у негра ноги — живые две пружины,
и живот пружинит, и, весь пружиня,
к ней на каблуках подходит он.

Каблуки-чаки-чаки-чараки?!

Чаки-чаки-чаки-чараки?!

Тугие ягодицы девчонки Томасы —
два огромных шара — вокруг оси незримой
в сумасшедшем ритме начали вращаться,
бросая дерзкий вызов дрожью сладострастной,
когда пошел в атаку Че Энкарнасьон;
у Че — марионетки — мускулы крепки,
весь дугой он выгнут, корпус откинут,
руки — недвижны, ноги — в работе,
волны равномерно сотрясают чресла,
и вперед он устремлен.

Продолжайте пляску-чече-пляску-пляску!

Продолжайте пляску-чече-пляску-пляску!

Продолжайте пляску-чече-пляску-пляску!

Черная Томаса дразнится упорно, —

ускользают бедра, подбородок вздернут, —
поднимает разом две руки атласных,
в их ладонях гладких — эбеновый затылок, —
предлагает груди: круглые гранаты
колыхнулись влево, колыхнулись вправо,
и на них глазеет Че Энкарнасьон.

Каблуки-чаки-чаки-чараки!

Чаки-чаки-чаки-чараки!

Негр неистово ринулся на приступ,
перед нею машет шелковым платком —
будь готова к бою, черная Томаса,
видишь, твой противник взбешен, разъярен!

«Стой, смуглянка!» — завывает смуглый.

(Из глотки — хрип, а глазшца — угли,
это дьявол или Че Энкарнасьон?)

Черная Томаса ловко увернулась,
«Нет!» — ему сказала и расхохоталась —
до чего ж обидный тон!
Прямо перед носом задом крутанула —
пусть он знает место, Хосе Энкарнасьон!

Мама, румба, барабаны и труба!

Мабимба-барабан, мабомба-барабан!

Взвизгивают флейты,
звякает марака[157],
трезвонит колокольчик,
грохочет барабан.

Приседает низко, почти касаясь пола,
в полуповороте Хосе Энкарнасьон.
И девочка Томаса расслабилась невольно,
и пахнет сельвой,
и пахнет полем,
и пахнет самкой,
и пахнет зверем,
и пахнет сельской глушью
и пыльным городским двором.

Головы танцоров — темных два кокоса,
на которых кто-то начертал известкой
сверху знак вопроса, тире — со всех сторон.
И два тела влажных — два кувшина черных,
И сияет каждый, п?том окроплен.

Взвизгивают флейты,
звякает марака,

трезвонит колокольчик,
грохочет барабан.

Каблуки-чаки-чаки-чараки!

Чаки-чаки-чаки-чараки!

И дрожат танцоры в бешеном экстазе,
в пароксизме страсти Че Энкарнасьон,
больше не до шуток девочке Томасе,
барабан безумный изрыгает стон.

Пики-тики-пан, пики-тики-пан!

Пики-тики-пан! Пики-тики-пан!

Падает на землю девчонка Томаса,
падает на землю Хосе Энкарнасьон;
они в клубке едином завершают пляску,
надорвался в крике большой барабан,
кон-кон-кончилась румба, ко-маб?-бам-бам!

Па-ка, па-ка, па-ка-пам! Па-ка, па-ка-пам!

Пам! Пам!.. Пам...

Вперед

Да, он был молодым, безрассудным и смелым,
и один лишь порыв неизменно владел им, —
он стремился к звезде, озарявшей ночной небосвод,
и, как будто в бреду, напрягаясь всем телом,
он смотрел на нее, повторяя: «Вперед, вперед!»

И в ужасную ночь, в тюремном подвале,
в час, когда палачи его зверски пытали,
повторял он: «Свобода придет!»
И распухшие губы беззвучно шептали:
«Не сдавайтесь, вперед, вперед!»

Ни в морях, ни на суше покоя не зная,
он мечтал об одном, чтоб звезда золотая
озарила ночной небосвод,
и в последний свой час он сказал, умирая:
«Не сдавайтесь, вперед, вперед!»

От глубокого сна не очнуться герою,
и костер его сердца засыпан золою,
но звенит его голос и снова зовет,

над решетками смерти взлетая весною:

«Не сдавайтесь, вперед, вперед!»

Мы победим

В стихотворении автор использует образы

«Песни о Буревестнике» М. Горького

Мой народ — могучая рать,
мой народ неистов и смел,
он рожден для доблестных дел,
ни смерти, ни голоду нас не смять.

Много копий у наших врагов,
но народ мой испытан в сраженьях,
никогда не носить нам оков,
никогда не стоять на коленях.

Пусть слабые духом немеют,
пусть в страхе трясутся пигмеи,
предатели ждут своей кары.

Мечутся белые чайки,
прячутся в скалы гагары,
сбиваются в робкие стайки.

Буревестник парит над волнами,

молнии черной подобен,
он знает — победа за нами
и тучи солнца не скроют.

Куба — как гордая птица
реет над морем седым,
и крылья ее — две варницы
надежды, —
мы победим!

Зловещий гигант-кровопийца!
Ты не добьешься поклона,
кубинец всегда будет биться —
до последнего биться патрона.

Не одни мы встречаем рассвет,
нашей победы ровесник, —
приносит нам братский привет
ликующий буревестник.

Мы пойдем путем испытаний,
готовые к пыткам любым,
наша надежда — как знамя,
мы знаем, что мы победим.

И если в дымящийся пепел
наш край превратятся родной,
звезду — наш немеркнущий вымпел —
подыдем над смертью самой.

Мы не отступим, мы устоим,
мы будем верны свободе,
и мы победим в нашем трудном походе,
мы победим!

РЕХИНО ПЕДРОСО[159]

Это — наша земля!

Перевод В. Столбова

Уходите от нас! Забирайте с собой ваши доллары, акции, банки!
Мы — глухая тоска городов, безымянное горе полей.
Уходите от нас! Забирайте с собой вашу роскошь и ваших богов!
Глухи были они к горьким жалобам нашим.
Ваша роскошь взята напрокат,
ибо сотканы ваши наряды из нашей беды.
Мы тоже богатые люди,
но сокровище наше никто не посмеет отнять.
У нас — беспредельная кузница солнца,
и молота песня,
и зеленый ковер океана, вышитый рыб серебром.

У нас многорукая сила заводов,
мятежное знамя, надежда
и мускулы.
Горе тоже у нас,
горе тех, кто страдает... и ждет.
Настанут великие дни,
как золотые монеты, они уже катятся к нам.
И наши рабочие руки радостью будут полны.
Уходите от нас, вы, набухшие золотом туши!
Все, что наше, никто не посмеет отнять.
Это — наша земля! Она наша от края до края.
На вей зреют желанья и сумерки тихо цветут.
И в наших руках
серп ветра гигантский —
он жатву срезает на ниве грядущих веков.

РУБЕН МАРТИНЕС ВИЛЬЕНА[160]

Рассветное крещендо

Перевод П. Грушко

Все пламенней пожар на полотне востока,
в нем блекнут фонари на вахте городской,
и город гонит сон, и снова звуков склока
и ритмов чехарда дробят ночной покой.

Вновь город доняла шумливая морока,
газетчики кричат, и снова день-деньской
автомобилей гул в сумятице потока,
треск дерева и лязг железа в мастерской.

И — словно дар — из недр гремящего колодца,
как фимиам труда, дым фабрик а небе вьется;
моторы по цехам гудят на все лады.

И город вновь повел старинное сраженье,
он, как большой станок, приводится в движенье
моторами забот и шкивами нужды.

Мотивы неясной печали

Перевод П. Грушко

О немощность сознания, бессилие решиться
облечь в стихотворенье неясные догадки.
И нет конца печали: не рвется вереница
похожих дней, текущих в трагическом порядке.

Желанного покоя и жаждать и страшиться:

в нем наше отречение от вековечной схватки
с самим собой, с устами, которым ласка снится,
и с горстью малых истин, и с бездною Загадки.

Страдать за все: за тщетность бесплодных осмыслений,
за то, что сердце друга в жестоком отдаленье,
за хладный ум Паллады в порыве Аполлона...

И в постоянной тяге к непостижимой шири
быть вечно одиноким и жить уединенно —
быть строчкой, для которой нет рифмы в целом мире!

Песня из посмертного фарса

Перевод О. Савича

Я умру прозаически на своей постели
(желудок, легкие, печень, ухо, горло, нос?)
и послушным трупом отправлюсь к последней цели,
закутанный в саван под шелест вздохов и слез.

Хотя смерть в двери жизни ежедневно стучится,
любопытство всегда окружает мертвеца;
набит посторонними, в улей дом превратится,
и соседи глаз не сведут с моего лица.

Придут поклониться незнакомые с цветами
и родным, кому горе слезы уже сожжет,

будут соболезнавать избитыми словами,
потупясь, как свойственно тем, кто знает, что лжет.

Какая-нибудь святоша без капельки крови,
под ноги глядя, прошамкает «за упокой»,
и самые старые из всех нахмурят брови,
прикидывая, кто же последует за мной.

Остальных развлечет дурак веселого склада
или тихо рассказанный сальный анекдот,
и чашка пахучего, сладкого шоколада
на выручку неловкости в паузах придет.

Нынешние друзья к останкам, что прежде были
моим «я», соберутся опять со всех сторон;
увидев, что эти стихи стали сценой были,
они шепчут друг другу: «Все предчувствовал он!»

До самого утра, тяготей над собраньем,
понятие «никогда» будет всем невтерпеж;
потом придет утешенье: «Мы жить дальше станем», —
и завтрашний день придет... Но ты, ты не придешь.

В плену у забвенья, как в заколдованном замке, —
это счастье? А каким бы могла ты владеть!

Мое имя и фамилия в траурной рамке
неожиданно заставят тебя побледнеть.

Спросят: «Что с тобой?» — «Ничего», — и напудришь щеки,
но спрячешься в спальне, не справившись с дрожью рук.
и заплачешь в подушку, шепча вот эти строки,
и в эту ночь не коснется тебя твой супруг...

НИКОЛАС ГИЛЬЕН[161]

Моя девчонка

Перевод О. Савича

Хороша моя девчонка,
и, как я, она черна;
на других не променяю,
мне другая не нужна.

Шьет она, стирает, гладит,
но что главное, конечно, —
как готовит!..

Ну, а если пригласить
потанцевать,

закусить

без меня — никуда,

никогда!

Говорит она: «Твоя негритянка от тебя

не уйдет ни в жизнь!

Только крепко

за меня держись!»

Достань деньжонок...

Перевод М. Самаева

Достань деньжонок,

достань деньжонок,

или с тобой не пойду, и все.

На порцию риса с галетой,

и все.

Я знаю, по-всякому может быть,

но, старина, ведь нужно же есть.

Достань деньжонок,

достань деньжонок,

или не лезь.

Потом ведь скажешь, что я такая,

что не умею с людьми.

Но любовь на пустой желудок...

Пойми.

Сам-то в новых ботинках, приятель...

Пойми.

И часы у тебя, мулатик...

Пойми.

Ведь мы же с тобой поладим...

Пойми.

У гроба Монтеро[162]

Перевод И. Чежеговой

Умел зажигать ты зори

огнем своей буйной гитары,

игрой тростникового сока

в твоём теле живом и гибком,

под луною бледной и мертвой!

И была твоя песня сочной,

смуглой, точно спелая слива.

Ты, что пил, никогда не пьянея,

и был прозван «Луженой Глоткой»,

в море рома без якоря судно

и наездник искусный в танце, —

что же будешь ты делать с ночью,
ведь над ней ты больше не властен,
и откуда вольешь в свои жилы
крови той, что тебе не хватает,
той, что вытекло много из раны,
нанесенной ударом кинжала?

Ты сегодня убит в таверне,
друг мой Монтеро!

В твоём доме тебя ожидали,
но тебя принесли туда мертвым,
говорят, была пьяная ссора,
но тебя принесли уже мертвым,
говорят, он был твоим другом,
но тебя принесли уже мертвым,
сталь кинжала едва блеснула,
но тебя принесли уже мертвым...
Вот чем кончилась пьяная драка,
Бальдомеро, плясун, забияка!

У гроба две свечи горят,
слабым светом мрак разгоняя,
для кончины твоей бесславной
даже этих свечей хватает.
Но горит на тебе, пламенея,
рубашка красного цвета,

твои кудри огнем полыхают,
твои песни свечами тают,
для тебя не жалея света...

Ты сегодня убит в таверне,
друг мой Монтеро!

Луна показалась сегодня
как раз над моим окошком,
вдруг упала она на землю
и осталась лежать на дороге.
Мальчишки ее подобрали,
чтоб лицо ей отмыть от пыли,
а я взял ее тихо ночью
и тебе положил в изголовье.

West Indian LTD[163]

«Вест-Индия! Это — ром, и табак, и кокосы...»

Перевод Н. Горской

Вест-Индия! Это — ром, и табак, и кокосы.

Люди улыбкивы, смуглы, темноволосы,
консерваторы и либералы,
земледельцы и скотоводы,

деньги тратят они, как воду,
но денег у них до смешного мало[164].
Здесьнее солнце излишне ярко и пылко —
пересушило розы, перегрело затылки.
Взгляните на нас: модный пиджак прикрывает плечи
и набедренная повязка — перед;
люди доверчивы и сердечны,
в прошлом — рабы, неотесанный сброд,
разные дрожжи, разное тесто;
Колумб грациозным жестом —
во славу Испании! — причислил к Индии этот народ.

Здесь много черных, и желтых, и мулатов, и белых.
Скажу я лично — мало красок приличных,
после актов, контрактов и пактов различных
слиняли чернила, разобраться в цвете трудное дело.
(Кто мыслит иначе, пусть встанет и выступит смело.)
Здесь партии есть, группировки и группы,
и ораторы есть — слышите: «В этот период трудный...»
Есть банкиры и кулины,
спекулянты и стрекулисты,
юристы и журналисты,
медики и швейцары.

Все есть — мы народ не нищий.
А если чего-то нет — поищем и сыщем.
Вест-Индия! Это — ром, и табак, и кокосы.
Люди улыбочивы, смуглы, темноволосы.

Ай, островная страна
под солнцем жарким и ярким!
Быть заповедным пальмовым парком —
разве ты не для этого создана?
Уголок зеленый
на пути кораблей туристских,
полно пассажиров, но нет живописцев
и нет влюбленных;
покинув Таити, Афганистан иль другую страну,
кто-то в вашем порту, мимоходом,
жует кусок небосвода
и запивает ромом голубизну;
на побережье английский язык повсюду,
сыплются
«уес»[165] горохом на блюдо.
(Язык чичероне и лизоблюда.)
Вест-Индия! Это — ром, и табак, и кокосы.
Люди улыбчивы, смуглы, темноволосы.
Дворянин с Антилл, на тебя я гляжу, смеясь, —
ты скачешь мартышкой с ветки на ветку,
споткнуться боишься, жалкая марионетка,
и все равно попадешь в грязь.
Над тобою смеюсь, аристократ белокожий, —
видна голубая кровь под легким загаром! —
ты славишь свой род с неизменным жаром,
кичишься умом и любишь деньги до дрожи.
Над тобою смеюсь, одураченный черный,
на лимузины ты пялишься, как дурак,

и твоя чернота для тебя зазорна,

и отдыхает твой мощный кулак.

Надо всеми смеюсь: над полицейским и вором,

над профессором и студентом,

над дворником и президентом.

Над целым миром смеюсь, надо всеми смеюсь, без

разбора.

Над целым миром, который заводит споры

вокруг четырех разноцветных, косматых, чванливых, печальных,

четырёх дикарей у одной кокосовой пальмы.

«Полковники из терракоты...»

Перевод И. Эренбурга

Полковники из терракоты,

политиков томный лай,

булочки с маслом и кофе.

Гитара моя, играй!

Чиновники все на месте,

берут охотно на чай —

двести долларов в месяц.

Гитара моя, играй!

Янки дают нам кредиты,

они купили наш край —

родина всего превыше.

Гитара моя, играй!

Болтают вовсю депутаты,
сулят горемыке рай,
а за всем этим сахар и сахар...
Гитара моя, играй!

«Дрожит тростник безбрежный...»

Перевод О. Савича

Дрожит тростник безбрежный,
страшась ножей коротких.
Жжет солнце, воздух давит.
Надсмотрщики кричат, —
как свист бичей их крики.
Над смутною толпой
работающих нищих
встает поющий голос,
летит поющий голос,
от ярости звеня;
так пели дикари,
и так поют сегодня:
— Срезать бы головы, как стебли, —
р-раз, р-раз, р-раз!
Спалить бы головы и стебли,
чтоб дым до самых туч поднялся, —

когда наступит этот час?

Клинок в моем ноже — на месте, —

р-раз, р-раа, р-раз!

Мой нож в моей руке — на месте, —

р-раз, р-раз, р-раз!

А надо мной надсмотрщик, —

р-раз, р-раз, р-раз!

Срезать бы головы, как стебли,

спалить бы головы и стебли,

чтоб дым до самых туч поднялся, —

придет ли час?

«Чтобы заработать на хлеб...»

Перевод О. Савича

Чтобы заработать на хлеб,

трудись до седьмого пота,

чтобы заработать на хлеб,

трудись до седьмого пота,

хочешь того или нет —

работай, работай, работай.

Сахар из тростника,

чтобы кофе послаще было,

сахар из тростника,

чтобы кофе послаще было.

Горче желчи тоска

жизнь мою подсластила.

Ни дома нет, ни жены —

куда идти, я не знаю,
ни дома нет, ни жены —
куда идти, я не знаю.
Никто мне не скажет «вы»,
собак на меня спускают.
Говорят: «У тебя есть нож,
мужчина ты, не чечетка».
Говорят: «У тебя есть нож,
мужчина ты, не чечетка».
Я был мужчиной — и что ж?
Сижу теперь за решеткой.
За решеткой теперь умирай.
Что тут дни или годы?
Это и есть мой рай,
это и есть мой рай —
свобода, свобода, свобода.

«Вест-Индия!..»

Перевод Н. Горской

Вест-Индия!..

Вест-Индия!..

Вест-Индия!..

Это народ, отлитый из меди,
многоликий, суровый, прибитый к земле,
замаранный грязью, присохшей к шкуре.
Это — каторжная тюрьма —
умри в оковах, не надейся воскреснуть!

Это гротескный престол компаний и трестов.

Это асфальтовые озера и рудники,

плантации кофе,

гавани, яхты, и доки, и медяки.

Этот народ говорит «all right»[166],

но вокруг далеко не рай.

Этот народ «very well»[167] говорит,

когда земля код ногами горит.

У нас есть слуги, которым платит сам Mr. Babbit.

Есть сынки богачей, которых школит West Point.

Есть такие, что курят лишь «Chesterfield»

и завывают «hello, my baby»[168].

Есть танцоры foxtrot'ов,

и «мальчики» из jazz band'а,

и купальщики на пляжах Palm Beech.

Есть любители сочного мяса

и хлеба с маслом.

Есть юнцы-сифилитики с глазами кретинов,

курильщики опиума и марихуаны,

они выставляют свои спирохеты в витринах

и меняют костюм постоянно.

Есть «первосортные» люди,

«соль земли» и «сливки» Гаваны.

Но есть и гребцы на галерах горя,

на горьких галерах в горчайшем море.

И есть силачи,

при свете молний долбящие камень в ночи,

твердеют у них кулаки и твердеет воля,

это они над высохшим полем

рассыпают зерна огня;

и кричат: «Мы идем!» И голоса другие, звеня,
«Мы идем» отвечают; вы слышите ритмы их пульса —
биение крови на грани инсульта...
Как же с вами быть, силачи,
при свете молний долбящие камень в ночи?
Есть такие, что, всем рискуя, все отдают
и взамен ничего не берут,
щедрой рукою все отдают безвозвратно;
это они негра чувствуют братом,
негра, который гнет спину на руднике в в порту
и купается в чистом, священном поту;
и белого чувствуют братом, ибо всякая плоть
становится хрупкой, если ее хлестать и колоть,
а если ее топтать сапогом огромным,
в горле рождается крик — громыхание грома.
Это они, мечту создавая,
трудятся в шахте, в забое
и слушают голоса над собою —
живые и мертвые к ним взывают.
Это они — светом полны,
безвестны, забиты,
угнетены,
всеми забыты,
голодны и больны,
обречены,
истерзаны и распяты,
втоптаны в грязь, но крылаты,
это они восклицают под пулей: «Братья-солдаты!..»
И умирают, презревшие страх,
с нитью багряной на темных губах.

(Шагай же вперед, толпа!

Прочь убирайтесь, варварские знамена,
и полыхайте другие знамена —
вас понесет толпа!)

«На вершинах рассвет...»

Перевод О. Савича

На вершинах рассвет разрезает своими ножами
ночь. И в невинном неведенье пальмы
шепчут девственными голосами
про ожерелья, сережки и тальмы.
Негр свой кофе на корточках греет.
Вспыхнул, как спичка, барак отдаленный.
Ветры свободные и суверенные веют.
Крейсер проходит под вымпелом Соединенных
Штатов. А дальше эскадра чернеет.
Грязнят перевозданную воду киями
потомки надменные старого Дрейка, пирата.
Медленно из-за камней вырастает рука над стеной,
сжимаясь в кулак для возмездия и для расплаты.
Чистый, прозрачный, живой
голос надежды звенит над землей, над морями,
Солнце росткам обещает, что станут лесами...
По-английски — Вест-Индия. Наше наречье — кастильское,
мы говорим; острова Антильские.

Заклинание змей

Перевод О. Савича

Майомбэ — бомбэ[169] — майомбэ!

Майомбэ — бомбэ — майомбэ!

Майомбэ — бомбэ — майомбэ!

У змеи глаза из стекла, из стекла;

змея обвивается вокруг ствола;

глаза из стекла, она у ствола,

глаза из стекла.

Змея передвигается без ног;

змея укрывается в траве;

идет, укрываясь в траве,

идет без ног.

Майомбэ — бомбэ — майомбэ!

Майомбэ — бомбэ — майомбэ!

Майомбэ — бомбэ — майомбэ!

Ты ударишь ее топором — и умрет:

бей скорей!

Но не бей ногой — ужалит она,

но не бей ногой — убежит!

Сенсемайя, змея,

сенсемайя.

Сенсемайя, с глазами ее,

сенсемайя.

Сенсемайя, с языком ее,

сенсемайя.

Сенсемайя, с зубами ее,

сенсемайя...

Мертвая змея не может шипеть,

мертвая змея не может глотать,

не может ходить,

не может бежать!

Мертвая змея не может глядеть,

мертвая змея не может пить,

не может дышать,

не может кусать!

Майомбэ — бомбэ — майомбэ!

Сенсемайя, змея...

Майомбэ — бомбэ — майомбэ!

Сенсемайя, тиха...

Майомбэ — бомбэ — майомбэ!

Сенсемайя, змея...

Майомбэ — бомбэ — майомбэ!

Сенсемайя, умерла!

Баллада о двух предках

Перевод Н. Горской

Со мною две тени вечно,
два предка — моим эскортом.

Копье — костяной наконечник,
тамтамы из кожи твердой:
это мой предок черный.

Кружевной воротник тарелкой,
в серых доспехах тело:
это мой предок белый.

Африка троп неторных
и глухо гудящих гонгов...
— Я умираю!
(Шепчет мой предок черный.)

В бронзе кайманов реки,
над кокосом зелень рассвета...
— Изнемогаю!
(Шепчет мой белый предок.)

О парус горького ветра
над кострами галер золоченых!..
— Я умираю!
(Шепчет мой предок черный.)

О нежная шея нагая
в петле стеклянного ожерелья...
— Изнемогаю!
(Шепчет мой белый предок.)

О солнце чистой чеканки —
тропическая корона;
о светлой луны скольжение
над обезьяной сонной!

И сколько галер и бригов!
И сколько же, сколько негров!
Тростник сверкает, как бритва,
и бич взвивается мерно.
И слезы, и крови сгустки,
набухшие веки и вены,
и утром на сердце пусто,
и ночью ты снова пленный,
и глотка исходит криком —
в затишье удар по нервам.

О сколько галер и бригав!

И сколько негров!

Со мною две тени вечно,
два предка — моим эскортом.

Дон Федерико вскрикнул,
Факундо застыл в молчанье;
и оба шагают гордо
и грезят ночами.

Вы оба во мне.
— Федерико!
Факундо! Вам подружиться просто,
со мной вы связаны кровно.
Вздохнули. Стоят — огромны.
Вы ровня — силой и ростом,
над вами звездная россыпь;
вы ровня — силой и ростом,
черной и белой тоски объятая,
вы силой и ростом братья.
Поют, и мечтают, и плачут вместе.
Мечта, и слезы, и песня.
И слезы и песня.
И песня!

Моя родина кажется сахарной

Перевод И. Эренбурга

Моя родина кажется сахарной,

но сколько горечи в ней!

Моя родина кажется сахарной,

она из зеленого бархата,

но солнце из желчи над ней.

А небо над ней, как чудо:

ни грома, ни туч, ни бурь.

Ах, Куба, скажи мне, откуда,

ах, Куба, скажи мне, откуда

взяла ты эту лазурь?

Птица прилетела неживая,

прилетела с песенкой печальной.

Ах, Куба, тебя я знаю!

На крови растут твои пальмы,

слезы — вода голубая.

За твоей улыбкой рая —

ах, Куба, тебя я знаю, —

за твоей улыбкой рая

вижу я слезы и кровь,

за твоей улыбкой рая —

слезы и кровь.

Люди, что работают в поле,
похоронены в темной могиле,
они умерли до того, как жили,
люди, что работают в поле.
А те, что живут в городах,
бродят вечно голодные,
просят: «Подайте грош, —
без гроша и в раю умрешь.
Они бродят вечно голодные,
те, что живут в городах,
даже если носят шляпы модные
и танцуют на светских балах.

Была испанской,
стала — янки.
Да, сударь, да.
Была испанской,
стала — янки.
Для бедных — беда,
земля родная и голая,
земля чужая и голода.

Если протягивают руку
робко или смело,
на радость или на муку,

черный или белый,
индеец или китаец, —
рука руку знает,
рука руке отвечает.

Американский моряк —

хорошо! —

в харчевне порта —

хорошо! —

показал мне кулак —

хорошо!

Но вот он валяется мертвый —

американский моряк,

тот, что в харчевне порта

показал мне кулак.

Хорошо!

Когда я пришел на эту землю...

Перевод И. Эренбурга

Когда я пришел на эту землю,

никто меня не ожидал.

Я пошел по дороге со всеми

и этим себя утешал,

потому что, когда я пришел на эту землю,

никто меня не ожидал.

Я гляжу, как люди приходят,
как люди уходят
в славе или в обиде.
Я иду по дороге.
Нужно глядеть, чтобы видеть,
нужно идти по дороге.

Некоторые плачут от обид,
а я смеюсь смело:
Это мой щит,
мои стрелы, —
я смеюсь смело.
Я иду вперед,
нет у меня посоха.
Кто идет — поет.

Я иду вперед,
Я пою досыта,
Я иду вперед,
нет у меня посоха.

Гордые меня не любят:
я простой, а они — знать,
но они умрут, эти гордые люди,
и я приду их отпевать,
они меня потому и не любят,

что я приду их отпевать.

Я гляжу, как люди приходят,
как люди уходят
в славе или обиде.
Я иду по дороге,
нужно жить, чтобы видеть,
нужно идти по дороге.

Когда я пришел на эту землю,
никто меня не ожидал.
Я пошел по дороге со всеми
и этим себя утешал,
потому что, когда я пришел на эту землю,
никто меня не ожидал.

Набросок

Перевод С. Северцева

Пляшет Гавана. Пляшет Гавана.
Звонкие бедра.
Полуночный час...
Вижу лицо ее: кольца тумана
вкруг обезумевших глаз.
Танец ее — это счастье и горе,
жизни и смерти

спутанный бег...

И сторожат ей могучее море
шесть моряков, опочивших навек.

Ах, сеньора, ах, соседка!

Перевод О. Савича

Ах, сеньора, ах, соседка,
померла моя наседка!
Мне теперь зайти в курятник —
только горе и тоска:
нет ни рябенького платья,
ни цветного гребешка,
потому что — ах, соседка! —
померла моя наседка
в воскресенье поутру;
да, сеньора, да, соседка,
в воскресенье поутру;
ах, сеньора, ах, соседка,
в воскресенье поутру!

Посмотрите: я вспотела.

Птичий двор осиротел,
и петух мой овдовел!

Посмотрите, как я плачу:
нос от слез совсем распух,
громко вторит мне петух!

Ах, сеньора, ах, соседка,
как же, как же мне не плакать:
умерла моя наседка!

Элегия

Перевод И. Эренбурга

Дорогой моря,
добыче рад,
дорогой моря
пришел пират;
он улыбался
чужой тоске,
держал он палку
в сухой руке.
Забуть не может моя тоска
о том, что помнят и облака.

Он ствол надрезал,
он смял луга,
он вез железо
и жемчуга.
Дорогой моря
и черных слез
на запад горя

он негров вез.

О том, что помнят и облака,
забыть не может моя тоска.

Увез он негров,
чтоб негры шли,
чтоб рыли недра
чужой земли,
и хлыст, чтоб щедро
рабов хлестать,
и смерть, чтоб негру,
уснув, не встать.

Дорогой моря
идем одни;
здесь я и горе
моей родни.
Ты не забудешь, моя тоска,
о том, что помнят и облака.

Поэтическое искусство

Перевод О. Савича

Я синие знаю заливы
и небо, водой повторенное,
мерцание звезд потаенное,

луны переливы.

То ли кровь, то ль слононая кость, —

я знаю живую розу.

Я знаю мимозу

и виноградную гроздь.

Соловей мне голос поставил,

трелям вода обучала.

Я вылил вино из бокала

и только хрусталь оставил.

* * *

А свинец, что свистит, убивая?

А большая земная тюрьма?

Грозно море, и на море — тьма,

и нет под луною рая.

Тростник, от сока тяжелый,

вонзается в тело, как гвозди.

Пусть же знают высокие звезды

про голод и холод!

Ранят бичи, как ножи,

не считает надсмотрщик ударов.

Ступай со своею гитарой

и розам про боль расскажи!

А еще расскажи им про то,

как новое солнце сияет.

На воздушных качелях качаясь,
пусть ликует каждый росток!

Зеленая ящерица

Перевод О. Савича

В Антильском, Антильском море —

Карибским зовут его также —

исхлестана злыми валами

и легкою пеной украшена,

под солнцем — оно ее гонит,

а ветер назад отгоняет,

а слезы живут только в песне —

качается Куба на карте:

зеленая длинная ящерица

с глазами, как влажные камни.

Венец из колючих стеблей

ей плетет тростниковый сахар,

но он не похож на корону,

ведь носит его раба;

царица в плаще — если издали,

с изнанки плаща — служанка,

печальнее всех печальных

качается Куба на карте:

зеленая длинная ящерица

с глазами, как влажные камни.

Но ты, у берега моря

стоящий на крепкой страже
морской тюремщик, запомни
высоких копий сверканье,
валов нарастающий грохот,
язык языков пожара
и ящерицу, что проснулась,
чтоб вытащить когти из карты:
зеленая длинная ящерица
с глазами, как влажные камни.

Кабачки

Перевод О. Савича

Я люблю кабачки и рыбацкие бары,
разбросанные по приморским углам,
где люди пьют и ведут тары-бары,
только чтоб выпить и поговорить по душам.
Там Хуан Никто свой бедный напиток смакует,
там Хуан Неотесанный днюет-ночует,
там сидят Хуан С Большой Ноздрей,
Хуан Длинный Нож и сам Хуан Простой,
Хуан — простой человек, единственный — просто Хуан,
без клички Хуан.

Вскипающею волной
нарастает там дружба людей,
настоящая дружба народа, без пышных речей.

Только слышишь: «Привет!», «Как живешь?», «Что с женой?».

Там пахнет йодом, морскою травой,
рыбой, ромом, солью и прелью,
пропотевшей рубашкой, которая сохнет на теле.

Будешь искать меня по вечерам
в Гаване, в Пирее,
в Порт-Саиде, в Бомбее,
обойди кабачки и рыбацкие бары,
ищи меня по таким углам,
где простыв люди пьют и ведут тары-бары,
только чтоб выпить и поговорить по душам.

Вал

Перевод О. Савича

Чтоб вал неприступный построить,
возьмитесь, руки, за дело:
и черные руки негров,
и белые руки белых.
Устремленный к простору и свету
от морей и до горных цепей
и от горных цепей до морей, да, да,
пусть наш вал оградит всю планету!

— Стучат!

— Эй, кто там?
— Сирень и роза.
— Открыть ворота!
— Стучат!
— Эй, кто там?
— Вояка с саблей.
— Закрыть ворота!
— Стучат!
— Эй, кто там?
— С масличной ветвью голубь.
— Открыть ворота!
— Стучат!
— Эй, кто там?
— Шакал и скорпион.
— Закрыть ворота!

Давайте ж скорее строить!

Вы, руки, беритесь за дело:

и черные руки негров,

и белые руки белых.

Устремленный к простору и свету

от морей и до горных цепей

и от горных цепей до морей, да, да,

пусть наш вал оградит всю планету!

Есть у меня

Перевод П. Грушко

Когда смотрю на себя
и трогаю свое тело,
я — вчера еще Хуан Неимуций
а сегодня — Хуан Всемогущий
(всемогущий, в том-то и дело),
когда оглядываю со всех сторон
сам себя и трогаю свое тело,
я думаю: а это не сон?

Что же есть у меня? Поглядим.
Есть удовольствие бродить по стране,
где все стало моим,
вблизи разглядывать то, что мне
приходилось разглядывать издалека.
Могу сказать «рубка сахарного тростника»,
могу сказать «горы»,
могу сказать «город»,
«армия», и все — это на века —
мое, твое, наше. Запомнил?
Все наше: сияние молний,
звезды и цветка.

Что есть у меня? Есть
отчаянное удовольствие, какой я ни есть,
парень простой, из крестьян, из рабочих, —
есть отчаянное удовольствие (среди прочих)
войти в банк и без всякой опаски

с управляющим вступить в разговор,
не на английском и без слова «сеньор»,
а сказать ему «компаньеро»[170],
как это звучит по-испански.

Все это есть у меня, А еще
есть то, что я — темнокожий,
но в дансинге или в баре никто за плечо
меня тронуть не может,
никто у входа в отель не скажет
«заняты все номера»,
большие и средние и даже
тот маленький, где можно поспать до утра.

Что еще? А то, что отныне
нет жандармерии полевой,
никто не схватит меня, в застенки не канет,
никто земли моей не отнимет,
не заставит домик покинуть свой.

А уж если есть земля у меня,
то и море вокруг Кубы —
не светская болтовня
в каунтри-клубе[171],
где теннис и яхточки для услад,
а вольные волны, бесконечные пляжи,
синий клокочущий демократ, —

в общем, море. Что еще скажешь!

Что есть у меня?

Есть то, что умею читать,
считаю разные числа,
научился писать,
думать и хохотать научился.

Да к тому же есть у меня
работа — всегда и везде:
зарабатываешь и не думаешь о еде.

В общем и целом, заметь:

есть у меня то, что я и должен иметь!

Советский Союз

Перевод П. Грушко

На Кубе мне ни разу не встречался
советский трест.

Ни банка их, ни сахарных плантаций,
ни магазина «Все за десять центов»
я не встречая окрест.

Компании не видел никакой
ни железнодорожной, ни морской.

Не видел роц банановых ни разу
с доскою, на которой читаешь фразу: «Маслов энд компани, С. на К.

Бананы оптом. Конторы —
угол Масео и Неведомо-Которой».
И телеграммы не встречались мне:
«Москва, 15 ноября (ЮПИ).
Сырец в цене».
И не поставлю им
коварного желания в вину:
продвинуть их столь знаменитый снег
в мою не менее известную весну.

На поезде — по городам
(я нахожусь в России)
не видел я —
присягу дам! —
«Для белых здесь, для черных там».
Кафе, автобус —
не прочесть:
«Для черных там, для белых здесь».
В отеле, в самолете —
нигде вы не прочтете:
«Для черных здесь, для белых там»,
«Для белых дам, для черных дам».
В любви, в учебе —
никогда:
«Для черных нет, для белых да».
И парни в их краю родном,
когда мы руку подаем,
на нас не смотрят свысока,
какой бы ни была рука.

* * *

В Карибском море не найдете вы
(У волн спросите) пиратов из Москвы.
И в светлых бухтах нет ушей-радаров,
которые, ворочаясь во тьме,
подслушивают, что у Кубы на уме.
Советская блокада? Ерунда!
Морские пехотинцы? Никогда!
Шпионы на моторках? Сущий бред!
Их корабли? Ответ
на Кубе даже дети дать могли бы:
здесь танкеры и корабли
для ловли рыбы.
От нас они увозят кофе, сахар,
и мечту —
благоухающую веточку в цвету.

Послушайте поэта:

чтоб ни везли они с другого края света, —
во всем их дружеского хлеба аромат
и доброе звучанье слова Брат.

* * *

Советская страна! Когда пахнуло стужей,
и дули ветры Севера все злее,
и петлю затянули туже
у нас на шее,
когда на медленном огне бесстрастно стали

поджаривать нам пятки,
чтоб мы сказали Вашингтону: «Все в порядке,
возьми нас, мы устали»
(сказали то, что не хотели), —
нам ветер дружеские голоса донес:
то фабрики твои и школы пели
и твой колхоз.

И вместе дали мы отпор,
и мы свободны, как и ты, с тех пор,
с одним врагом сражаться нам двоим,
которого мы вместе победим.
Советская страна, я отдаю
тебе судьбу рассветную свою,
ты указала Кубе верный путь,
с которого нам не свернуть:
нам столько волн враждебных било в борт!
Отныне знаем мы, где порт.

ЭМИЛИО БАЛЪЯГАС[172]

Перевод М. Самаева

Мой стих

Мой стих, короткий и простой. Хосе Марти

Снова зовет меня стих мой
легким дрожанием крыльев,
детской ручонкой своею
стих мой зовет меня снова.

Хочет набегаться вволю,
в венах моих нарезатьться.
Листьев зеленым прибоем
стих мой зовет меня снова.

Он из воды и заката,
птичьих рулад и ракушек
сделал флажки и сигналит,
чтобы о нем не забыл я.

Машет он мне и ногою
топает нетерпеливо,
стих, этот вечный мальчишка:
на карусели веселья
хочет со мной покататься.

Элегия о Марии Белен Чакон

Мария Белен, Мария Белен, Мария Белен,
Мария Белен Чакон, Мария Белен Чакон,

Мария Белен Чакон,
Камагуэй и Сантьяго, Сантьяго и Камагуэй
помнят ритмов твоих циклон.

О, если бы снова изгибы твои зажглись,
чтоб озарить
румбы небесную высь.

Может быть, чья-то хула,
Мария Белен, Мария Белен Чакон,
чья-то хула тебя обрекла?

Нет, не хула и не боль, нет,
а за рассветом рассвет
превращал твои легкие в тлен,
Мария Белен Чакон,
Мария Белен.

Если б ты знала, какой ликовало синью
то утро, когда тебя уносили
под простынею в корзине.

Скажите — пусть не танцуют,
скажите, чтоб негр Андрес
не мучил струны гитары трес.

Пускай мулаты
погасят марак напевы.
Целуйте крест,
и да спасет вас пречистая дева.

Уже не увидят мои желанья
в зеркалах твоих бедер свою погибель,
и в небесах твоего обаянья
не вспыхнут твои изгибы.

Мария Белен, Мария Белен,
Мария Белен Чакон,
Камагуэй и Сантьяго, Сантьяго и Камагуэй
помнят ритмов твоих циклон.

Белый друг

— Эй, товарищ! Эй, товарищ! —

Это кто же?

Черный белому товарищ?

Вот так чудо!

Черный белому товарищ?

Это вдруг не переваришь...

Черный белому товарищ?

Непохоже.

В час беды бегут за негром —

помогай, брат!

В час нужды приходят к негру —

выручай, брат!

Чуть война —

и тут про негра вспомнят сразу.

А для чистой работенки —

черномазый.

Негр глядит и улыбается!

«Не худо».

И скребет себе затылок:

«Что ж, не худо».

Черный белому понадобился — славно!

И молчит он и в душе сомненье прячет.

Белый — значит, одурачит.

Ведь когда приходит негр за платой,

слышит негр: «А ну, проваливай отсюда!»

Бар для белых, ну а негра —

за двери,

бал для белых, ну а негра —

в шею.

Его не встретишь среди гостей.

Если негра и приглашают —

приглашают его на кухню,
приглашают его к плите.

Негр ухмыляется:

«Ладно»,

негр сомневается:

«Ладно»...

Значит, товарищ —

понятно.

Значит, товарищ —

посмотрим.

Значит, товарищ —

занятно...

— Слушай, тот, кто зовет тебя, парень,

только кожей своею белый,

и его называют красным.

Понял?

— Это меняет дело.

ЭЛИСЕО ДИЕГО[173]

Родные

Перевод А. Гелескула

Сидят они прозрачными ночами,
и в памяти два смутных отголоска
всплывают и сливаются в молчанье —
старинный вальс и синяя матроска.

Придет отец, и медленны их речи,
и слово долго тянется за словом;
вздыхает вол, и будни человечьи
волнуют кровь пустынникам суровым.

Затрепетав ладонями крылато,
из темноты — коней крутые выи
ваяют руки, жилисты и грубы.

Но студит сердце смертная прохлада,
вступая в спор, — и слушают живые
своей судьбы полуночные трубы.

Надень рубашку старого покроя
Перевод А. Гелескула

Надень рубашку старого покроя,
свидетельницу шумного бывшего
и тихих бед под маскою покоя,
голубоватой, как бельмо слепого.

Надень тот самый галстук для свиданий,
которому так радовался прежде,
и шляпу не забудь, подобно давней
и никогда не сбывшейся надежде.

Ибо должны прийти, ты это знаешь,
должны прийти во что бы то ни стало,
должны прийти, должны сказать так много,

чтобы поверил — ты не умираешь.

Но все темней, и ночь уже настала.

И поздно ждать, пора тебе в дорогу.

Седьмая муза

Перевод П. Грушко

Едва погаснет свет, как фортепьяно
в живых потемках стихнувшего зала
начнет свой лживый серенький галоп,
ковбой прозрачный вынырнет туманно,
и женщина возникнет вполнакала,
едва касаясь полустертых троп.

Из тишины нечистый свет сочится,
чтобы, коснувшись белого экрана,
разбиться на миллионы кратких див,
которым длиться столько, сколько длится
тот, кто следит за ними неустанно,
чья жизнь — не очень долгий детектив.

Как их зовут, как их в ту пору звали,
когда их слава крепла год от года
в туманных буднях звучно стрекоча,
пока на ледяном экране в зале
не стали бледной маетой исхода
под вздохи безразличного луча?

Бак Джонсом звался он, да-да, Бак Джонсом —
тот, что вне имени почиет ныне,
когда жара полдневная пьяна
над стенами с расплывчатым анонсом
к неумирающей кинокартине
(когда бы знать, чем кончится она).

Титанам цвета грезилось едва ли,
что сможет холст ожить в жемчужной сказке,
где время будет времени равно, —
искусство безделушек в зазеркалье,
где запахи и звуки без раскраски
в мерцающее вставлены окно.

Во мгле, где зритель из седьмого ряда
сосет негаснущую сигарету,
бестелый, облаченный в пустоту,
весь сам в себе и сам себе отрада, —
свеченье, ткущее покров сюжету,
перетекает из тщеты в тщету.

Лишь вспыхнет свет и распахнутся двери —
мы полумрак миражный покидаем,
чтобы забыть в мгновение одно
химеру зала, растворясь в химере
иной, где мы с теченьем лет линияем,
как лента отшумевшего кино.

Вызов Карибскому морю

Перевод П. Грушко

Карибский глянец, синие накаты,
улыбчивая злоба и каприз.
Ты дремлешь на изнанке светлой карты,
где хитроумный трудится Улисс.

А здесь, в глубинах сонного провала,
не боги, не сирен игривых скоп —

твое расплывчатое покрывало
ткнут челноки зубастых Пенелоп.

Где райских островов великолепье —
земля легенд и грез?.. Карибский край,
мы здесь нашли марионеток, цепи,
стервятников: насмешку, а не рай!

Не благовестье, а былые свары,
не новь, а долгий обморок, не миф,
а ведьмовского шабаша кошмары
и черепа взамен заморских див.

В день ярых бурь над бездной бесноватой
ты полдень топишь в полуночной мгле,
весь свет сводя к заре подслеповатой,
весь мир сварив в клокочущем котле.

В твоих сквозных и стынувших глубинах
покой нерасторжимый отражен,
конечная ничейность дней пустынных,
слепое зарождение времен.

Погожий летний день с возней, и визгом,
и смехом детворы — простые дни

ее нехитрых игр на солнце низком
и в сказочно причудливой тени, —

как часто тащит пенный вал слепящий
туда, где смерти свет, где тишина,
где жизнь дрожит своей изнанкой спящей
в соленой пустоте глухого дна!..

Но дом наш здесь, хоть ты и смотришь зверем.
И вдаль глядим мы из-под рукава —
надеемся, шумим, упрямо верим
в росистые чудные острова!

СИНТИО ВИТИЕР[174]

«Ребенок не ласковый ирис...»

Перевод М. Самаева

Ребенок не ласковый ирис,
а знамя судьбы огневое,
не тонкая хрупкая наша,
а войско, готовое к бою.

Ребенок не трепетный лепет,

а гром над дрожанием окон,
не кроткий цветок на лужайке,
а тайну несущий поток он.

Ребенок не солнечный зайчик,
а пламенный омут полудня,
не кроткой надежды лампадка,
а яростный свет правосудья.

Не наше прощенье ребенок,
вкушающий сны в колыбели, —
вся наша вина роковая
растет в его крошечном теле.

Неутолимый

Перевод А. Гелескула

Выскальзывает шорох из листвы,
а тишина расплескивает ветер,
и вот листва, стихая, исчезает —
и, как король, на сцену входит сон.
И точно так же, вечно иссякая,
выскальзывает время из ладоней,
протянутых с любовью и мольбой
к полуночному рогу изобилья,
водовороту сумрака и света,

стеклянному презренью океана.

И этот вечный счет исчезновенья
на дне зрачка находит свой итог —
вновь начинать лишённое начала.

Тогда нас одиночество братает
и будит дом, выкрадывая письма.

Тогда софиты сумерек над нами
раскачивают облачное эхо.

И бесконечна смена декораций,
как путь нездешних, вечно уходящих...

Навечно уходящих...

Кто ты родом?

Кого ты вечно ищешь? Разве мало
тебе той жгучей радости, которой
и ангелам довольно? Разве мало
мгновения, чей слабый огонек
прощально золотит глазницы нищих?

Но птица памяти, как дерево росу,
свои сокровища роняет невесомо.

И говорит он: «Прочь, меня зовут,
я что-то позабыл, — и должен вспомнить,
я что-то потерял, его здесь нет,
и я уйду на голубом рассвете,
куда — и сам не знаю, только знаю,
что нет его и там — ни за углом,
ни в тополях за новым поворотом,
ни в сонме звезд, ни в нежности лампадок, —
его там нет, и не было нигде,
ни в чем... И только раз —
о, только раз! —

в глазах твоих, когда они закрылись».

Последний вечер

Перевод А. Гелескула

Заря вечерняя, холодная прозрачность,
разгадка жизни и загадка смерти,
родная, словно пламя очага,
и чистая, как снег воспоминаний,
сестра моя! Не твой ли сон нездешний
светился в именах моих надежд,
в листве моих дорог? Какой росой
ты веки мне кропила? Неужели
тебе нужны, как дерево огню,
мои порывы смутные, обломки
моих крушений, образы ночные,
рожденные задумчивым рисунком
танцующего пламени? Неужто
и эти крохи выпросило время,
которое уводит горизонт
и провожает нищий на коленях?
О сердцевина неба и души,
подруга сиротливая моя,
разгадка жизни, плод ненареченный!
Холодная и вещая заря,
вечерняя заря, снежинка смерти!..

Хосе Клементе Ороско. «Рабочий класс».

Фреска из национальной подготовительной школы в Мехико.

1922–1927 гг.

РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР[175]

Перевод П. Грушко

Мужчина и женщина

— Кто б это мог быть?

— Мужчина и женщина. Тирсо де Молина

Если мужчина и женщина проходят по улицам,
которые только им и видны,
по окраинным улицам,
впадающим в сумерки, в бриз, в океан тишины,
с древним или современным пейзажем,
больше похожим на музыку, чем на пейзаж,
если там, где ступают они, вырастают деревья
и глухая стена начинает сверкать, как витраж,
если лица им вслед поворачиваются,
словно замороженные звонкой трубой
или пестрым шествием фокусников,
окруженных толпой,
если при виде мужчины и женщины
кварталу горластому не до речей:
замирают качалки у дома,
и падают на мостовую связки ключей,
и одышки становятся вздохами,

то все это не оттого ль,
что любовь настолько редка, что увидеть ее —
словно почувствовать сладкую боль,
обмереть, задохнуться,
загрустить, не поверить глазам,
словно услышать наречье,
на котором когда-то разговаривал сам,
от которого
что-то такое осталось на кончике языка —
что-то на шепот похожее,
на шепоток, шорох замершего шепотка?..

Все те, кто женится в костюмах напрокат...

... они все утро были королями... Рембо

Все те, кто женится в костюмах напрокат,
забыв при этом обо всем на свете,
обычно забывают и о том,
что через два-три дня
весь этот ворох княжеских одежд,
сопутствующих болтовне вечерней
и плачу неизбежному невесты,
необходимо возвратить
как можно меньше мятым.

(Об этом буквами аршинными вещало
предупреждение на стене конторы.)

Зато взамен им будет что припомнить:

как ни крути — пять или шесть часов
они себя счастливыми считали,
вышагивая в первозданных платьях
и побледнев до белизны перчаток,
она —
медлительная, под надзором строгим,
а он —
донельзя радостный, хотя
так до конца и не ушили спину
и чуточку морщит плечо...

Смена

(1 января 1959 года)

Мы, пережившие друзей, —
кому обязаны мы жизнью?
Кто за меня погиб в застенке?
Кто пуле, метавшей в меня,
свое подставил сердце?
Над кем из павших я стою?
В моих костях чьи кости ноют?
Чьи выколотые глаза
глядят из-под моих бровей?
И чьей рукой сейчас пишу я
(ведь я пишу чужой рукой!)
вот эти рваные слова, —
я, переживший тех, кто умер?!

ФАЙЯД ХАМИС[176]

Перевод В. Столбова

Млечный путь

Млечный Путь осыпается с темно-лиловых небес на деревья.

На кошках бродячих, на желтых огнях, на вине и на хлебе
какая-то тайна лежит. Бесконечными кажутся улицы в светлом тумане.

Это ткет паутину из хлопьев гигантский паук.

Это ночь подняла паруса, как готовый к отплытью фрегат.

Это снега дыхание в сердце мое ворвалось,
отметая с души прах осенней опавшей листвы.

За ночь снег занесет закопченную землю Парижа,
и проснусь и увижу в окно потрясающую белизну.

Может, голубь иззябший прижметя крылами к стеклу.

Но зимы красоту я пойму только после того,
когда в белые бездны подушки моей
упадет твоих грубых волос серебристая тьма.

О потерянном кашне

Это было кашне цвета старинного золота,
оно сопровождало меня по жизни в течение трех лет,
трех лет нищеты и славы, любви и ненависти,
трех лет одиночества на улицах, темных и узких, как гроб,
пока струи дождя чертят зеленоватые линии на бронзовых лбах монументов.

Это кашне цвета старинного золота, купленное в тумане Генуи
(за пятьсот лир, при въезде в Европу).

Кашне — знамя свободы, поэзии знамя.

В мире стертых камней, где человек

тщетно и непрестанно

обновления алчет,

чтоб только не стариться,

чтоб только не умереть...

Это кашне цвета собаки с улицы Висконти.

(На этой улице вечно идет либо дождь, либо снег.)

Я только что потерял его, оно осталось там, позади,

а с ним и частица моей юности.

И это сегодня, когда сырость поселилась в стенах,

когда ночь проникает повсюду

и с нею холодная дрожь обнаженных ветвей.

За эту свободу

Мануэлю Наварро Луне

За эту свободу петь под проливным дождем

ты должен отдать все!

За ату свободу чувствовать, как к твоему плечу

прижалось твердое и теплое плечо народа,
ты должен отдать все!
За эту свободу раскрыться душой, как цветок на заре
громыхающих фабрик, и освещенных школ,
и хрустящей под плугом земли, и детей,
улыбающихся во сне,
ты должен отдать все!
Нет иного выхода, кроме свободы,
нет иного пути, кроме свободы,
нет иной родины, кроме свободы,
не будет стихов без оглушительной музыки свободы!
За эту свободу, повергающую в трепет
тех, кто извечно ее попирает
ради своей нищеты кичливой;
за эту свободу — вечную ночь для угнетателей
и бесповоротный рассвет для всего народа, который уже нельзя победить;
за эту свободу, которая осветила запавшие щеки,
босые ноги,
дырявые крыши
голодных детей;
за эту свободу, за юности царство;
за эту свободу,
прекрасную, как мир,
ты должен отдать все,
все, чего она потребует!
Все — даже тень свою!
Все — даже свою жизнь!

САЛЬВАДОР ДИАС МИРОН[177]

Sursum[178]

(Фрагмент)

Перевод В. Васильева

Как сладостны мечты! Их озаренья
страстям дают пьянящую безбрежность,
лугам — надежду вечного цветенья,
цветам — неувядающую нежность.
Вот появилась радуга, как будто
по мановенью мага. Половину
небес пересекла она и, круто
упав над берегом, впиталась в тину.
Вот истина, что пестует сознание,
бунтующее сердце пожирая.
Она как плод на дереве познания:
вкуси — и навсегда лишишься рая.
Бард хоть и держит бой с исчадьем ада
Химерой[179], что внушает небылицы,
но там, где вихри, рифы, тени, надо
к спасительной утопии стремиться.
На статую Мемнона[180] из Египта
подчас походит бард, но безутешный,
когда его надежда уж разбита,
он может стать зарей чужой надежды.

Что мир наш? Воплощение Тантала.

Об идеале попусту скорбит он,
Сизифов камень катит вверх устало,
а кровью Несса плащ его пропитан;^[181]
как жить, он от Вараввы^[182] ждет подсказки,
но и Христа он обожает тоже,
и, как пигмей, чей страх растет гигантски,
он у Прокруста корчится на ложе;
давно грехи бесчестят его имя,
и, чтоб их искупить, он брошен в пламя,
терзаемый страстями роковыми,
как Актеон^[183] безжалостными псами;
когда, то богохульствуя, то хныча,
оковами звенит он, но при этом
повертывается эгоистично
спиной к чужим страданиям и бедам,
поэт-провидец над кострищем дымным
сложить, пропеть обязан песнь такую,
что освятить могла бы горним гимном
не собственную скорбь, а мировую.

Свеча неугасимая, святая,
что на алтарь бросает свет неровный
и, жертвенно, неумолимо тая,
тьму разгоняет в сумрачной часовне;
диковинный сосуд, кадящий в храме,
сосуд, что богом мудро был загадан

как символ единенья с сыновьями,
как вечная любовь: огонь и ладан;
безумный Дон Кихот, один удало
взывающий сквозь громы к правосудью
с зазубренным мечом и без забрала,
с разодранной, кровоточащей грудью;
бессмертный Феникс, гордо над кострами
кружащаяся царственная птица,
которая сама ныряет в пламя,
чтоб молодой из пепла возродиться, —
вот что такое бард. А славить Граций,
когда звучит повсюду, словно эхо,
призыв «К оружию!» — значит распрощаться
со званием певца и человека.

.....

Туча

Перевод Ю. Петрова

Зачем скорбишь ты? В том нету горя,
что встала туча над краем моря,
как пелена.
Прохлада в небо приходит с нею,
свежеет воздух, мир зеленеет,
и даль ясна.

Забудь о страхе. Пусть ветер воеет,

и гром грохочет над головою,
и все горит;
не будет ярость игрой напрасной —
себе свободу рукою красной
народ творит!

В назидание другим

Перевод В. Васильева

Раскачиваясь мерно в бесстыдстве наготы,
ужасный плод — как символ возмездья рокового —
труп на суку высоком, трофеей петли пеньковой,
вываливал язык свой из мира немоты.

Чуб, как петуший гребень, гримаса тошноты
и боли, — в этом было так много шутовского.
Пред ним, неподалеку от моего гнедого,
мальчишки надрывали от смеха животы.

Казались наваждением и эшафот зеленый,
и узник с головою пристыженно склоненной.
Неугомонный ветер, зловоние стеля,

с поспешностью шальнойю носился вкруговую.
И выплывало солнце в долину голубую,

и песнею Тибулла манили вдаль поля.

МАНУЭЛЬ ГУТЬЕРРЕС НАГЕРА[184]

В тот час

Перевод В. Столбова

Я хочу умереть на просторе морском

в золотистом сиянье заката.

В час, когда нам агония кажется сном,

а душа, словно птица, крылата.

Пусть дежурит у смертной постели моей

только небо одно голубое.

Я услышать хочу не рыданья друзей,

а вскипающий грохот прибоя.

Из зеленой волны златотканую сеть

извлекает дневное светило...

Я хотел бы как солнечный луч умереть,

раствориться в волне белокрылой.

Ни досады, ни злобы в душе не тая,

я хотел бы смежить свои веки.

Чтоб шептала мне жизнь: «Я навеки твоя...» —
покидая меня навеки!

Мертвые волны

Перевод С. Мамонтова

В недоступных подземных глубинах,
в царстве холода, мрака и смерти,
бесконечным, безмолвным потоком
тихо катятся мертвые воды...

Иногда под скалистой броней
настигает их жало стальное, —
и огромным пушистым султаном
они в небо взлетают, сверкая;
иногда, словно черные змеи
извиваясь в подземных темницах,
в неустанном и вечном движении
они тщетно стремятся на волю...

К серебристо-зеркальному морю
устремляются реки земные,
свет зари и алмазные звезды
в изумрудных волнах отражая.
Берега их увиты цветами,
в тихих омутах прячутся нимфы,
и вода там поет свою песню,
орошая поля и долины.

В беломраморной чаше фонтана
своевольна вода и игрива,
как принцесса в дворцовых покоях,
рассыпает узор свои жемчужный —
то стрелою взвивается к небу, —
то, как веер прозрачный, струится,
то, опавши брильянтовой пылью,
засыпает, тихонько мурлыча...

Океана безбрежные волны
разбиваются с шумом о берег,
сотрясают гранитные скалы
и в кипенье вздымаются к тучам.
Там вода — королева вселенной,
разъяренная, дикая сила
грозно спорит с землею и небом
и стихиям свой вызов бросает.

Как несхожа с могучей царицей
та вода, что живет под землею,
та, что предана вечному мраку
в замогильных бесплодных глубинах!
Та вода, что не видела солнца,
что ни петь не умеет, ни плакать,
что родилась немой и безвестной,
что слепой остается рабыней!

Как она, никому не известны,
как она, погруженные в тени,
в закоулках души протекают
нашей внутренней жизни потоки.
Кем изведен наш ход прихотливый?
Кем измерено темное русло?
Много ям и подводных ловушек
ваши воды немые скрывают.

А открой вам дорогу на волю,
вы бы вышли столбом белопенным,
что, бурля и сверкая на солнце,
выше сосен и кедров взлетает!..
Но, увы, никогда, обреченным,
не увидеть вам света дневного...
И блуждают, как прежде, во мраке
нашей внутренней жизни потоки.

АМАДО НЕРВО[185]

Перевод И. Чижеговой

Расчесывала волосы принцесса...

Расчесывала волосы принцесса,

и волосы, как золото, сверкали,
расчесывая их, она смотрела
рассеянно сквозь стрельчатую арку.
Поля, поля тянулись перед замком
и пыльная дорога:
там проходили табором цыгане
и нищие, прося о подаянье,
и богомольцы,
от мест святых бредущие обратно
в Кастилию под жгучим летним солнцем,
покрытые морским песком и пылью.
Потом она смотрела неотрывно
на висельника,
что вчера повешен
был на зубце соседней красной башни
и там висел, кривясь окоченело,
отбрасывая тень свою на стену,
смешной и страшный.

Расчесывала волосы принцесса
и левою рукой их разбирала,
и на прекрасное лицо спускались
косой волною золотые пряди;
в другой руке она держала гребень
слоновой кости, матовый и гладкий.

Расчесывала волосы принцесса,
и волосы, как золото, сверкали,

и думала она: «Ах, если б в замок
веселый трубадур забрел однажды
в штанах зеленых, черном колпаке,
кафтани красном и со звонкой лютней...»

А по дороге
все шли, темнея профилями строгими
и древними, цыгане.

А на цепях
подъемного моста,
на крепостных камнях,
крутых уступах
дрожали ящерицы в судороге мерной,
как впавшие в экстаз факиры,
они, в своих кирасах изумрудных,
казались крошечными крокодилами...

Расчесывала волосы принцесса,
волной ложились золотые пряди...

Скользишь над пропастью моих скорбей...

Скользишь над пропастью моих скорбей
ты, словно луч луны над бездной вод,
мой дух, окостеневший от невзгод,
умащивая нежностью своей.

Ты в жизнь вступаешь, я прощаюсь с ней,
но, времени опровергая ход,
ты, словно луч луны над бездной вод,
скользишь над пропастью моих скорбей.

Так пусть горчит надежд отцветших плод
лишь на губах поэзии моей, —
раз хочет тот, кто создал небосвод,
чтоб ты над пропастью моих скорбей
прошла, как луч луны над бездной вод.

Автобиография

Автобиографическое? Я все написал — прочтите
стихи мои и поэмы. В жизни моей нет событий;
как у счастливых народов, как у матроны почтенной,
нет у меня истории: жил жизнью обыкновенной.
Милая незнакомка! Ответы мои будут кратки.

С юных лет я Искусству предался? без оглядки:
сдружился с гармонией, с рифмой — служанками Мусагета;
легко мог бы стать богатым, но выбрал жребий поэта.
— А после?
Любил и страдал я, знал радости и мученья.
— И много?
Вполне довольно, чтоб заслужить прощенье.

Осень пришла

Как я люблю покой

моих непраздных дней

и радости уединенья...

Веселой канарейки все сильней

заливистое пенье!

Как воздух свеж и густо напоен

древесным ароматом! Неба просинь

в окно мне льется... Буен и хмелен

снег тубероз, предчувствующих осень.

Уже посеребрила седина

вершины гор, и в серой дымке зыбкой

все тает. Но, беспечна и нежна,

природа с просветленною улыбкой

свой неизменный завершает круг.

И солнце, нас лучами обещающа

пригрев, бледнеет, словно старый друг

в минуту неизбежного прощанья.

Как прелесть запоздалая грустна
растений и цветов! Они устали.
«Я — осень, осень, — шепчет вам она, —
я преисполнена благой печали...

Сменила лето я. В соблазнах женской плоти
тебе не станет больше мниться рай...
Пришел черед таинственной работе
ума. Теперь молчи и размышляй».

Давайте любить!

Если не знает никто, почему улыбаемся мы,
и не знает никто, отчего мы рыдаем,
если не знает никто, зачем рождаемся мы,
и не знает никто, зачем умираем,
если мы движемся к бездне, где перестанем быть,
если ночь перед нами нема и безгласна...

Давайте, давайте, по крайней мере, любить!

Быть может, хоть это не будет напрасно.

Мы квиты

Жизнь! Я тебя прославляю, свой путь завершая земной:
ложных надежд не питал я, был труд не напрасен мой,

и муки, что ты посылала, были заслужены мной.

И вижу я после долгих лет трудов и борьбы,
что сам всегда я был зодчим своей нелегкой судьбы.

Ты чашу то с медом, то с желчью давала мне выпить до дна:
но разве душа не бывала то медом, то желчью полна?
А если сажал я розы — все розы цвели, как одна.

И пусть зима приходила, губя мой цветущий рай, —
но ты ведь не говорила, что вечным быть должен май!

Много ночей проводил я, судьбу за жестокость кляня.
Счастливых ночей не сулила ты мне, свою тайну храня...
Но были счастливые ночи — были и у меня!

Любил я и был любимым, — мне солнце дарила весна...
Жизнь! Мы квиты с тобою! Ты мне ничего не должна!

ХОСЕ ХУАН ТАБЛАДА[186]

Перевод В. Васильева

Оникс

Монах, ты смотришь, как мерцает кроткий
лампады свет в объятых темноты.
А в храм уж утро брезжит сквозь решетки.
Своих грехов ты рассыпаешь четки.
Я плакать бы хотел, как плачешь ты!
Святая вера дрогнула, как кроткий
лампады свет в смешенье темноты
и утра, что проникло сквозь решетки,
и жизнь течет, как траурные четки,
печальной слез, что проливаешь ты.

В тебе играет плотское желанье,
и высшей красотой ты влеком.
Ты как любовник в рвении слепом:
в тебе и страсть, и горечи дыханье,
что стать могло бы огненным дождем.

Во мне угасло плотское желанье,
и высшей красотой я не влеком.
Осталось в сердце спящем и слепом
лишь горечи тлетворное дыханье,
что стать могло бы огненным дождем.

О воин в дебрях памяти всеильной,
бессмертной славы радужный посыльный!

Ты пал от золотого остря,
покрыли лавры твой курган могильный.
О, так же умереть хотел бы я!

Храм памяти моей — во мгле всеильной
Презренного бесславия посыльный,
не жду я золотого остря.
В пустой груди царит лишь мрак могильный
но лавровых венков не вижу я.

Монах, любовник, воин! Где же ныне
тот след, что вел меня к моей святыне
и навсегда исчез в трясине лет?
Моя надежда где? Нет и в помине.
Ни бога, ни любви, ни стяга нет.

В стиле хокку

Ива

Плачет ива много лет.

Полуянтарь, полузолото,
полусвет.

Бамбук

Тонкий и длинный

бамбук разогнуться не может
под градом жемчужных дождинок.

Павлин

Разодетый в пух и прах,
павлин на птичнике плебейском
расхаживает, как монарх.

Соловей

Под горестным небом, в бреду,
всю ночь соловей прославляет
единственную звезду.

Луна

Ночь необъятна в море сна.
Как раковина облако
и как жемчужина луна.

Рыбы играют

Ударом солнечного золота
стекло залива вдребезги расколото.

Серая цапля

У цапли серы перья серым утром,
а в ясный день сверкают перламутром,
как мрамор, неподвижны ввечеру
и, как снежок, играют на ветру.

Разрезанный арбуз

Смехом напоенное
стозвонное
лета зрелого

красное чрево.

Бессонница

На черном шифере

выводит фосфорические цифры.

ЭНРИКЕ ГОНСАЛЕС МАРТИНЕС[187]

Перевод М. Квятковской

Ты шею лебедю-обманщику сверни...

Ты шею лебедю-обманщику сверни —
он белой нотой звучит в озерной сини;
ему, застывшему в законченности линий,
чужда душа вещей, природа не сродни.

Беги от косных форм, от стертых слов — они
не согласуются с укрытой в сердцевине
глубинной жизнью, и — люби сильнее отныне
живую жизнь, и ей свой трепет объясни.

Взгляни на мудрую сову — ей нет преграды,
когда, слетев с плеча воинственной Паллады,
неслышно на сосну спускается она.

Ей не дана краса лебяжья; но пытливый
зрачок ее, во мрак вперяясь молчаливый,
читает тайные ночные письма.

Сумей пройти над жизнью...

Сумей пройти над жизнью всех явлений
неспешно, отрешенно; и ясна
тебе предстанет снега белизна,
вен синева и роз огонь весенний.

Пусть все в твоей душе оставит след
и глубоко, и верно, и чеканно:
проникновенный монолог фонтана
и горестной звезды дрожащий свет.

Пусть арфою Эола над вершиной
ты, отданный ветрам на произвол,
струной бы чуткою воспроизвел
молитвенный напев и рык звериный.

Пусть будет чуждо сердцу твоему
все, что волнует человечесье стадо;
возделав душу, обретешь награду:

услышишь тишину, прозришь сквозь тьму.

Пусть ты себя возлюбишь в сердце строгом,
в нем заключив весь ад, все небеса,
и в сердце пусть глядят твои глаза,
чтоб необъятный мир постичь в немногом.

И пусть, оковы жизни разреша,
с собою взяв весь мир, тобой творимый,
услышишь ты свой стих неутомимый,
где бьется жизни легкая душа.

Дом при дороге

Дом при дороге — он во мне самом,
в открытом настежь сердце, — грустно в нем.
За эти годы в нем перебивало
необычайных странников немало,
но чаще пустовал он день за днем.

И видел он

в улыбках жизни и в ее блужданиях
один и тот же бесконечный сон —
о легких встречах, скорых расставаниях.

И редко, редко путник уходящий
для гостя нового оставит огонек,
в ночи горящий,
и, покидая дружеский порог,
напишет несколько приветных строк.

Нет — большинство гостей уходит в нетерпенье,
едва спугнет их преждевременный закат,
и в доме остается хлам и чад,
умерших песен неприкаянные тени
и стертый след на каменной ступени.

И потому, когда в ночи глубокой
неведомый мне путник одинокий
затеplit огонек, тогда —
— Кто там теперь? — гадаю я в тревоге.
То запоздалая любовь зашла с дороги,
иль загостилась старая беда?

Старая боль

Это старая боль воротилась незванно, нежданно...
Я свой сад подстригал и вино попивал из стакана.

Хлопотливые птицы вели надо мной разговор,
и наивная радость звенела, как праздничный хор;

и опавшие роз лепестки на газоне блестящем,
и политые грядки твердили о непреходящем

мирном пире; и странные звуки летали кругом —
словно кто-то за ближним кустом целовался тайком;

в деревенском замшелом фонтане, разбуженный эхом,
древний мраморный Пан заливался отеческим смехом...

Только старая боль подступила, как я ни хитрил,
и уселась со мной, и спросила: — А ты не забыл?..

И внезапно из глаз, отуманенных солнечным светом,
по щеке покатила слеза молчаливым ответом...

А болтливые птицы все так же вели разговор,
и звенела наивная радость, как праздничный хор, —

и ушла моя старая боль, как явилась, нежданно,
все по той же тропе, по которой прокралась незванно...

Подстригал я мой сад и вино попивал из стакана.

Воспоминания сада

Эта серая морось мир окутала снова,
от ненужного горя жизнь темна и тяжка.
У порога души постучала тоска,
как усталая странница в поисках крова.

И дыханье жасминов из сада ночного...
Бережит мою рану острый запах цветка.
Вспоминается вечер... Ползут облака,
моросит, и давно все к отъезду готово.

Острый запах жасмина... Дождя шепоток,
неумолчное в мокрой листве бормотанье,
бесконечных тягучих признаний поток...

И печаль воскрешает в туманном сознанье
чьи-то слезы, летящий по ветру платок
и корабль, отплывающий в скорбном молчанье.

Смерть от любви

Любовь меня живит, и убивает,
и ранит сердце, и светлит сознание,
сжигает в фиолетовом сиянии,
и вновь мою судьбу переплавляет;

велит упасть и сильным поднимает;
то стебель я, то дуб под этой дланью;
дает мне песнь, что разум отнимает,
и кротко учит постигать молчанье.

Не уходи — пусть длится наважденье,
дай мне твоих тревог и наслажденья,
не исчезай, любовь, — еще не время!

Одну тебя я призову с тоской,
навек покидая жизни бремя, —
и пусть умру, сражен твоей рукой!

РАМОН ЛОПЕС ВЕЛАРДЕ[188]

Злополучное возвращение

Перевод Ю. Петрова

Лучше было бы сюда не возвращаться,
в рай поверженный, немой, лишенный речи,
исковерканный жестокостью картечи.

Здесь и однорукие деревья,
купол круглый обступив сановной свитой,
пропускают сквозь себя упреки башни,
трепеща листвою, бурей битой.

Здесь ружейная пальба запечатлела
на домах всей этой призрачной деревни,
начертила на известке белой
черные и гибельные знаки,
так что блудный сын, домой вернувшись,
потеснив полночный мрак злодейства,
здесь прочтет при лампе закоптелой,
что погибло все, что было прежде
и что больше места нет надежде.

В дряхлое затворничество двери
ливень лупит из прогнившей тучи,
и, кривясь, поет замок скрипучий,
и два гипсовых, два чистых медальона,
чуждых миру и мирским заботам,
словно наркоманы, смотрят сонно

друг на друга и бормочут: «Что там?»

Я пройду отвыкшими ногами
в патио, похолодев от дрожи
ожиданья; занят там колодец
сам собою; там ведро из кожи,
чьи непререкаемые капли
на припев безрадостный похожи.

Если солнце, животворное, хмельное,
жжет неистово истоки христианства,
для мечты отысканные мною;
если ношу муравей тащить не в силах;
если нежный стон голубок сизокрылых,
в паутине заблудившись, длится
некончающейся жалобой бессильной —
то любви и всепрощенья жажда, —
это лишь кольцо в плите могильной.

Новых ласточек гончарная работа —
поколенья нового стремленье
строить гнезда — жажда обновленья;
вечера монашеские, зори,
а под ними, под опалом небосвода, —
плач ребяческий коровьего приплода,
плач по вымени тугому, плач теленка
по жующей фараоновой корове,

детский плач, пугающий ребенка;
колокольня с обновленным звоном;
алтари, покрытые резьбою,
и любовь, открытая влюбленным
парам с одинаковой судьбою;
девушек помолвки — скромных, свежих,
как кочан капусты, плотно сбитых,
в свете фонарей, как на подмостках,
руку подающих у калиток;
барышня, томящаяся где-то
за каким-то старым фортепьяно,
из какой-то арии рулада;
силуэт жандарма с сигаретой...
...И тоска поэта-ретрограда.

АЛЬФОНСО РЕЙЕС[189]

Перевод А. Косс

Поэтическое искусство

1

Пленительность несмелая строки:
цветок, стыдливо сжавший лепестки.

2

Сомкнется он, как чашечка вьюнка,
едва к нему притронется рука.

3

— Рука Орфея[190], но еще властней:

в нее не веря, верю только ей,

4

что Эвридику[191] выведет на свет

из царства вечных снов, где жизни нет.

Угроза

Мака цветок багряный,

любовь твоя горше обмана.

Так жарки твои румяна,

сурьма твоя так густа,

и резок твой запах пряный,

и солнца просят уста!

Мака цветок багряный.

Я помню, была одна —

во всем на тебя похожа:

и чаша ресниц черна,

и лживо алеет кожа...

Мака цветок багряный.

Я помню, была одна...

(Боюсь я тебя касаться,
боюсь я дождаться дня,
когда лепестки, дразня,
в женский лик обратятся.)

Недобрый знак

I

Когда услышишь ты, что я старею,
что устаю я от пера и книг,
что философских выкладок язык
мне с каждым днем становится темнее;

когда тебе расскажут, что идеи
мне кажутся игрушками на миг,
что жить на ренту я давно привык
и счастлив синекурою своею —

ты им напомни, что весны расцвет
подарит молодую зелень саду —
она затмит плоды минувших лет;

но если ты услышишь, что в ответ
на вызов алых уст я прячу взгляды,
тогда считай, что мне спасенья нет.

II

Как садовод, смиренно, терпеливо
вершу я повседневную страду
и каждый миг свой отдаю труду,
распределяя время бережливо.

Убытка не боюсь, не жду наживы,
а потому им счета не веду
и семя высеваю в борозду
без промедленья, но неторопливо.

Покуда час последний не пробьет,
я поглощен заботою земною:
по осени снимать я должен плод,

сажать, полоть и прививать весною;
когда ж из рук мотыга упадет,
узнаете, что смерть пришла за мною.

МАНУЭЛЬ МАПЛЕС АРСЕ[192]

Революция

Перевод А. Эйснера

О ветер, ты предвестник этого запретного часа.

О поблекшие эпохи,
переживающие последнюю осень.

Предчувствуя конец, простились горизонты
со стаями птиц перелетных,
и лепестки цветов, похожие на клавиши, опали.

Ветер времени рвет космическую материю,

и эта музыка
разносится как пропаганда по балконам,
скрипит несмазанными флюгерами
и расцветает в окрестных пейзажах.

О ветер, вдохновляющий
железную диктатуру,
которая сотрясает государство!

О толпы людей,
сияющих,
и поющих,
и возносящихся сердцем!

Закат загорается бунтом кровавым

и озаряет предместья,
взлохмаченные деревья
подаяния просят под окнами,
заводы воспламенились

багровым вечерним пожаром,
а в прозрачном небе
самолеты
выписывают сложные фигуры.
Шумящие шелком знамена
повторяют пролетарские призывы
и разносят их по городам.

На романтическом митинге перед отъездом
и ты и я плачем,
но я коплю надежду на встречу.
Разбитая станция
остается в твоих руках,
и обморок твой на перроне —
высочайшая нота прощанья.
Я целую твою фотографию в поезде,
испуганно убегающем в потемки,
пока сухие листья опадают на наши с тобой дороги.

Скоро поезд поднимется в горы.
Как великолепна
география Мексики!

Виды ее с высоты самолета,
невыразимые вершины политической экономии —
густой дым фабрик,
теряющийся в тумане
времени,
и эклектический гомон
стихийных восстаний.

Всю ночь напролет

солдаты
изливают душу
в песнях.

Но вражеская артиллерия
выслеживает нас
и не щадит красот природы.

Тяжелые громыхания
вселяют в нас внутренний трепет,
и рушится прелесть горных панорам.

Воинские составы

идут во все четыре стороны света.

Боевое крещение —
это неразбериха,
в которой мужчины
азартно играют в карты,
а также в самопожертвование.

О, этот военный поезд,
мы в нем и пели и делали Революцию.

Никогда прежде я не был ближе к смерти.
Однако вечер я провожу с тобою в негаснущем
свете воспоминаний,
но неожиданно входят другие,
заглушая и наше понимание событий,
и сомнительные картинки на полях гороскопа.
А там, далеко,
беременные женщины
остались молиться
за сражающихся
каменному Иисусу.
По окончании бойни
ветер вторично
рвет в клочья
кружево сновидений...

Зарю моих стихов я отрясаю
на сопротивление вражеских сердец,
и хладное дыхание столетий
ласкает мой горячий лоб,
пока в величественное забвенье
уходят дорогие имена.

Хосе Клементе Ороско «Окоп».

Роспись в национальной подготовительной школе в Мехико.

1922–1927 гг.

КАРЛОС ПЕЛЬИСЕР[193]

Перевод Б. Дубина

Желания

Зачем ты мне руки, тропик,

наполнил красками дня?

Камня коснуться — станет

чашей, полной огня.

Дальних краев затишье в час, когда ляжет мгла,

я взбудоражу эхом радужного стекла.

Дай хоть на миг иную

долю — не зной и крик!

Дай поменять широты

сердца — хотя б на миг,

с сумерками смешаться в осиротелом доме,

замереть на балконе, что обветшал и тих,

спрятаться с головою в складках накидки тонкой,

нежной рукой коснуться долгих волос твоих,

пенной взлететь над мысом кроткого отреченья

и воплотить раздумье только в тончайший штрих.

О хоть на миг разжалуй

из вестовых огня!

Зачем ты мне руки, тропик,

наполнил красками дня!

Боливару

Не оставляй народ свой, благослови и помилуй! —
волей твоей в пустыне зазеленеет лавр.
Тот, кто затмил вовеки славу земную, может
соединить столетья, милость нам ниспослав.

Силу свою вдохни в нас и воскреси денницу
что занималась в Андах, край озаряя наш.
Взвей свой клинок лучистый над беспросветной тучей
и милосердным миром наше чело помажь.

Если твой след заветный спутают ложь и злоба
нас уводя от солнца с торных твоих путей, —
скульптор отчизны нашей, ныне восстав из гроба,

собственною рукою в память векам отлей
сердце твоих республик, ждущих сегодня, чтобы
снова явилось миру чудо любви твоей.

ХОСЕ ГОРОСТИСА[194]

Перевод В. Васильева

Песни в лодках

Кто мне купит апельсин?

Кто мне купит в утешенье
сочный, яркий, как кармин,
в утешенье кто мне купит
в форме сердца апельсин?

Жжет мне раны соль морская,
в сердце боль.

Соль морская в моих жилах,
на губах морская соль.

Кто свои позволит губы
целовать?

Белый колос поцелуя,
не могу тебя сорвать.

Кто моей напьется крови
допьяна?

Я не ведаю, застыла
иль еще течет она.

Если спросу нет на сердце, —
горе мне! —

значит, сердце затерялось,
словно тучка в вышине.

Затерялось, словно лодка
посреди морских пучин.
Кто мне купит в утешенье
яркий сочный апельсин?

Радуетя море

Я ходил дорогами тернистыми
за банановыми листьями.
Радуетя море.

Я ходил, куда манил
повелитель всех ветрил.
Радуетя море.

Ведь луна (а ей пятнадцать лет всего-то) —
серебро, кармин и позолота.
Радуетя море.

Ведь луна над морем, радости полна,
ароматом тубероз напоена.
Радуетя море.

Семь бутонов распустились у дороги

и моей невесте кланяются в ноги.

Радуется море.

Семь бутонов, а дыхание одно,

голубиною сверкает белизной.

Радуется море.

Жизнь, сорву я эти белые бутоны,

что возлюбленной моей кладут поклоны.

Радуется море.

Жизнь, любовь моя чиста и молода,

очернить ее не дам я никогда.

Радуется море.

САЛЬВАДОР НОВО[195]

Перевод В. Столбова

История

«Пусть умрут гачупины[196]!»

Отец у меня гачупин.

И учитель глядит в мою сторону злыми глазами.

Нынче он говорит о войне,

о жестоких и подлых испанцах,
они убивали индейцев.
Наш учитель, он тоже индеец.
И мальчишки кричат:
«Пусть умрут!
Пусть умрут гачупины!»
Но я не кричу.
Мне противно.
Пусть умрут гачупины!»
Но я не кричу.
Мне противно.
Какие они дураки!
Да, история так говорит.
Но при чем тут отец
или я?

Эпифания

В воскресенье

Эпифания не вернулась домой.
Я слышал, говорили соседки,
что какой-то чужой мужчина
увел с собой Эпифанию.
И когда я спросил у служанок:
а куда он ее увел,
мне сказали — в какую-то комнату.
Но никто не мог мне ответить,
где она, эта комната.

Мне она представлялась пустой и холодной;
сырая земля вместо пола;
окон нет, только двери на улицу.

Никого в ней не мог я увидеть,
хотя много думал о ней.

Однажды вечером

Эпифания вернулась домой.

Я бежал за нею по саду
и просил рассказать мне,
кто был он, тот мужчина,
и что он ей сделал,
и почему пустой была комната,
как коробка, оставшаяся без подарка.

Эпифания смеялась и убегала,
а потом распахнула калитку
и впустила улицу в сад.

Любовь

Любить — это значит — когда ты со мной,
Робко молчать и ни вздохом не выдать себя,
А когда ты уйдешь, вспоминать твой голос,
И в ладонях хранить теплоту твоих рук.

Любить — это значит — тебя ожидать,
Будто ты неизбежно придешь, как закат,
Ни раньше, ни позже. И мы будем одни,

В мире игрушек и сказок,
На высохшей за день земле.

Любить — это значит — когда тебя нет,
Слышать в дыхании ветра запах твоих волос
И глаз не сводить со звезды, на которую ты ушла,
Когда ворота ночи захлопнулись за тобой.

ЭФРАИН УЭРТА[197]

Проспект Хуареса
Перевод Ю. Петрова

Ты все теряешь: дни, любовь к отчизне,
страсть к женщине любимой, сон и силы,
и волю к жизни, и права на нежность,
и, обезумев, ты идешь, а рядом —
желанья, мир, огни — и ничего-то
не знаешь ты — ведь сказано однажды,
что людям ничего не должно знать.

Глухая поступь голода — как ругань,
как ранящие чуткий слух удары
волны порока мутной, как холодный
блеск мраморных надгробий, и как веток

скорбь обнаженная, как дрожь готовой
замерзнуть и оледенеть воды.

Есть в воздухе река — хрусталь и пламя,
есть море голосов и вопль дикарства,
есть ранящие мысли и предметы,
есть краткий шум рассвета, и предсмертный
крик ночи этой вот, и новой ночи,
и всех ночей вселенной, увлажненных
испаринию горьких, скорбных ртов.

Идешь ты, как по роще кипарисов,
по острым, удлинённым теням страха,
впритык к подножью смерти. И не знаешь
ты ни о чем — ведь сказано однажды,
что ничего никто не должен знать
и говорить — ведь все, что скажут, — это
мольба, прощанье, лозунг и приказ.

Не замечай сочувственного взгляда,
по дебрям осторожно пробирайся,
ты — не хозяин неба над тобою,
ты по-испански говоришь — и видишь
угрозу голубых и чуждых глаз.

Ты — карлик рядом с родом великанов,

сраженный страхом дня, и скорбью ночи,
и фальшью душ — и только падший ангел
поэзии, раскрыв, раскинув крылья,
тебя сумеет, может быть, спасти.

Идешь навстречу мукам, чтоб пронзили
тебя шипами родины погибшей,
чтоб задушили гомоном отелей,
где все гниет в вонючем море виски.

Идешь в ничто, забытый целым миром,
и ты не видишь мрамор Хуареса
и лавры, опозоренные смехом
мошенников различного калибра;
преследуют тебя, идут по следу
азалии из штата Алабама,
магнолии с горячей Миссисипи,
спешат политиканы-пеликаны
и розы из садов Луизианы,
ромашки, незабудки и фиалки
из Техаса, Миссури, Иллинойса...
И миллионы Библий, что похожи
на миллионы мертвых голубей...

Ты смотришь на деревья и мечтаешь
о непорочности вещей любимых,
о чистой доброте старинных улиц

с их смехом древним, с молнией, упавшей
на кожу, позлащенную любовью
смеющегося, ласкового солнца...
Друзей ты видишь, а друзья похожи
на тень друзей, на тень герани, розы,
на лавра тень, бескровную, как траур.

Что за страна, в которой жить пришлось нам?

Где волшебство спокойствия, где чудо
той тишины, где все любви подвластно?
Нас столько миллионов — неужели
нам по-английски надо говорить?
Сам спросишь — сам ответа избегаешь,
как тело — раскаленного гвоздя...
Ведь все горит как будто, все пылает,
а между тем, все — прах, все — куча пепла:
в походке девушек, гармонии лишенной,
надушенного тлена клокотанье,
плач по судьбе на юношеских лицах
и вялая игра с недалей смертию
в померкнувших глазах у пожилых.

Все будто бы пылает, словно крепость,
огнем и кровью взятая. И сердце
пейзажем этим пахнет. Пахнет воздух
иссохшими телами мертвых мыслей.
Поэты пахнут мрамором и бронзой.
И медленно все это догорает,

как на большом кладбищенском костре.

Все словно умирает постепенно.

Все — пыль, сто раз истертая ногами.

Отчизна — пыль, хотя она должна быть
живою плотью... Нет ее! Из сердца
ее изъяли, вырвали, а сердце
опустошенное — под каблуком.

Бежать, бежать от буйволов свирепых,
все растоптавших, от всесильной злобы
тельца златого, карлика-тирана,
республики, все взявшей, все купившей, —
озера, электричество и банки;
бессмысленно уже взывать к Линкольну
и незачем глядеть на Хуареса —
топор врага обоих обезглавил,
нет уваженья ни к какому миру,
нет уваженья ни к какой любви.

Нет уваженья к воздуху, которым
мы дышим все, ни к женщине любимой,
ни даже к сочиненному тобою
стихотворенью... Это оттого, что
нет милосердия к родине, в которой
течет страдальцев праведная кровь.

Да, братья, все, все кажется погибшим,
покуда в нашем Мехико — простите,
в Мехико-Сити! — дикари надменно
шагают по проспекту Хуареса:
туристы — знатоки киноискусства,
вздохатели об «унесенных ветром»,
и гангстеры-убийцы, и «Мисс Т?хас»,
миллионерши-психопатки (сотни
разводов за плечами!) — все поганят
и топчут красоту и пожирают
«Молитву Гетесберга», и страницы
Уитмена, и чаплинские фильмы,
и паспорт Поля Робсона, а после
тебя бросают тут же, на асфальте,
с разорванным английской речью слухом,
с открыткой Чапультеп?ка, смятой
в ненужный и беспомощный комок...

АЛИ ЧУМАСЕРО[198]

Стихи о корнях любви

Перевод П. Грушко

Когда еще ветер не был опрокинутым морем
и ночь не облачилась в свое траурное одеянье,
а звезды и луна еще не утвердили на небе

своих сияющих тел...

Еще до того, как свет, темнота и горы
увидели, как вздымаются их купола,
раньше, чем что-либо начало плыть в воздухе,
чем что-либо началось...

Когда еще не родилась надежда, и ангелы
не блуждали по своей белой тверди,
когда воды еще не было и в намереньях бога,
еще до того, прежде...

Когда еще не было на лугах цветов,
ибо лугов еще не было, а цветов тем более,
когда небо не было синим, а муравьи рыжими, —
уже тогда были ты и я.

ОКТАВИО ПАС[199]

Перевод А. Гелескула

Ветер

Листья запели,
яблоки пляшут, такт отбивая;

кружится роза,
свежего бриза роза живая.

Двинулись тучи,
рябью погнало воздух бездонный,
круг горизонта
вслед завертелся, как заведенный.

Нет горизонта;
кружатся маки, бриз обжигая;
девушка в пене
гребнем буруна взмыла нагая.

Я исчезаю
светом и пеной, телом без плоти;
мир — это ветер,
это лишь воздух на перелете.

Два тела

Встретятся два тела,
и порой — как волны
в океане ночи.

Встретятся два тела,
и порой — как корни,
сросшиеся ночью.

Но порой два тела —
два холодных камня,
и вся ночь — пустыня.

По порой два тела —
два ножа холодных,
и вся ночь — их отблеск.

И порой два тела —
две звезды падучих
в опустелом небе.

Ветка

На самом верху, на туго
натянутой нитке звука,
дрожит и звенит пичуга.

Дрожаньем стрелы крылатой
она расщепила ветку —

и дрожь отдалась руладой.

Сосновой щепой смолистой
сгорает она, живая,
в пылу золотого свиста.

Напрасно взгляд поднимаю:
звенит над засохшей веткой
одна тишина немая.

Спираль

Махровой розой расцветая,
в ночи взрывается петарда —
взлетает роза золотая.

И, как петарда, в яркой пене
взлетают волны, рассыпаясь, —
из-под крыла вскипает пенье.

И, словно роз тугие слитки,
петардой свернуто движение,
окаменелое в улитке.

Витки спирали в напряженье
растут и ширятся повсюду —
не унимается движенье.

Вчера улитка — сгусток тени,
а завтра — свет, волна и ветер,
и эхом — раковина в пене.

Ночная вода

Ночь конского зрачка, тревожного в ночи,
ночь влажного зрачка озерной глубины —
в твоих зрачках тревожного коня,
в твоих зрачках таинственной воды.

Глаза воды ночной,
глаза ночного дна,
глаза речного сна.

Сиротство с тишиной
бредут, как два зверька, гонимые луной,
и пьют из этих глаз,
и пьют из этих вод.

Откроешь ты глаза —

и открывает ночь замшелые врата
в заветную страну неведомой воды,
ключи которой бьют из сердца темноты.

Закроешь ты глаза —

и тихая река вливается в тебя,
и вновь ты для меня темна и далека:
то омывает ночь края твоей души.

Улица

На бесконечной улице ни звука.

Я спотыкаюсь, падаю впотьмах,
и поднимаюсь, и топчу вслепую
сухие листья и немые камни,
и кто-то за спиной их топчет тоже:
замру — замрет и он, прибавлю шаг —
он тоже. Озираюсь — ни души.

Вокруг темно и выхода не видно,
нет никого, и я кружу, кружу,
а закоулки вновь меня выводят
на улицу, где я крадусь за кем-то,
кто падает впотьмах и, поднимаясь,
глядит в меня и шепчет: — Ни души...

Оборванная элегия

Я снова вспоминаю наших мертвых.

Той первой смерти нам не позабыть,
хотя такой была она мгновенной,
что не дала ни лечь, ни причаститься.

Я слышу неуверенную палку,
и шум переводимого дыханья,
и звук шагов. Умерший на пороге.

Недолог путь от лестницы до смерти,
и времени едва хватает сесть,
поднять лицо, найти глазами стрелки
и удержать сознанием: полвосьмого.

И до сих пор я слышу, как часы
упрямо отбивают шаг на месте,
не уходя и вспять не возвращаясь.

Я снова вспоминаю наших мертвых.

И ту, что умирала ночь за ночью,
и медленная смерть ее была
как долгое прощание, как поезд,
который все не может отойти.

Все ловят губы ниточку дыханья,
все ширятся зрачки, о чем-то просят,
и, с лампы на меня перебегая,

глаза ее впиваются в мои
так жадно, словно душат их в объятьях,
но взгляд мой, задыхаясь, ускользает,
и прячется, и с берега следит,
как тонет тело, тонет и теряет
соломинку спасительного взгляда.

Куда она звала меня? С собою?
Наверно, смерть вдвоем — уже не смерть.
Наверно, оттого и умираем,
что с нами умереть никто не хочет,
в глаза нам заглянуть никто не может.

Я снова вспоминаю наших мертвых.
Того, кто вышел из дому и канул,
и неизвестно, где он заблудился,
куда забрел, в какую тишину.
Но за столом семенным, вечерами,
бесцветные пустоты наших пауз
или порой оборванная фраза,
повисшая в молчанье паутинном,
распахивают двери — перед ним.
Слышны шаги. Идет. Остановился...
И кто-нибудь из нас тогда встает
и двери запирает понадежней.
Но он упрям, он долго протестует.
Он прячется среди зевков и стульев,
в пустых углах и складках занавесок.

Ведь он не мертв, он просто не вернулся.

И протестует, как ни запирай.

Я снова вспоминаю наших мертвых.

Их лица, повторенные моим,
безглазые и пристальные взгляды, —
не прячется ли в них моя разгадка,
кровавый бог, который движет сердцем,
и ледяной, по капле пьющий кровь?
Их тишиной зеркально отраженный,
я — их смертей живое продолженье,
и — что скрывать — я их последний крах.

Я снова вспоминаю наших мертвых.

Порочный круг мышления, все тот же
и завершенный там, откуда начат.
Поток слюны, который станет пылью,
неискренние губы, ложь за ложью,
полынный привкус мира, безучастье,
пустых зеркал абстрактные пучины,
все то, что в час кончины остается
и ждет, и все, что кануло навеки, —
все разом поднимается во мне
и хочет жить, и просит корку хлеба
глоток воды, в которой отказали.
Но нет воды, все высохло до дна.
Изглодан хлеб, изжевана любовь,
взамен нее невидимые прутья

и в клетке дрессированная сучка
на пару с рукоблудом павианом,
а что пожрал — тебя же пожирает,
и в жертве обретаешь палача.
Растоптанные дни, газетный мусор
угар ночей, раскупоренных наспех
и галстук поутру скользит удавкой:
«Не злобься, клоп, ползи, встречай зарю...»

Пустынен мир, и нет конца пустыне
и рай закрыт, и ни души в аду.

ХАЙМЕ САБИНЕС[200]

Перевод И. Копостинской

Медлительное, скорбное животное

Медлительное, скорбное животное...

Таким живу. И был всегда такой.

Скорбный с тех самых пор, когда схлестнулись
ветер, пыль и вода.

Я с незапамятных времен протягиваю руку богу.

Скорбный, как очертанья этих скорбных гор
в ночи проклятого и злого одиночества,
тяжелого, как забытье.

Оно подкатывает к горлу,

а струпья тишины
сжимают, душат и снова отпускают.
Скорбный, как этот голос скорбный,
как будто он возник еще задолго до того,
как зародилась жизнь.
Который постепенно постигаем...
Скорбный сам по себе, как эта ночь
и до меня и после.
А плоть моя точь-в-точь, как мой язык
с далеких, незапамятных времен
предчувствует, пророчит.
Медлительный из глубины веков, покрытых мглой —
Далекий, дальний, незнакомый голос —
оттуда, где лишь покой небытия немой.
Медлительное, скорбное животное.
Таким живу. И был всегда такой.

Ты горе тащишь на плечах

Ты горе тащишь на плечах.

В твоих карманах одна печаль,
а под ногтями горькая земля могил,
и кровоточат ссадины.

Запавшие глаза обведены глубокой тенью —
ее как будто впрыскивает ночь, впиваясь
бесчисленными иглами.

У тебя сердце выздоравливающего —
беспомощное, неуклюжее, как новорожденный,

и нежное, как яблоко.

Идешь по улицам, присматриваясь, наблюдая...

И ширится улыбка на губах.

Ты чувствуешь себя, как первый житель на земле.

Ведь ты воскрес. И для тебя вся эта улица, дома,
деревья, дымка...

И солнце, что вонзается и жжет,
и зябкий вечер, наводящий на мысли
о постели теплой и женщине.

И ночь, которая любовно обнимает
тебя и книгу у тебя в руках.

И утро дымное перед работой.

Грохочущие глотки шумных фабрик.

И распорядок канцелярий — тоскливый, как несварение
желудка. И влажность унавоженных конюшен,
витрины бакалейных лавок,
столпотворенье разноцветных тентов,
приправленная борной кислотой вода контор
и ежедневная карболка мессы.

И мудрость мусорщиков грустная. Все для тебя.

Весь этот город любви, соблазнов, преступлений
и упорядоченных сплошь безумств.

И острая потребность кого-то отыскать,
и одиночество в вечерней толчее...

Библиотеки и бордели,
кино, театры, стадионы,
арены, танцплощадки,

асфальт пустынный на рассвете, — все для тебя.

И эти люди, и призраки людей.

И те, вернувшиеся к жизни, и эти тени —

они едят, передвигаются и веселятся,
страдают, наслаждаются,
болеют, умирают везде, где ты бываешь...
И для тебя все эти сбившиеся в кучу руки,
чтоб ты пожал их своими культиями — руками,
которые, конечно, тут же вырастут...
Тебе дано все это, чтобы и ты себя отдал
и чтобы ты оставил свое изношенное тело
там, где лежишь ничком в пыли и плачешь.
И чтобы ты поднялся в твои тридцать три года,
и чтобы ты играл с детьми своими и с народом
во имя отца и святого духа,
во имя горького сиротства и раненого духа,
во имя славы той игры, в которую играет человек.

НИКАРАГУА

ХОСЕ КОРОНЕЛЬ УРТЕЧО[201]

Маленькая ода дядюшке Койоту[202]

Перевод В. Васильева

Среди животных дядюшка Койот

не кто иной, как Дон Кихот.

Как одинокий пес, он не встречал приветов,
сын беззащитности, не забегал в стада,
его чужая трогала беда,
он жил прекрасною мечтою, но за это
издевки и пинки терпел всегда.

Теперь он постоянный странник
на тропах сказок самых странных.
До фруктов он охотник был большой,
притом не признавал в садах калиток,
шкафов закрытых
и собственности, как на грех, чужой.
Глотая запахи из деревенских кухонь,
он угодил в капкан,
и, жертва хитрости скупых крестьян,
в кругу бранчливых злых старух он
чуть не скончался, страхом обуян.

Так Дон Кихотишкою кухонным прозвали
Кайота, рыцаря печали.
Верша неправый суд,
все были с ним безжалостны и грубы,
ему спалили зад, повыбивали зубы,
и в довершение бед он прыгнул в пруд,
в котором лунное увидел отраженье
и порешил, что это сыр.

Тут кончились его мученья:
Койот земной покинул мир
и поселился в мире сказки.

Был наделен такою же судьбой
китайский
поэт Ли Бо.

ПАБЛО АНТОНИО КУАДРА[203]

Перевод В. Столбова

Жарким августом[204]

Хороводом ангелов, написанных фра Анжелико[205],

показались мне эти птички, танцевавшие самозабвенно
вокруг мертвого тела змеи.

Они танцевали, как-будто со смертью чудовища в мире окончилось зло.

Также теперь и народ машет, ликуя, цветами и флагами,
веря, что только один человек был причиной всех его бед.

Люди танцуют под солнцем, на улицах.

А в мрачных расселинах чьих-то сердец
молча свивает гнездо новая тирания.

Надпись на придорожном камне,

сделанная во время первого извержения

Мы слезы прольем на следы бежавших из Акуалинка.

Здесь начался наш исход.

Здесь мы услышали чудища голос глухой.

Отсюда смотрели с деревьев на безголового великана
с горбатой спиной, из горбатой груди извергавшего огненный гнев.

Мы родину нашу покинем и родичей наших оставим,
ибо бесплодия бог этой землей завладел.

Мы увидали воочию гиганта, лишённого разума,
слышали рев страшной Силы, лишённой лица.

Мы не хотим оставаться под властью стихии слепой!

Мы разобьем наши мельницы,

наши тинахи[206]

и наши комали[207],

чтоб облегчить себе дальний нерадостный путь.

Там на земле и на пепле останутся наши следы.

Девушки

Девушки архипелага[208]

гребут, возвращаясь с мессы,

плывут по воде, как гирлянды

ярких, веселых цветов.

Крикни им с берега: «Девушки!

Девушки! До свидания!»

И в воздух тотчас взлетят
вспугнутой птичьей стаей
чистые их голоса.

Том?с

Где ты в лодку их посадил?
Отвечай, Томас! Говори!
На каком островке укрыл?
Сучья кровь, Томас! Говори!
Где оружие им раздобыл?
Хочешь жить, Томас? Говори!

Время тихо ползет в ночи,
а Томас все молчит
и молчит.
Рассвело.
В окнах свет погас.
Навсегда замолчал Томас.

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ[209]

Час 0
(Фрагменты)

Перевод Инны Тыняновой

Сторож! Сколько ночи?

Сторож! Сколько ночи? Исая, 21.И

Тропические ночи Центральной Америки:

пики вулканов и глади лагун под луною,
огни президентских дворцов, и казармы,
и резкий удар колокольный,
означающий «дверь на запор до рассвета!».

...«Сколько раз я, куря сигарету, обрекал Человека на смерть, —
признавался Убико[210], диктатор, куря сигарету...

Дворца розоватая груда. Убико болен — простуда.

А снаружи бомбы толпу разогнали. Ночь в Гватемале...

Сан-Сальвадор, погруженный во тьму и шпионство.

Шепотки за дверями семейных домов и дешевых отелей,
крик и стон в полицейских участках. Горе. Ночь в Сальвадоре...

... Со звоном разбилось стекло во дворце президента —

Берегись, Кари?ас[211]! Народ засыпает тебя камнями!

Полиция. Выстрелы. Стоны. Несчастье. Ночь в Гондурасе...

...Пулеметы целятся в улицы из окон дворца шоколадно-бисквитного,
каска стальные обходят дозором город Манагуа. Ночь в Никарагуа...

Сторож! Сколько ночи?

Сторож! Сколько ночи?

* * *

.....

Апрель в Никарагуа... Поля пересохли от зноя.

Это время пожаров в полях, и пастбищ с пожухлой травой,
и как будто обугленных черных холмов,
и горячего ветра, и воздуха с запахом гари,
и сизого дыма вдали,
и корчевателей-тракторов в облаке пыльном;
время высохших рек, уподобленных пыльным дорогам,
время лысых деревьев, чьи ветви похожи на корни;
и расплавленных солнц, ярко-красных, как кровь,
и чудовищных лун, ярко-красных, как солнце,
и далеких пожаров ночных, ярко-красных, как звезды...

Май в Никарагуа... Вот падают первые капли.

И нежнейшие травы опять возродились из пепла.

И тракторы в сочной грязи бороздят увлажненную землю.

Просыпаются в лужах дороги под мотыльковым летом,

И ночи наполнены свежестью и жужжаньем,

и дождь не смолкает всю ночь. И в мае расцветают сандалы среди улиц Манагуа.

Но апрель в Никарагуа — это месяц смерти.

Их убили в апреле.

Я участвовал с ними в апрельском восстание

и тоже орудовал пулеметом «райзинг»,

и Адольфо Базе Боне был мне другом и братом.

Его гнали грузовики и самолеты,

прожекторы и бомбы со слезоточивым газом,

его полиция травила собаками;

я помню красные тучи над дворцом президента,

словно хлопья красного хлопка,

и красную луну над дворцом президента.

Подпольное радио говорило: «Он жив, он не умер».

И народ верил, что он не умер.

(И это ведь правда, что он не умер!..)

Ибо родится порой человек на земле,

означающий ту землю,

и земля, что взяла в свое лоно того человека,

означает того человека.

И люди, рожденные позже на той земле,

означают того человека.

И Адольфо Базе Боне[212] был тем человеком.

«Если б меня заставили выбрать жребий, —

сказал мне Базе Боне за три дня до смерти, —

быть убитым подобно Сандино[213]

или быть президентом подобно его убийце,

я выбрал бы жребий Сандино».

И он выбрал жребий Сандино.

Слава — это не то, что записано в книгах Истории,

слава — коршун над полем и зловонье гниющей плоти.

Но когда умирает герой — нету смерти:

есть второе рождение героя — в его Народе.

.....

Когда в Никарагуа спускается вечер,

во дворце президента собираются тени.

Оживают лица.

Покрытые тьмою лица.

Покрытые кровью лица.

Адольфо Базе Боне; Пабло Леаль безъязычный;

Луис Габуарди, мой товарищ по классу, что крикнул,

когда его жгли живым: «СМЕРТЬ СОМОСЕ!»

Лицо шестнадцатилетнего телеграфиста
(не сохранилось его имя),
что ночью передавал в Коста-Рику
сообщенья подпольные — телеграммы,
дрожавшие сквозь огромность ночи,
из темной Никарагуа Сомосы-сына,
и был раскрыт, и умер, глядя в лицо Тачито[214];
и теперь еще смотрит в лицо Тачито
(а имени нет в исторических книгах).

Лицо другого мальчишки, которого ночью поймали,
когда он клеил плакаты: «СОМОСА — ВОП»,
и несколько полицейских с хохотом потащили куда-то в лес подальше.

Лица, лица еще, тени, другие тени...

Умансор, Эстрада[215]... Сократес[216]... другие... другие...

и великая тень Аугусто Сесара Сандино,
и тень его насильственной смерти — тень преступления...

Каждой ночью в Манагуа дворец президента
заселяют тени.

Но герои рождаются в час смерти,
и зеленые травы встают на земле обожженной.

Эпиграммы

Перевод В. Столбова

«Девушки, вы, что прочтете когда-нибудь эти стихи...»

Девушки, вы, что прочтете когда-нибудь эти стихи

И с грустным волнением подумаете о поэте.

Знайте, что я написал их для девушки точно такой же как вы,

И что все это было напрасно.

«Мне сказали, что ты полюбила другого...»

Мне сказали, что ты полюбила другого,

И тогда я пошел в свою комнату

И отделал правительство в резкой статье.

И меня посадили в тюрьму...

«Я отомстить тебе хотел бы так...»

Я отомстить тебе хотел бы так:

Чтобы однажды ты раскрыла книгу — творенье знаменитого поэта —

И прочитала в ней вот эти строки, которые писал он для тебя.

Но чтоб не знала ты, что — для тебя.

«Внезапно во тьме завизжала сирена...»

Внезапно во тьме завизжала сирена.

Бесконечный голос тревоги.

Мрачно завывала сирена

Пожарной машины, а может быть, санитарной,

Белой машины смерти.
Этот звук словно крик кобылицы в ночи.
Он все ближе и ближе,
Он растет и растет и падает,
Он растет и растет и падает
И удаляется,
Спиралью вонзаясь в сознание.
Но ни смерть, ни пожар, ничего не случилось.
Это проехал Сомоса.

«За монастырем, возле самой дороги...»

За монастырем, возле самой дороги
есть кладбище для отслуживших вещей;
почиют там в мире дырявые шины, осколки
стекла, черепки от посуды, погнутая проволока,
старый пластик, железо ржавое,
жесть, опилки, пустые коробки от сигарет,
и все они ждут воскрешенья, как мы.

«Слышались выстрелы ночью...»

Слышались выстрелы ночью,
Слышалась возле погоста...
Кто знает, кого убили, если убили кого-то.
Никто ничего не знает...

Слышались выстрелы ночью,
А почему — неизвестно.

«По этим улицам он проходил...»

По этим улицам он проходил, голодный и рваный,
Без единого песо в кармане.
Стихи его знали одни лишь поэты, гулящие девки и нищие.
Он никогда не бывал за границей,
Зато побывал в тюрьме.
Нынче он умер.
И над могилой его нет надгробья.
И все же
Вспомните его, когда у вас будут турбины,
И мосты из железа, и житницы из серебра,
И неподкупные правители.
Потому что в поэмах и песнях он очистил народный язык,
Тот язык, на котором однажды написаны будут законы,
Конституция, торговые договоры и любовные письма.

Рассвет

Перевод В. Столбова

Вот уже петухи запели.
Твой пропел, соседка Наталия,
И твой тоже пропел, кум Хусто.

Поднимайтесь с кровати, вставайте с циновок!
Послышалось мне, что в лесу закричали уже обезьяны.
Время огонь раздуть в очаге. И вынести ведра.
Свечи зажгите, я видеть хочу ваши лица.
Где-то на ранчо залаяла громко собака,
И лаем тотчас отозвался мохнатый приятель ее.
Время очаг разжигать, соседка Хуана.
Тьма загустела, как это обычно бывает перед рассветом.
Вставайте-ка Чико и Панчо. Вставайте, ребята!
Время седлать жеребца.
Время на воду лодку спустить.
Сон разлучил нас — ведь каждому снится свое,
Но, пробудившись, мы снова едины.
Ночь наступает, уводит с собою все тени и страхи.
И скоро увидим мы синюю-синюю воду,
Землю увидим в цветах и плодовых деревьях, которых в ночи не видать.
Вставай ты, Хуан Никарагуа, мачете бери.
Немало сорной травы тебе еще выполоть надо.
Мачете бери и гитару свою не забудь.
Ухала в полночь сова, а около часу — филин кричал.
Черной, беззвездной, безлунной была эта ночь.
На острове нашем рычали во тьме ягуары.
И с берега озера им откликались собратия их.
Но уже улетел мрачный покойо, кричавший:
«Ходидо! Ходидо!»[217]
И скоро каскаль[218], наш горнист, пропоет:
«Компаньеро! Компаньера!»
От восходящего света тень, как вампир, улетает.
Вставайте-ка все! Все, как один, поднимайтесь!
(Уже петухи славят зорю.)

Да дарует господь вам хорошие дни!

ПАНАМА

РИКАРДО МИРО[219]

Перевод Б. Дубина

Последняя чайка

Колеблясь бахромою покрывала,
что ткет закат из облачного дыма,
мелькнули чайки и промчались мимо
к безвестным взморьям за полоской алой.

И только эта тенью запоздалой
осиротело и неутомимо
ныряет в клочьях сумрачных, гонима
тоской по стае, что уже пропала.

Затеплилась звезда вечеровая
и вслед за чайкой, мчащейся далеко,
дозором тронулась, не отставая...

Вся жизнь моя: без отдыха и срока,
подобно ей, отбившейся от стаи,
спешить в ночи дорогой одинокой.

Портобело[220]

Древний Портобело, повесть из гранита,
сад воспоминаний! В вещем забытьи
вековечным лавром, город именитый,
дремлют под плющом столетия твои.

Отрешен и полон мысли величавой
сон безлюдных улиц, где любая пядь —
старины умершей темная печать
и багряный отсвет непомеркшей славы!

Отрешен и полон мысли величавой
сон безлюдных улиц, где любая пядь —
старины умершей темная печать
и багряный отсвет непомеркшей славы!

Где былые чинность и великолепье,
роскоши испанской времена, когда
из Державы Солнца лебединой цепью
с золотом тянулись гордые суда?

Ныне же, забытый бурею жестокой, —
чудом уцелев над бухтой колдовской, —
высится обломок черного флага, —
стиснутый в кулак трагической рукой.

О, зубчатый камень стен твоих старинных!
Не сдастся року их застывший строй,
но теперь лишь птицы, приюта в руинах,
это запустенье оживят порой.

Давней паутиной затканы бойницы;
отгремев над морем, батареи спят;
ржавым и забытым, им сегодня снится
долгожданный рокот новых канонад.

По ночам безлунным твой покой унылый
призраки тревожат смутною толпою,
и несется шепот, смешанный с мольбою,
а откуда? — бог весть, из какой могилы...

А лишь заиграют в полночь новолунья
перламутр и месяц, как метнется эхо
музыки и песен, говора и смеха
на крыле у бриза по твоей лагуне.

Славный Портобело, древняя твердыня!

Ты стоишь цветущим лавром вековым,
с бухтою зеркальной говоря поныне
обо всем, что вам лишь ведомо двоим.

Что твоей судьбы алей и несказанней,
жизни твоей краткой горше и пышней! —
городом легенды, и воспоминаний,
и любви ты будешь до скончанья дней!

Отчизна

Далекая полоска отеческого края,
где солнце горячее и ярче небосвод,—
как в крохотной ракушке шумит волна морская,
напев твой колыбельный в душе моей живет.

Расставшийся с тобою, к тебе тяну я руки,
страшась, что нет обратной дороги кораблю...
Не испытал судьбою ниспосланной разлуки,
не знал бы я, наверно, что так тебя люблю!

Отчизна — это память... Осколки от былого,

все, что в тряпицах горя или любви хранят:
дремотный шорох пальмы, напев, звучащий снова,
отцветший, опустелый и облетевший сад...

Отчизна — это с детства искоженные склоны,
где что ни день спешил ты петляющей тропой
к тем падубам заветным, чьи вековые кроны
о временах минувших беседуют с тобой.

Что роскошь здешних башен, где меркнет луч заката
на золоченом шпиле в чужой голубизне, —
мне нужен ствол корявый, где вырезана дата, —
там губ твоих коснулся, там столько снилось мне!

Мои родные башни со стрелкой обветшалай,
как я теперь тоскую, про вашу вспомнив медь!
Великолепных башен я повидал немало,
и столько надо мною колоколов звучало,
но кто из них сумел бы, как вы, рыдать и петь?!

Отчизна — это память... Осколки от бывшего,
все, что в тряпицах горя или любви хранят:
дремотный шорох пальмы, напев, звучащий снова,
отцветший, опустелый и облетевший сад.

Далекая полоска, земля отчизны милой,
в тени под нашим стягом ты можешь скрыться вся!
Ты так мала, наверно, чтоб грудь тебя вместила,
на долгую разлуку с собою унося!

ДЕМЕТРИО КОРСИ[221]

Перевод С. Гончаренко

Ку?мбия

По нутру индейцу и метису-чомбо
музыка в трактире у Панч? Манч?.
Здесь мешая звуки ти?мбы[222] и кил?мбо[223],
ку?мбия ликует, сердце горяча.

Изобрел когда-то прадед-африканец
эту полупляску, полуворожбу.
Но никто не пляшет этот знойный танец
лучше, чем Хуана, дочка Каламбу.

Кумбию[224] умеют станцевать здесь всяко:
так, как в Чепиг?нге или как в Чок?.
Весело в таверне у Манча... Однако
плачет барабанщик. Плачет Чимбомбо.

Чимбомбо пленила М?ме не на шутку.
Чимбомбо удалый черен, смел и прям.
Старый шрам на горле багровеет жутко —
значит, кровь взыграла с хмелем пополам.

Барабан грохочет! Кумбия в разгаре!
Меме пляшет с гринго[225] уж который раз!
И, скрипя зубами, Чимбомбо в ударе —
хочет вызвать гринго он на смертный пляс.

Клин своей печали вышибая клином,
в барабан он лупит, яростен и пьян...
И чем злее сердце жжет ему кручина,
тем грозней грохочет буйный барабан.

Но когда вдруг гринго покидает танец,
взяв под ручку Меме, что-то ей шепча,
и уходит с нею, наглый иностранец,
прямо в спальный номер у Панча Манча, —

Чимбомбо с кинжалом, жаждя расплаты,
настигает эту парочку, как вихрь...
И в душе ликуют негры и мулаты:
Чимбомбо отважный отомстил за них.

Барабанщик скрылся... Кумбия в таверне
с той поры уныла и не горяча...
Никогда отныне не бывать, наверно,
кумбии бывалой у Панча Манча.

Нет мулатки Меме, пылкой Меме нету...
И не тот, что раньше, барабанный бой...
Пусть танцуют пары и звенит монета —
нет веселья, если нету Чимбомбо!

Виды Панама

Негры, негры, негры... Гринго, гринго, гринго...
Магазин. Витрина. Вывеска. Отель.
Чолы[226] и мулатки. Видно, не в новинку
выходить им каждый вечер на панель.

Солдатня. Матросы. Янки-пехотинцы.
Европейцы. Гринго. Радость — через край!
Кабаре. Бордели. Пьяные девицы
прямо в панталонах... Вот кому здесь рай!

Все тут продается. Все тут очень просто.
Щедрая Панама! Нет дешевле цен.

Не столица — рынок. Бойкий перекресток.
Лишь Канал осталось провести сквозь центр!

Кажется порою: все автомашины,
кабаре, фокстроты, вся на свете грязь,
гринго, проститутки, прощелыги, вина —
все это свалилось, господи, на нас!

Иностранцы... Чеки... В хмеле круговерти
доживем до третьей, третьей мировой!
Пляшут миллионы черный танец смерти...
Гринго, негры, гринго... Бедный город мой...

ДЕМЕТРИО ЭРРЕРА СЕВИЛЬЯНО[227]

Перевод Б. Дубина

Углы

В мареве

душной мглы

углы теснятся.

Углы...

Углы...

Углы ребят босоногих
и вечных бед и забот.
Углы, где не видят солнца:
оно — из важных господ.

Полощет свои лохмотья
во дворике беднота.
Вопит из холодных печек
квадратная немота.

Углы, где кашель и корчи
предсмертного забытья.
Углы, где серые лица.
Углы — вернисаж тряпья.

Чахоточная у двери...
Чахоточная у двери
Горланит, пьяным-пьяна.
А в доме и горя мало:
кому там нужна она?

И
в мареве
душной мглы
углы теснятся.
Углы...

Углы...

Углы ребят босоногих

и вечных бед и забот.

Углы, где не видят солнца:

оно — из важных господ.

Ты на все отвечаешь «да»

Собрат мой по крови,

панамец,

твердишь свое вечное «да».

Понурился, не прекословя

и, что ни велят господа,

собрат мой по крови,

панамец,

твердишь свое вечное «да».

В ответ на гроши за работу —

да, да, да.

В ответ беспросветному гнету —

да, да, да.

Собрат мой по крови,

панамец,

твердишь свое вечное «да».

Скажи, наконец, свое «нет»,
скажи, наконец, свое «нет»
в замену всегдашнего «да».

Но не говори это «нет»,
когда вырывается «да».

А скажешь ты «да» вместо «нет»
и «нет» вместо должного «да»,
и «да» твое станет как «нет»,
а «нет» твое — попросту «да».

А ну!

И пускай не судачат,
что чести в тебе ни на грош.

Нет! Нет! Нет!

Что сколько не думаешь «нет»,
а скажешь опять только «да».

Что ты все издевки снесешь.

Нет! Нет! Нет!

Что, мол, по заслугам нужда...

Но не говори свое «нет»,
когда вырывается «да».

А скажешь ты «да» вместо «нет»
и «нет» вместо должного «да»,
и «да» твое станет как «нет»,

а «нет» твое — попросту «да».

Твердишь свое вечное «да»,
собрать мой по крови,
панамец,
твердишь свое вечное «да».
Киваешь в ответ на злословье,
а топчут тебя господь —
собрать мой по крови,
панамец,
твердишь свое вечное «да»...

КАРЛОС ФРАНСИСКО ЧАНГМАРИН[228]

Грязь заводская въелась в эти руки

Перевод М. Самаева

Грязь заводская въелась в эти руки,
пропитанные потом и смолою.
Кователи народов эти руки,
творцы основ непобедимой жизни:
воды и хлеба, ласки и стрелы.
Они плоды душистые взрастили,
высокие костры зажгли во мраке,
они сумели в землю заронить
зерно, они проделали нить в иголку

и, мудрые, построили корабль.

На каждой тропке и на каждом камне
дворца, завода, храма или фермы
следы разумных пальцев, тонких нервов
и капли крови, пролитой когда-то.

Мозолистые, в шрамах, руки деда,
которые смешали землю с кровью
своей, чтоб вырастить зеленый рис.
Шершавые, коряжливые пальцы,
такие добрые для струн гитары
или во время жалобных прощаний.
Тяжелые запястья, кулаки,
как десять ловчих, бредящих о чем-то
и под вечер однажды — без мачете
и без гитары ласковой — сраженных
и умерших, подобно орхидеям
у изгороди преступлений.
Я помню руки матери, которым
была родной земля гвоздик и роз.
Чтоб хлеб добыть на завтрак, эти руки
работают с рассвета до заката
и раздвигают горизонты дня.
Они безропотны и терпеливы,
всегда добры, всегда нежны и пахнут
мелисой, альбаакой, теплым хлебом.
Простые героини — эти руки.

Со временем их кожа зарастает
морщинками, как нежными ветвями.

Я воспеваю руки кустарей,
крестьян, рабочих, — руки подневольных,
те, что взрывают вековые стены,
те, что придумали так много песен, —
они мудры, умелы и могучи.
Они открыли землю, сквозь гранит
прорыли шахты, горные тоннели, —
рабочих руки, моряков, солдат,
ткачей искусных и ловцов жемчужин.

Вас, руки современников моих,
я воспеваю; сжатые в кулак,
вы точно молоты в лучах рассвета.
Вы боритесь, творите; вы — моторы,
которые приводят жизнь в движение.
Вы, руки масс, стальные кулаки,
вы, грубые, несущие рассвет,
разбейте ненавистные оковы
в Америке и в Азии, в Европе
и в Африке; воспряньте, сбросьте иго,
чтоб в будущем в одном рукопожатье
слились все руки добрые земли
среди веселых песен и колосьев,
среди гвоздик и роз, среди голубок!

ПАРАГВАЙ

ЭРИБ КАМПОС СЕРВЕРА[229]

Горсть земли

Перевод Ю. Петрова

1

Горсть земли —

от недр твоих, от линий,
одинокчество твое замкнувших,
и от лика твоего из глины,
налитого зреющим рыданьем.

Горсть земли

с простою лаской соли
и корней беспомощностью нежной.

Горсть земли, где на губах застыли
кровь и смех твоих детей умерших.

Горсть земли, чтобы на лбу горящем
ощутить весь холод часа смерти
и остаток тени тихой рощи,

берегущий сомкнутые веки.

Ночи апельсинового цвета,
твой меридиан лесной и жаркий,
благость минералов, населивших
лоно твоего большого тела,
лес твоей груди, твои деревья —
это я любил в тебе безмерно —
ты отчизна радости и боли —
это я боготворил в тебе.

2

Вот я снова, голый и скорбящий,
брошен на скалу воспоминаний,
я затерян среди излучин мрака,
голый и скорбящий, далеко я
от живого тока твоей крови,
далеко.

Мет дальнего жасмина
звезд твоих. Нет ярого, ночного
нападенья сельвы. Ничего нет:
дней твоих с гитарами, с ножами,
ясности небес непостижимой.

Одинок, как крик или как камень,
имя я твержу твое, и если —
жду, что с этим именем сравняюсь,
знаю я, что камень — это камень,

и что воду изгоняет жесткий
пояс твой, и что находят птицы
свой приют на дереве, с которым
песням и крылам не уцелеть.

3

Тучи разнолики надо мною,
профили других народов четки —
вдруг тебя я снова обретаю.
В чаще одиночества глухого,
среди слепых дорог полей и песен
вижу я, как ты со мною рядом
расстилаешься — в венце поблекшем,
с памятью святой о гуарани.

Ты — во мне, в моих шагах идешь ты,
ртом моим глаголешь, мы с тобою
вместе умираем — еженощно.

Ты — во мне, со знаменем, с руками
маленькими крепкими твоими,
с маленькой луной неотвратимой.

Непреложно, словно звезд движенье,
все твое ко мне, в меня приходит:
грива ливней, и тоска морская,
и печаль бескрайняя равнины,

жаждущей испить небесной влаги.

Ты — во мне, а я — в тебе, навечно
с язвами твоими слит. Гляжу я,
как ты, умирая, рассветаешь.

Я с тобою неразрывно связан,
ненависти в?роны не могут
расклевать, разрушить пуповину;
твой Исток и твой Итог несу я
на плечах, подобно Кордильерам.

Горсть земли
люблю в тебе, и это
счастье страсти — тоже от тебя.

ХОСЕФИНА ПЛА[230]

Все в зеркале берет начало

Перевод Н. Горской

Все в зеркале берет качало.

В озерной глади, равнодушной ко всему на свете,
гнилушка стала радугой, а туча — островком.
Все в зеркале берет начало.
В обманных небесах болота
высиживала ветка лунного птенца,
а птица без иглы и нитки шила паруса.

Все в зеркале берет начало.
Подмигивала рыбе фальшивая звезда,
и сочиняла музыку беззвучную луна.

И на рассвете путник в зеркало взглянул
и там себя увидел — призрак страшный:
косые скулы, впалые виски,
глаза — как водянистый студень,
и лоб, похожий на могильную плиту.
Он видел лишь лицо и позабыл про душу.
И стали с той поры подразделять людей
по цвету кожи и волос.

Влюбленные уже не верили друг другу,
заране ждали смерти старики,
и человек цветной лишился родины и братьев,
и продала красавица свою мечту.

Все в зеркале берет начало...

АУГУСТО РОА БАСТОС[231]

Сыны моей земли

Перевод Б. Дубина

Землей земля — моей земли сыны,
и лица их — мертвей могильной глины —
вовек не дрогнут жилкой ни единой,
лишь грудь кипит виденьями войны.

Сама земля — моей земли сыны,
от чьих костей трещат ее глубины;
и как на всякой пяди этой глины,
на каждом — несводимый след войны.

Как поднятая плугом целина —
рубцы на них, и почва этих пашен
корнями изнутри озарена.

И мощь сама — моей земли сыны:
их крепкий торс в кровавый цвет окрашен,
но мир цветущий бьет из их войны.

ЭЛЬВИО РОМЕРО[232]

Перевод П. Грушко

Смерть погонщика

Напрасно звать его. Он не очнется,
он на земле простерт, как черный ствол.
Уже в его отрепья не уткнется
бугристой головой ленивый вол.

Лишь тишина звенит над ним отныне.
Не расплести ее тугих тенет.
Уже ничто пылающей пустыне
его шагов усталых не вернет.

Он умер тем, кем был он от рожденья, —
пастух-идальго, облаченный в зной,
он в одиночку постигал уменье
сопротивляться ярости земной.

Он там, где был. Под ним трава седая...
Иссякла дней похожих череда,
в которых он шагал, одолевая
пустыню, по дорогам в никуда.

Вот все, чем он владел на свете белом.
Он пил прогорклых сумерек настой.
В пустынных этих далях быть хотел он
лишь тем, чем может быть пастух простой.

А о другом и не мечтал он даже.
Вся жизнь его зависела от ног.
Теперь ушел он в мертвые пейзажи,
теперь над ним сомкнулась пыль дорог.

Он рухнул навзничь, не изведав счастья.
Его останки травы оплели...
Живой, он в горизонты не вмещался,
а умер — весь вместился в пядь земли.

Богорез

Убрав со лба маисовые прядки,
Лаку? медоволицый в упоенье
творит святых, скобля ножом поленья.
Рука в поту, как в глянцевой перчатке.

Змеится стружка цвета золотого.

Лоб старика в тяжелых каплях меда...

И повторяют люди из народа:

«У старика Лаку лицо святого».

Как пилигримы в призрачной пустыне,
немые пальцы ищут терпеливо
святых — в поленьях лунного отлива,
апостолов — в багровой древесине.

Когда он злится — и стамеска злится,
а радостен — ликует мастерская.
Когда скорбит — живая скорбь людская
ложится тенью на святые лица.

Так беспокоен он, так постоянны
его труды, смятенья и заботы,
настолько он ушел в свои работы,
что сам похож на образ деревянный.

Вы старика Лаку в толпе найдете:
его волнует жизнь простолюдина,
он ловит жесты, чтобы воедино
своих собратьев слить в древесной плоти.

Настолько зорек он, настолько точен,

что люди узнают в резных фигурах
себя самих — молчащих и понурых,
как старые деревья вдоль обочин.

Приблизив нож к безликой заготовке,
старик, чье сердце пышет юным жаром,
всю страсть свою передает ударам,
расчетливым, как выстрел из винтовки.

Творя святого, он и добр и страшен.
Он нож ведет то бережно, то резко.
Порой нежнее льна его стамеска,
порой остра, как плуг на теле пашен.

Он дев святых дарит земной красою,
как чародей, вселяя жизнь в обрубки:
он алой краской им наводит губки
и окропляет их глаза росой.

Он дружен с древесиной, и похоже,
что в нем сплелись тугие волокна
деревьев — этих изваяний солнца
с причудливым тиснением на коже.

...Змеится стружка цвета золотого.

Лоб старика в тяжелых каплях меда.

И повторяют люди из народа:

«У старика Лаку лицо святого».

Ослепляющий жаворонков

Он ослепляет птиц.

В рассветный час

он видит в дрожи глаз затмение солнца.

Рука его порою так трясется,

как будто он себя лишает глаз.

Такая уж у старца работенка,

весь день к нему поток людей стремится,

считают люди, что слепая птица

поет особо сладостно и тонко.

Едва лишь солнце патокой рассвета

зальет испепеленные пригорки,

а он уже сидит в своей каморке,

зажмурившись от солнечного света.

Кому обязан он своим умением

стыдливо ослеплять живую влагу?

В каких краях, кто обучил беднягу

поспешному насилию над зреньем?

Он прячет свой испуг за жалкой ложью:

у ослепленной птицы чище трели...

Но каждый раз, волнуясь, еле-еле

с предательской справляется он дрожью.

Ему не сладко в этой гнусной роли,

которую всегда играть готов он.

Как раб, цепями к ремеслу прикован,

он трудится — и корчится от боли.

Вот начал он...

Рубаха липнет к телу,

едва в его руке забьется птица.

Он жалко улыбается — и злится,

все не привыкнет к этакому делу.

Он вздрагивает, плоть живую жаля,

не ощущая собственного тела,

рука как будто одеревенела,

морщинистая, дряхлая, чужая...

А птица и слепая знает песни —

в ее напевах ливень вдохновенья,

здесь каждый звук похож на дуновение
ветров, носивших птицу в поднебесье!

А он живет лишь прошлым — теми днями,
когда мальчонкой бегал и смеялся,
когда весь мир волос его касался
лучами солнца, ветром и ветвями...

Он ослепляет птиц.
В рассветный час
он видит в дрожи глаз затмение солнца.
Рука его порою так трясется,
как будто он себя лишает глаз...

Плетельщик корзин

Плетельщик ивовых корзинок,
седой задумчивый молчальник, —
он из времен прибрел далеких,
спустился с гор, добряк печальный.
В горах рожденный, на равнине
он не забыл дыханья гор.
Он ладил из лозинки сказки,
неугомонный фантазер.

В слепую пору долгих ливней,
когда пернатые — всего-то
комочки глины между сучьев,
без крыл, без песен, без полета,
он горный контур горизонта
вплетал в очередной узор:
он ладил из лозинок сказки,
неугомонный фантазер.

Когда в своей каморке брался
он за плетение корзинок,
казалось, будто бы на пальцы
стекают звездочки с лозинок
и пузырьки живицы свежей
сочатся из древесных пор, —
он ладил из лозинок сказки,
неугомонный фантазер.

К нему гурьбой сбегались дети
и гнезда в бороде свивали,
когда разгневанное лето
свирепо опаляло дали,
полуприкрыв глаза, он слушал
их немудреный птичий спор
и ладил из лозинок сказки,
неугомонный фантазер.

Никто не замечал печали
в глазах его и в каждом жесте,
когда он отдавал корзину,
как будто отдал с нею вместе
всего себя... Сжималось сердце,
туманом застилало взор....
Он ладил из лозинок сказки,
неугомонный фантазер.

Когда же он исход свои начал —
так, словно таял в зазеркалье, —
весь мир потек в его корзину,
чтоб с ним уплыть в глухие дала,
его руками стали корни,
а небом — ивовый шатер,
пока и сам не стал он сказкой,
неугомонный фантазер.

Офорт

Повис на кресте человек,
врагами распят.
Веревками человек
опутан до пят.

И ветер внизу...

Страна моя сотнями кож
натянута на кресты.
Распятый на бубен похож.

И ветер в лицо...

Вся родина — на кресте...
Крест падает в темноте.

И ветер вверху!

Ягуа-Веве
(Комета)

Взметнулся ягуар!
Чертой по небу.
Костер небесный перепрыгнул.

Взлохматил звездный бок,
шаги умерил,
вздохнул, как кошка,
и прошелся мягко,

и лапы изумрудные лизнул.

Прыжок обдумал,
решил, куда ступить,
дыханье соразмерил
и движенья...

Потом, в дугу тугую выгнув спину,
он над бездонной пропастью пронес
свое мерцанье голубое.

Инамбу-И
(Дикая перепелка)

Испуг в траве!

Неповторимый посвист
и клюв — с землею вровень.
Внезапная стрела над лугом,
пронзительная звонкая раскраска
под камни и песок,
стремительная искорка в кустах
и флейта сиесты.

Смятенье перепела.
Переполох в траве!

КАРМЕН СОЛЕР[233]

Перевод О. Савича

Голубка мира в Парагвае

Белая голубка

смотрит

и молчит.

Белая голубка

плачет

и молчит.

Что голубка может

голубю сказать,

если ухитрились

клюв ей завязать?

Обманутые

Его зовут, как человека: Гельман.

Он — «вождь» четверки тех бандитов,

что повели меня в тюрьму.

Высокий белокурый

ариец с именем арийским,

с широкою улыбкой

веселого ребенка.

Кто б мог подумать, как печально
его занятье:

держат в застенке женщин,
и рыться в их одежде и бумагах,
и красть стихи,
мои стихи!

Но если я полна лучей и света, —
пусть в песне вырвутся они!

Но если голоса во мне звучат, —
пусть в ветре эти голоса поют!

Обманутые!

Даже над моей могилой

услышите колокола,

зовущие набатом

к свободе вас!

Э. Барреда «Цветы». 1950 г.

ПЕРУ

ХОСЕ САНТОС ЧОКАНО[234]

Перевод Г. Шмакова

Сон кондора

Под небом Анд, где звезд сияют жала,

на пике горном средь немых снегов,
сидит он, повелитель облаков,
вперив глаза в закат кроваво-алый.

Его стальная грудь белей опала,
в провалах глаз — сверкание зрачков,
играют блеском боевых клинков
кривых когтей ацтекские кинжалы.

Один, как перст, глядит он хмуро ввысь,
над ним туманы тихо поднялись
и бахромой серебряной повисли,

и в них он тонет, крыльями шурша:
так тонет в море накативших мыслей
усталая и сирая душа.

Кена-индейская флейта

Нет, не сестра она лесной свирели,
баюкавшей сатиров и дриад!
Предсмертным плачем голубя звучат
ее мелодий жалобные трели.

То раня слух, то слышный еле-еле,
ее протяжный и щемящий лад
плывет над спящей пуной наугад,
немые Анды тихо колыбеля.

Роня в ночь рыданий жемчуга,
она поет, стыдлива и строга,
и звук ее так горестен и светел,

что не понять в томительной тиши,
душа ли стонет, обратившись в ветер,
иль ветер стонет голосом души.

«Право, не скажу, сеньор»

О индеец смуглоликий,
выйди на порог из дома,
на вопрос ответь скорее,
брошенный тебе в упор:
«Дашь ли мне воды напиться?
Приютишь ли, обогреешь,
хлебом досыта накормишь?»
«Право, не скажу, сеньор».

Вижу я: в поту кровавом

пашешь ты скупую землю,
ею же богач владеет,
алчный и жестокий вор,
неужели ты не знаешь,
что тебя земли лишили,
что она — твоя от веку?
«Право, не скажу, сеньор».

О индеец молчаливый,
отчего так смотришь хмуро,
что за мысли мозг твой точат
тяготам наперекор?
Отчего молчишь упрямо?
Что ты ищешь в жизни сирой?
И о чем ты молишь бога?
«Право, не скажу, сеньор».

Непостижный и прекрасный
отпрыск древнего народа,
ты равно невозмутимо
радостные дни встречаешь,
боль, страданья и позор,
ты величествен, как Анды,
и не жалостным смиреньем —
мудрым безучастьем к жизни
да стоической гордыней
светится твой мрачный взор.

Мы с тобой по крови братья,
когда меня призвал бы
сам господь и так спросил бы:
«Что милей — венок лавровый
иль из терниев убор?
Утешающие песни
или стих, налитый желчью?»
Я, как ты, ему б ответил:
«Право, не скажу, сеньор!»)

Осенняя ночь

Луна висит, как стертая монета,
над озера холодным серебром,
укрыв на время куколку рассвета
в смоляно-черном коконе ночном.

Луна задернулась вуалью мгlistой,
рыдает ветер, залетев в овраг,
поигрывает ивой многолистой,
колышет влажный, непроглядный мрак.

Все пуще дождь, и капли наудачу
кропят кустарник и цветы в полях,
и кажется, что это звезды плачут,

пылавшие в озерных хрусталях.

Вот капля падает на лист разлптый,
ползет по жилкам, зыблется, дрожит,
чтобы потом алмазом в три карата
сорваться в ночь и землю освежить.

Лишь изредка, как грохот барабанный,
вплетется гром в мелодию воды,
одевшей нежно пеленой стеклянной
ажурные октябрьские сады.

Узорны сучья в тишине беззвездной,
а там, вдали, сквозь листьев кутерьму,
рукою черной, пагубной и грозной
нас манит ночь в клубящуюся тьму.

Песня на горной дороге

Чернела ночная дорога,
и всполохи молний взрывали
кромешную темень в Андах,
я ехал змеящейся тропкой
на жеребце норовистом.
Копыта стучали дробно,

стеклянно сверкали брызги
разметанных сонных луж,
гудели свирепым оркестром
милльоны жужжащих мошек...

Внезапно на фоне сельвы,
задумчивой, темно-синей,
взметнулась горстка огней
искрящимся роем осиным.

Гостиница! В нетерпенье
я лошадь хлыстом ударил,
она встрепенулась, и воздух
пронзила приветливым ржаньем.

А сельва, как будто поняв, в чем дело,
ночной концерт оборвала
и словно похолодела.

И тут чей-то женский голос,
щемящий, чистый и низкий,
ко мне долетел внезапно
из этой гостиницы близкой.

Женщина пела. Мелодия,
медлительная и простая,
лилась протяжно, как вздох...

Казалось, что этой песне
нет ни конца, ни края.

Дремали колючие горы
в ночной тишине горячей,
а я все слушал, как льется
напев безыскусно-бродячий,

как будто из жизни другой
звучала та песня простая
И я натянул поводья,
слова разобрать пытаюсь.

«Мужчины приходят ночью,
утром от нас уходят...»

Другой, тоже женский голос,
сливаясь с первым в дуэт,
запел тоскливо и нежно,
заканчивая куплет:

«Любовь — лишь привал минутный
на темной земной дороге».

Затем повторили вместе
с горечью и тревогой:

«Все к нам приходят ночью,
утром от нас уходят...»

Тогда я спешил
и отдохнуть прилег

на бережке какого-то болотца,
а из гостиницы звучала эта песня,
томила слух, усталость навалилась,
и я, закрыв глаза,
уснул, ее напевом убаюкан...
С тех пор, кружа по диким тропкам сельвы,
я не ищу покоя на привалах,
а сплю под звездным и открытым небом —
ведь тот напев, щемящий, безыскусный,
звучит во мне и память бередит:

«Мужчины приходят ночью,
утром от нас уходят,
любовь — лишь привал минутный
на темной земной дороге».

ХОСЕ ЭГУРЕН[235]

Перевод Г. Шмакова

Карминные короли

Розы зари распустились —
два короля карминных
золото копий скрестили.

Радужны перелески,
рдеют холмы и рощи
в нежно-пурпурном блеске.

Даль золотисто-янтарна:
там королевские соколы
бьются жарко и яро.

Свет разлился вечерний —
чертят разгневанно небо
их смоляные тени.

Ночь опустилась в долину —
бьются с чернильной мглою
два короля карминных.

Вечерние балконы

Горят вечерами балконы в мерцанье желто-латунном,
там девушки громко смеются, мечтательницы и щебетуны,

балконы, повитые дымкой, в гвоздиках и розах карминных,
там девушки все мечтают о рыцарях и паладинах,

балконы, чьи стекла сияют в закатных златистых струях,
оттуда школьницы робко влюбленным шлют поцелуи,

о, как печальны балконы, глядящие в сумрак мая, —
по свету звезды погасшей там плачет дева святая.

Дрожат дубов очертанья на стеклах других балконов,
там чахнут надежды юных, там сердце исходит стоном,

там влажная темень, нагрыв в свой час глухой и урочный,
сквозь вязь решетки увидит недужный цветок полночный,

но есть балкон мавританский над озером светлооким,
о, как бережит он память о веснах моих далеких,

в ту пору в серебристом свете мой герб горделиво реял,
на нем красовались якорь и корабельные реи,

курился туман янтарный, играя отливом бледным,
озерная дева душу баюкала сном волшебным,

любовь под золой былого все тлеет в глуби бездонной,

когда пламенеют розой вечерние те балконы!

Дубки

Возле дороги, у самой реки,
плакали тихо, по-детски дубки,

свежий покой с облаками деля,
в свете жемчужном дремали поля,

сказка волшебная грезилась мне
в утренней розовопенной волне,

у ветряка, над кипеньем садов,
чудились смех и хорал голосов,

в зелени влажной далеких маслин
мнился мне томный призыв окарин,

тишь полевая да млечный туман
в воздухе стлались, как фимиам...

А у дороги, у самой реки,
плакали тихо, по-детски дубки.

Сапсаны[236]

Покинув скалы
в плащах тумана,
на крыльях алых
летят сапсаны.

Они зобасты
и горделивы,
их тени сизы,
темней оливы.

Их клювы кривы,
острей булата,
а грай зловещий
страшит пернатых.

Чего им надо —
непостижимо!
Парят над речкой,
и снова мимо

зеленых пастбищ,
болот и кочек,
селений сирых,
глухих урочищ.

Всего милей им
уединенье:
столбы, руины
среди заустенья.

Там они дремлют
в вечернем ветре,
непостижимые
посланцы смерти.

Горит их перьев
великолепье,
они — как тени
седых столетий!

Шествие

Лентой увядших цветов —
о, как бескровны их лица! —

меж разноцветных домов
шествие плавно змеится.

Шелест упругих шелков
цвета зари и печали,
встретят ночных пришлецов
мглою повитые дали.

Тяжек их шаг и суров,
в страхе распахнуты очи,
мертвых ли сумрачный зов
манит их вновь и морочит?

Ночи густеет покров,
тает людей вереница...
Ждут их, как песни без слов,
инков державных гробницы.

АЛЬБЕРТО УРЕТА[237]
Перевод М. Квятковской

Уснуло время...

В часах уснуло время. Ни одной

неверной ноты нет в гармонии напевной,
исторгнутой в ночи болезненной луной,
чей свет — как музыка, как стон тоски душевной.

Все спит в печальной спальне одинокой.

Жизнь застывает. Миг перерастает в вечность.

Мы растворяемся в неподвижности глубокой,
и мнится, сон души уходит в бесконечность.

Баллада о морской розе

Стрелки твои означают тридцать две дороги,
одни уводят на землю, другие — в простор морской.

Скажи мне, роза ветров,
нет ли еще одной?

Стрелки твои означают тридцать две дороги,
одни уводят на землю, другие — в простор морской.

Скажи мне, роза ветров,
нет ли новой, совсем иной?

Роза ветров, укажи мне, укажи мне мою дорогу,
и пусть ни на суше, ни в море не будет ее примет.

Дай в никуда мне дорогу, неприкаянных странников, роза,
а лучше всего такую, откуда возврата нет.

Не бойся, если несчастье...

Не бойся, если несчастье тебя клеймом отмечает —
таится завязь улыбки в исходе любой беды;
самые темные воды звезду на себе качают,
и нет приветливей света, чем свет печальной звезды.

Оставь земле свое бремя, познай затишье покоя,
рожденное скрытой скорбью среди мрака и немоты, —
тогда над своей душою ты сядешь, как над рекою,
и будешь следить, как мимо плывут и жизнь и мечты.

И вечером, может быть, ночью, пробьет твой час сокровенный,
когда должна воротиться душа к иным берегам,
и все, что было с тобою, мелькнет чередой мгновенной, —

тогда поцелуй прощальный пошли вослед этим снам,
если увидишь призрак, любимый и незабвенный,
летащий тебе навстречу, наперерез волнам...

СЕСАР ВАЛЬЕХО[238]

Хлеб наш

Перевод Юнны Мориц

Проглочен завтрак... Влажное кладбище
до облаков пропахло кровью ближних.
Зима, дома... Ползущая телега,
похожая на существо живое
и скованное голодом в мороз.

Хочу стучать во все дома подряд
и спрашивать бог весть о ком и после
увидеть бедняков и положить
в ладони каждого горячий хлеб —
и плакать.

И грабить виноградники обжор
двумя святыми сильными руками,
которые однажды на рассвете
навек освободились от креста.

Не поднимайтесь по утрам, ресницы!
О господи, наш каждодневный хлеб
нам даждь!..

Все кости у меня — чужие;
а чьи они, я их украл, быть может!
Я в этот мир пришел забрать, быть может,
все то, что должен был забрать другой.
Я думаю, что, если б не родился,

другой бедняк согрелся б этим кофе!
Я — жалкий вор... Куда деваться мне?

И в этот час, когда земля так пахнет
могилой, нищетой и так печальна,
хочу стучать во все дома подряд,
и бог весть у кого просить прощенья,
и печь ему горячие хлеба —
вот здесь, в огне пылающего сердца.

Под тополями

Перевод А. Гелескула

Как трубадуры в стенах каземата,
деревья смолкли в роще тополиной,
и зажурчал библейскою долиной
речитатив кочующего стада.

Седой пастух согнулся под овчиной,
замороженный муками заката, —
и две звезды уснули, как ягнята,
в печали глаз, пасхальной и пустынной.

Поет сиротство шелестом погостов,
и колокольчик тает за лугами,

стихая все осеннее, все глуше...

Заткала синева железный остов,
и в ней, тускнея мертвыми зрачками,
хоронит пес пустынный вой пастуший.

На рассвете

Перевод А. Гелескула

И сливался с ней, настолько с ней сливался!..

Как ребенок, по тропинкам полудиким,
по изгибам заповедным и упругим
уходил я в нежный холод земляники —
в ее утренние греческие руки.

А потом она повязывала галстук
заговорными цыганскими узлами,
и опять я видел камень угловатый,
косолапую скамейку и окно,
пели мельничные крылья циферблата
и кружились и наматывали сами
обе жизни на одно веретено.

Ночи милые, не знавшие утрат,
я вспоминаю вас задумчиво и сиро.

Стеклярус сладостей, мишурный виноград,
слезами брызнувший
в могильной ступке мира!..

Платки для слез?

Вот самые красивые —
узоры звезд, небесная канва:
зеленые,
сиреневые,
синие,
пропитанные сердцем кружева.

И если ткань от желчи станет черной,
легко коснется горькой головы
бессмертной нежности покров нерукотворный —
ветхозаветные ладони синева.

Брачное ложе вечности

Перевод П. Грушко

Любовь сильна лишь за чертою жизни!
Большим зрачком становится могила,
в чьей глубине воскресает и томится
тоска любви, как в чаше, где застыли
века веков и черные зарницы.

В миг поцелуя набухают губы,
как нечто обреченное пролиться,
и в судорожном трепете касанья
уста устами любимым дарят право
жить этой жизнью, полной угасанья.

И если это так — сладка могила,
где все в конце концов соединится
в пучине, как ее ни назови.
И темнота сладка — здесь место встречи
всемирное свидание любви.

Дождь

Перевод И. Чежеговой

В Лиме... В Лиме хлещет ливень,
мутной тоской отзываясь в крови.
Смертной отравой вливается ливень
сквозь пробоину в крыше твоей любви.

Не притворяйся спящей, любимая...
Солги... И взглядом меня позови.
Все человечье — необратимо:
я решил уравненье твоей любви.

Осколками геммы вонзается снова
в меня твое подневольное слово,
твое колдовское, неверное — «да»...

Но падает, падает ливень дробный
на лежащий меж нами камень надгробный,
под которым тобой я забыт навсегда.

Вечные кости

Перевод А. Гелескула

Господь, я жизнь оплачиваю болью,
твой хлеб тяжел и божий день немил.
Но этот сгусток мыслящего праха
на горсти слез замешан не тобою,
и ты, господь, Марий не хоронил.

Господь, господь, родись ты человеком,
тогда б ты вырос в подлинного бога,
но как ни бьемся, веря и терпя, —
ты ни при чем, тебе всегда неплохо.
Страдаем мы — чтоб выстрадать тебя.

И в этой тьме, где глаз я не сведу

с огня свечи, как смертник на помосте,
зажги, господь, последнюю звезду —
и вновь метнем заигранные кости!
Садись, игрок, — и с первого броска
слепая власть бестрепетной десницы
пусть обратит два траурных очка
в орбиты смерти — топкие глазницы...

И эта ночь — конец твоей игры.

И не в нее ли, злую, как ненастье,
летит земля сквозь сонные миры
игральной костью, брошенной на счастье, —
заиграна уже до круглоты,
летит, чтобы в последнее мгновенье
остановиться в недрах пустоты,
внезапной пустоты исчезновенья!

Поэт своей любимой

Перевод Юнны Мориц

На кривых перекладах губ в темноте
Ты распята была, как Иисус на кресте,
Боль твоя означала — Иисус на кресте
Безутешно заплакал в крови, в наготу.

Это — странная ночь, не такая, как те...

Смерть трубила в берцовую кость в темноте,
Посреди сентября, в дождевой чистоте
Искупленье и грех обнялись на кресте.

Мы умрем, только рядышком, рядом совсем,
И высокая горечь исчезнет со всем,
И усопшие рты припадут к пустоте.

И не будет упрека в тебе, неживой,
Мертвый, я не обижу тебя, как живой,
Будем братом, сестрой при едином кресте.

Зов

Перевод А. Гелескула

Сегодня не пришел ко мне никто,
ничья душа на помощь не позвала.

И при свечах ночного карнавала
я не узнал кладбищенских цветов.
Прости, господь, что умер я так мало!

Все шли — и не молили и не звали,
но шли и шли — и что-то забывали.

И что-то оставалось в этом доме
и, как чужое, жгло мои ладони.

А дверь была закрыта —
и звал я: «Если в чем-нибудь нужда,
остановитесь — здесь оно забыто!»

И ждал... Ведь никогда в ночи моей
я не умел захлопывать дверей —
и груз чужого сердце принимало.

Сегодня не пришел ко мне никто...
А вечер долог был — и умер я так мало!

Моему брату Мигелю
Перевод Юнны Мориц

Я сижу на скамье перед этим жилищем,
где так бесконечно и скорбно тебя не хватает.
Я думаю, как простодушно мы играли бы вместе
и мама погладила б каждого: «Дети, довольно...»

Вот спрячусь, как прежде,
во время вечерней молитвы,
и ты ни за что, ни за что меня не отыщешь.
А после в гостиной, в передней, в углу коридора
ты притаишься тихонько, чтоб я не нашел.
Я помню, что мы доводили, играя,
друг друга до слез.

Мигель, ты спрятался
в августе, ночью, почти на рассвете,
но вместо улыбки тебя осенила печаль.

А я, твое неумолкшее сердце второе,
смертельно тоскую с тех пор, оттого что тебя не нашел.
И жуткие тени ложатся на детскую душу.

Ты слышишь, Мигель, выходи,
я жду тебя целую вечность. И может встревожиться мама.

Черные листья
Перевод А. Гелескула

Лишь сигарета в сумраке горит,
подрагивая вспышками тревоги, —
и нервный ритм

колышет на дороге
пастушью тень, как мертвый тамаринд.

Сырая ночь стекает по стене,
смывая все от крыши до приступка, —
и тает дом в разбухшей тишине,
где дышит дождь мучительно и хрупко.
Как постарела дверь!
Я и доныне помню ее пенье.
Но, тихая, молчит она теперь
и только пепел сеет на ступени,
а сотни глаз зияющей тоски
с меня не сводят темные орбиты,
и по углам латают пауки
лохмотья тени, веющей забытым.
И горечью дохнув,
из темноты несмело и незряче
встают ворота, руки распахнув
в растроганном и судорожном плаче, —
то вновь мои сыновние глаза
коснулись их немого полукруга,
где в каждой щелке тайная слеза
уснула, как далекая подруга.

И вот полузабытая тоска
с бездомным сердцем тихо зашепталась.
— Сеньора?
— Да, сеньор, она скончалась...

а я все вижу креп ее платка...

Былое бредит, болью оживая,
и молча принимается в ночи
отверженная муза кочевая
точить свои певучие ключи, —
как будто там,
где стынут ненавистно
пустых могил землистые зрачки,
зажглись, верша таинственную тризну,
магические древние клинки...

А дождь идет, идет... И все дурманней
плывет кадильным дымом отпеваний
камфарный запах лавров вековых,
которые стоят, темны и строги,
и в дождь, не покрывая головы,
оплакивают мертвых у дороги.

«В тот день я родился...»

Перевод А. Гелескула

В тот день я родился,
когда господь занемог.

И знают все, что родился
и рос и не стал добрей
но никому неведом
декабрь моих январей.
Мои тайники пустые
глубоко погружены,
и что-то в душе зияет
под куполом тишины.
Однажды она звучала —
и голос был как ожог.

Ибо в тот день я родился,
когда господь занемог.

Слушай же, слушай, брат мой...
Ладно. Пора обратно —
взвалив декабри на плечи,
свалив январь у ног...

Ибо в тот день я родился,
когда господь занемог.

И знают все, что живу я,
жую свой хлеб... И не знают,
откуда она, моя злая,
моя гробовая тоска, —

как ветер, распутанный Сфинксом,
назойливым духом песка.

И знают все... И не знают,
что Свет от чахотки тает,
а Мрак откормлен и горд,
и всех нас венчает Тайна —
наш горький и вечный горб,
певучее грустное бремя, которое нам обещает
неведомый Южный пролив за пределами наших дорог...

В тот день, когда я родился,
господь занемог.
Господь тяжело
занемог.

«Одиночка в четыре стены...»[239]

Перевод Юнны Мориц

Одиночка в четыре стены,
о, коробка в четыре стены,
безнадежная вечная цифра!

Четвертует четверка углов
все четыре конечности тела

четверней ежедневных оков!

Где ты, ключница с лаской ключей?

Если б ты увидала, как вечно,
несомненно и ровно четыре!

Если б мы оказались вдвоем
против них, четверых. О, скажи мне,
ты б ни разу не плакала, правда?!

Ах, застенок в четыре стены!
Две из них, что гораздо длиннее,
этой ночью меня истерзали
тенью двух матерей уже мертвых,
но ведущих вдоль бромистых склонов
одного и того же ребенка.

Остаюсь я с протянутой — правой,
в ней усилия левой и правой,
двух, разъятых насилием, рук.
О, ищу я третьейскую руку,
чтоб она приласкала на ощупь
искалеченность духа и тела,
заточенных в пространство и время.

«Я слез этой ночью с коня...»

Перевод Юнны Мориц

Я слез этой ночью с коня

у дома, с которым простился

однажды в преддверии дня.

А двери закрыты навеки, и некому встретить меня...

Скамейка, где мама спросонок

светила старшему брату, седлавшему спину коня,

чтоб я — деревенский ребенок —

пушинкой летел над оградой, не зная печального дня.

Скамейка, где грустное детство

осталось на солнце осеннем...

И боль безошибочно метит ворота, где некому встретить меня...

Чихает мое божество,

его называют животным,

дымится оно, и томится, и цокает по мостовым,

потом переходит на ржанье

и двигает ухом живым...

Молитву кончает отец,

и, может быть, он растревожен,

что я опоздал под конец.

Мечтанья свои нараспев

тянут веселые братья,

и близится праздник — и дело с концом.

Я жду, и на миг мое бедное сердце

во мне застревает яйцом.

Родители, братья мои — настолько мала эта горстка,
которую мы покидаем однажды в преддверии дня,
что некому выйти со свечкой и некому встретить меня.

Зову — и ни вдоха, ни слова.

Мы замолкаем и плачем.

Животное все еще ржет.

А в доме уснули навеки,

и к лучшему это настолько,

что конь устает равномерно качать головой в тишине,

и дремлет, и с каждым поклоном бормочет он голосом сонным,

что все хорошо, все прекрасно, прекрасно, прекрасно вполне...

«Когда наконец вернуться...»

Перевод Юнны Мориц

Когда наконец вернуться

эти взрослые, в котором часу?

Шесть ударов слепого Сантьяго[240], —

и на улице стало темно.

Мама сказала, что она не задержится.

Акедита, Натива, Мигель,

не ходите туда, где, гнусавя,

две минуты тому пронеслись
голосащие длинные тени
привидений. Вы слышите? Плещут
куры крыльями, так испугались,
неизвестно кого и когда.
Не ходите, останемся здесь.
Мама сказала, что она не задержится.

Нам не грустно. Давайте смотреть
на кораблики, — мой превосходен! —
мы сегодня играли, не ссорясь,
как положено, в праздник святого.
И в корабликах наших остались,
как положено, сласти на завтра.

Посидим вчетвером и покорно
подождем возвращения взрослых,
уходящих вперед беспощадно,
оставляющих нас так, как будто
мы не можем их сами покинуть.

Акедита, Натива, Мигель!
Я зову, я ищу в темноте, как слепой.
О, минуй, одиночество, братьев моих
и свали на меня этот камень сиротства.

«Скользит пианино и в сердце вбегает...»

Перевод А. Гелескула

Скользит пианино и в сердце вбегает
веселым ребенком с весенних газонов —
и вдруг застывает в оковах покоя,
в железных тисках десяти горизонтов.

И снова бежит. И уходит в туннели,
все дальше и дальше, в туннели печали,
в просвет позвонков, все теснее, темнее...

И катятся эхом тревожные трубы
тягучей тоски, пожелтевшей с годами,
плывут восковыми волнами затмений —
и шепчется рой комариных кошмаров,
умерших для грома, герольда рождений.

Кого, пианино, в потемках ты ловишь
своей немотою, зловеще звенящей,
своей глухотой, настороженно чуткой?
Биение тайны...
О пульс цепенящий!

«Как ты нас ищешь знаками глубин...»

Перевод А. Гелескула

Как ты нас ищешь знаками глубин,
о море! Как безжалостно, как жутко
ты в лихорадке света!

Вбивая клин за клином,
страница за страницей,
ты бьешься, бьешься в бешеном сезам,
пока рыдают волны
и, закусив вольфрамовые губы,
переливают ветер
в стремительные строки
и плавники замороженных «эль»...

Доктрина черных крыльев, сотрясенных
ознобом плеч затравленного дня.

О море, вертикальный фолиант
с единственной страницей
наизнанку.

«С кем ночами черными, как уголь...»

Перевод Юнны Мориц

С кем ночами черными, как уголь,
возвращалась ты, болтая простодушно,
тот исчез навек. Ограблен угол,
где бывала ты так зла и так послушна.

Все исчезло: ночи черные, как уголь,
твои залив, и окрик твой, и разговоры
с матерью твоей покойной... звезды юга,
чай, пропахший солнцем, волны, горы.

И каникулы исчезли, и свиданья,
и груди твоей покорность, и старанья,
чтобы я не покидал твой дом.

Все исчезло ради зрелого страданья,
ради нашего удела в мирозданье —
неизвестно для чего родиться в нем.

«Завтра, мати, приду в Сантьяго...»

Перевод А. Гелескула

Завтра, мати, приду в Сантьяго
захлебнуться твоими слезами.
Горький опыт мой за плечами,

блеск фальшивый на боль нанизан.

Там, под аркой твоей тревоги,
у подножья босых печалей,
меня встретит пустынный дворик
шоколадной резьбой карниза.
Меня встретит в пустом коридоре
добродушно-скуластое кресло —
мой наставник, вечно кряхтевший
от проворных ягодич детства.

Для тебя я собрал по крохам
мои самые чистые ласки!
Слышишь, как захрапела дорога?
Слышишь, гикнуло утро? Скорей!
Губы горнов закушены страстно!
Я твой символ любви
для земных пустырей
отливаю в пустотах пространства!

О немые воланы, ведите,
все сводя путеводные нити,
все свиданья, до боли не те!
Так, бессмертная мертвая... Так...

За двойные врата твоей крови,

куда входят, склонясь головою,
на носочках, настолько неслышно,
что отец, перед тем как вошел,
так притих, что уменьшился вдвое,
ставши первым твоим малышом...

Так, бессмертная мертвая... Вниз,
в базилику костей твоих вечных,
где и плач не погасит очаг,
где и кончиком пальца
не тронет Судьба...

Так, бессмертная мертвая.

Так!

Девятиглавый зверь

Перевод А. Гелескула

И, к несчастью, растет
и растет на земле страданье —
пядь за пядью, растет повсюду,
поминутно, по часу в минуту,
и причина страданья — это страданье дважды,
и регламент оскаленный пытки — страданье дважды,
и траве вырастать травую —
страданье дважды,

и живому от радостей жизни — больше вдвое...

Никогда, человечные люди,
никогда еще столько боли
не таили сердца, стаканы,
буквари, бумажники, бойни!
Никогда так не ранила нежность,
горизонт не стягивал туже!
Никогда огонь так умело
не рядился смертною стужей!
Да, Министр Охраны Здоровья!
Не бывало здоровье бренней,
и по капельке столько мозга
не высасывали мигрени!
И не билась, как в окнах муха,
и за стенками шкафа — мука,
и за стенками сердца — мука,
и за стенками нерва — мука!..

Братья люди, растет несчастье!
И растет само, без усилий.
Как морщины. Как рес Руссо.
Как машины, скорей, стосильней.
По каким-то своим законам,
от причин бесконечно малых,
зло растет половодьем боли
с омутами в тугих туманах.
Лик земли искажен от боли,

и порядок вещей нарушен —
и уже вертикальны воды,
зримы очи и слышимы уши,
и родятся в них девять набатов
в час зарницы, и девять сарказмов
в час пшеницы, и девять визгов
в час рыданий, и девять свистов
и ударов — и нет лишь крика...

Боль охотится, братья люди, —
застигает нас полусонных,
распинает нас на экранах,
колесует нас в патефонах,
и снимает с креста в кровати,
и, отвесно упав, ложится
в наши письма —
и все это, братья,
слишком больно, можно взмолиться...
Ибо следствие боли — каждый,
кто рождается, растет, умирает,
и кто, не родясь, умирает,
и кто от рожденья бессмертен,
и все те — с каждым часом их больше, —
у кого ни жизни, ни смерти.
И как следствие той же боли
я в печаль ушел с головою,
я до корня волос печален
и до кончика пальца вдвое,
лишь увижу распятый колос,

только гляну на хлеб чуть теплый,
на заплаканный ломтик лука,
на кровавые стружья свеклы,
и ни соль — словно серый пепел,
и на землю, где воды текучи,
где вино — господь-искупитель,
снег так бледен, а солнце — жгуче!

Как могу, человеческие братья,
как могу я не крикнуть, рыдая,
что с меня уже хватит!.. Хватит
стольких болей и стольких далей,
хватит нервов, изнанок, стенок,
этих крох, этой жажды вечной, —
я не в силах, я сыт до отвала!
Что же делать, сеньор Министр?..

О, к несчастью, сыны человечьи,
сделать, братья, должны мы немало!

«У гнева, дробящего старых на малых...»

Перевод А. Гелескула

У гнева, дробящего старых на малых,
детей — на птиц в непогожий вечер
и птицу — на перья в потемках алых,

у гнева сырых —
один бальзам против двух увечий.

У гнева, дробящего ствол на ветки,
на почки дробящего ветвь оливы
и каждую почку — на клетки,
у гнева сырых —
одна река против двух разливов.

У гнева, дробящего свет на тени,
и тень — на луки с летучим жалом,
и лук — на кости захоронений,
у гнева сырых —
одна рука против двух кинжалов.

У гнева, дробящего душу на ткани,
и ткани тела — на рваные раны,
и раны тела — на клочья сознания,
у гнева сырых —
один очаг против двух вулканов.

Спотыкаясь среди звезд
Перевод А. Гелескула

Я знаю настолько несчастных, что нет у них даже

и тела; взметенная пыль,
ничтожная — пядь от земли — прирожденная горесть
в пустой оболочке;
сплошное «не мучьте», идут к жерновам забытья,
и кажется — ветер их гонит, ожившие вздохи,
и слова их сливаются в четкое эхо кнута.

День за днем они лезут из кожи,
и скребут скорлупу саркофага, в котором родились,
ползут от секунды к секунде по собственной смерти
и падают навзничь,
рассыпав по кладбищам свой ледяной алфавит.

О как непосильно! И как это скудно! Бедняги...
О бедный мой угол, где слушаю их сквозь очки!
О бедная грудь, когда вижу, как меряют одежду!
О бедный мой светлый плевок в их совместной грязи!..

Да будут возлюблены глупые уши,
да будут возлюблены те, что присели,
случайный прохожий с безвестной подругой,
мой брат во плоти — с руками, глазами и шеей!

Да будут возлюблены
те, кого мучат клопы,
кто волочит по слякоти рваный ботинок,

кто с парюю спичек не спит над останками хлеба,
кто дверьми прищемил себе палец,
и кто никогда не справлял дня рожденья,
и кто потерял свою тень на пожаре,
полускот и почти обезьяна
и почти человек по обличью, бедняга богач
и чистойшей воды горемыка, бедняга бедняк!

Да будут возлюблены те,
у которых — и жажда и голод,
но нету ни жажды унять этот голод,
ни голода нет утолить эту жажду!

Да будут возлюблены все,
кто измотан трудом в эту пору, сегодня, всегда,
кто вспотел от стыда или боли,
кто в угоду усталым рукам забредает в кино,
кто платит долгами,
кто во сне закрывает лицо,
кто не помнит уже свое детство; да будут возлюблены трижды
лысые без фуражек,
праведники без терний,
висельники без роз,
те, кто глядит на стрелки, а различает бога,
кто не утратил чести, а умереть не может!

Да будет возлюблен ребенок,

который, падая, плачет,
и взрослый, который упал — и уже не плачет!

О как непосильно! И как это скудно! Бедняги...

«У чистого мерзну костра...»

Перевод Юнны Мориц

У чистого мерзну костра,
о, зависть моя сестра!
Крыса грызет мое имя,
и тень мою лижут львы не спеша,
о, мать моя душа!

Над пропастью черной стою в тишине,
деверь порок!
Ранит меня, как личинку во сне,
голоса моего острие,
отче тело мое!

Я весь перед ликом любви,
внучка голубка моя!
Мой ужас упал на колени мои,
тоска опоясала лоб, как змея,
о, мать душа моя!

Предвижу, все это окончится вдруг,
могила жена моя!
Бескрайняя цепь, выпадая из рук,
вздохнет напоследок усопшей змеей,
отче тело мое!

«Верь зрительной трубе, а не глазам...»

Перевод Э. Гольдернесса

Верь зрительной трубе, а не глазам,
верь лестнице, но никогда ступенькам,
крылу — не птице,
и верь себе, себе и лишь себе.

Верь лишь стакану, чаше — не вину,
верь трупу — не живому,
злодейству — не злодею,
и верь себе, себе и лишь себе.

Верь только многим, а не одному,
верь брюкам — не ногам,
руслу, а не теченью,
и верь себе, себе и лишь себе.

Верь окнам, но не доверяй дверям,
поверь не в девять месяцев, а в мать,
в судьбу, а не в счастливый жребий,
и верь себе, себе и лишь себе.

Приветствие предвестнику

Перевод Э. Гольдернесса

Склонившийся, как пальма, славянин,
спокойный, бесконечный англичанин,
германец — к солнцу вечно только боком,
увертливый француз, туманный швед,
весь в преувеличеньях итальянец,
испанец с чистотой страстей звериных
и небо,
ветрами пригвожденное к земле,
да поцелуй предела на плечах...

Лишь ты являешь миру, большевик, —
дыша всей грудью, глубоко, захлеб, —
свои ошеломляющие планы,
свой облик человека и отца,
свой мощный пыл влюбленного
и душу,
столь перпендикулярную моей,
тепло твоей руки по телефону,

неутомимость, праведника локти,
нетронутый твой паспорт и улыбку.

Трудясь во имя человека, ты, —
пока в пустом бездействии мы вязнем, —
творишь, ломаешь, строишь, убиваешь;

по протяженности твоих смертей,
по широте целебнейших объятий
я вижу: ты со вкусом ешь и пьешь,
в твоих глаголах зеленеют травы.

А потому я жаждал бы иметь
твой убежденный жар в броне холодной,
твой взгляд, нас проникающий насквозь,
твои индустриальные шаги,
шаги иной, не нашей, новой жизни.

И я привет тебе шлю, большевик!
Стремясь схватить за горло эту слабость, —
одно из жутких испарений жизни, —
природный сын добра и зла,
живущий часто суетою слов,
приветствую тебя, затем, что ты лишь
понять умеешь, в ком я каждый день
опаздываю,

в ком я промолчал,
в ком был я слеп.

Х. Сабогаль. «Амаута». 1927 г.

Черный камень на белом камне
Перевод А. Гелескула

Я умру под парижским дождем
в день, наверно, припомненный мною.
Я умру — и вот так же, ручьем,
весь четверг будет лить за стеною.

Как сегодня, в четверг, — когда ноют
кости рук и в оконный проем
мне в последнем сиротстве моем
виден путь, где я шел стороною.

Умер Сесар Вальехо. До гроба
били все его, били со злобой,
а ведь он им не сделал вреда,

и свидетели — нищие крохи,
кости рук, четвергов череда,
одинокчество, дождь и дороги...

Гитара под звук ладоней

Перевод А. Гелескула

Здесь, между нами

и сумраком нашим,

возьми себя за руку с верой и болью,

концы нашей жизни мы наскоро свяжем

и ужин поделим — и смерти дадим ее долю.

Иди же со мною,

останься со мною во имя мое, дорогая,

взяв на руки сердце, шагни в это пламя ночное,

и скользнем в тишину, от себя на носках убегая.

Останься со мной и с собою — да, и с собою, —

и нас поведет мостовая,

шагающих в ногу, навстречу шагов разнобою

чеканить шаги расставанья.

О темные души, пока, наконец, просветимся!

Пока не вернемся!..

Пока не вернемся — простимся.

Что мне ружья, послушай, —

какое мне дело до ружей,

если пуля в конце

именною печатью мне станет!

Что мне ружья — и что тебе пули,

если вкус твоих губ, как дымок револьвера, растает!

Да, красивая, этой же ночью

тяжесть нашей звезды испытаем руками незрячих,

а потом, я прошу тебя, очень,

спой немного — и вместе заплачем!

И этой же ночью движением слитным, бесследным, —

твоя беззаветность с моею тревожностью рядом, —

уйдем от себя, неразлучно...

Пока не ослепнем!

Пока не заплачем

над нашим последним возвратом!

Сюда, в эту ночь,

приведи себя — нежно, за руку,

мы ужин поделим — и смерти дадим ее долю,

И что-нибудь спой —

окажи мне такую услугу, —

под наигрыш сердца в ладонь ударяя ладонью...

Пока до другого свиданья! Пока возвратимся!

Пока!.. И еще раз — пока!..

И пока не расстались — простимся

Париж, октябрь 1936

Перевод А. Гелескула

Я здесь единственное в мире, что уходит —

от этих лавок, от парадных и передних,

моих поступков и штанов моих последних,
и подворотен, и от номера на входе,
я здесь единственное в мире, что уходит.

За Елисейские поля, как сновиденье,
по Лунной улице уйдет мое рождение,
освободится моя смерть — и не вернется,
и одинокое в толпе, как в запустенье,
мое подобие людское обернется
и отошлет поочередно свои тени.

Я ухожу, а все молчит и остается,
оберегая свое алиби: и птахи,
и мой ботинок, и шнурки — все без остатка,
и даже грязь на каблуке. И даже складка
на рукаве моей застегнутой рубахи.

«В день, когда я вернусь...»

Перевод А. Гелескула

В день, когда я вернусь, этот камень безликий
каблуком моим станет над комьями глины,
из тугих и смертельных сетей повилики
поднимая трагически древко маслины.

В день, когда я вернусь по пути круговому
беззащитно-доверчивым шагом калеки,
в этом плаванье вечном из омута в омут
я пойму, как живуче добро в человеке.

В день, когда я вернусь и животным усталым
поведут меня судьи, как зверя в зверинец, —
вырастая и властвуя каждым суставом,
станет первым из пальцев наш честный мизинец.

Самый черный день

Перевод Э. Гольдернесса

Один сказал:

— Мой самый черный день
на Марне был, когда меня навывлет
в грудь пулей ранило.

Другой сказал:

— Мой самый черный день
в Иокогаме встретил я; волною
всех смыло с берега землетрясенье;
я спасся чудом.

Еще один сказал:

— Мой самый черный день
бывает, если днем я засыпаю.

Другой сказал:

— Мой самый черный день —
то день, когда я был совсем один.

Другой сказал:

— Мой самый черный день
был день, когда попал в тюрьму я в Перу.

Другой сказал:

— Мой самый черный день —
то день, когда я понял вдруг отца.

А тот, кто дольше всех молчал, сказал:

— Мой самый черный день
еще не минул.

«Итак...»

Перевод А. Гелескула

Итак,

мне не выразить жизни иначе как смертью.

И в самом конце, на последней ступеньке природы,
я усну за плитой в воробьях,
рука об руку с собственной тенью.

Семя вечной страды, отголосок родильного стона,
я стихаю под шаг марширующих в вечность минут.

К чему эти струны, если так искренен ветер?

Зачем кандалы, если в мире есть просто железо?

Сесар Вальехо, пространству, которым ты любишь
и ветру, которым ты слышишь, и слову, которым творишь,
ты знаком лишь по отзвуку голоса.

Сесар Вальехо, поэтому гордо и горько
опустись на колени в стенах шестигранного эха.

Вернись в красоту, в цветоносные соты земли,
уйди в пустоту от орды человекоподобных,
склони на прощанье оленьи рога неприязни
и сам потоскуй над собой.

Ведь нет ничего тяжелее, чем ненависть в горле покорных,

и нет ни единой груди истощенней, чем наша любовь!

И уже я не в силах идти, не ступая по струнам!

И уже ты в лицо узнаешь меня только по слуху!

И уже не червей я несу, а одни благовестья!

И уже среди робких плодов оставляю я стойкий!

И так долго я правлю тебя, что теперь ты, пожалуй, отточен!

Ибо всю ту любовь, что во тьме разрывала мне бронхи,

мне тайком собирали прелаты.

Ибо если бледны мои зори, виною — работа,

и если красны мои ночи, виною — рабочий.

Порукой — усталость и ярость, мои именитые сестры.

Порукой тому — эти слезы,

которые я выпиваю за счастье людей...

Не верится, Сесар Вальехо,

чтоб так запоздали родные,

когда я шагаю в оковах,

когда ты почиешь свободный...

Блистательная и собачья судьба!

О Сесар Вальехо, я нежно тебя

ненавижу!

Поверка праха

Перевод Э. Гольдернесса

Властный голос воззвал:

— Пусть он разом покажет ладони! —

Невозможно...

— Пусть шаги сосчитают, что сделал он, плача! —

Невозможно...

— Пусть он мысли одной не изменит за время,
пока ноль остается нолем! —
Невозможно...

— Пусть он совершит безрассудство! —
Невозможно...

— Пусть меж ним и ему подобным
встанут толпы таких же, как он! —
Невозможно...

— Пусть его с ним самим же сравнят! —
Невозможно...

— Пусть по имени назван он будет! —
Невозможно...

«Отряды нищих бьются за Мадрид...»

Перевод А. Гелескула

Отряды нищих бьются за Мадрид,
идут через Париж, Нью-Йорк и Лондон,

клеймя колени каменных святых
готическими пальцами голодных.
Бродяги, христарадники, с колен,
у римских стен, на мексиканских плитах,
кричат Христу, моля за Сантандер,
в бою без победивших и разбитых.
И, древней муке вверясь до конца,
у ног толпы дерутся, насмерть стоя,
и отливают слезы из свинца
и, нищие, сражают нищетою.

Полки мольбы, где жалуется гнев,
где ярость побирается устало,
где замерло в протянутой руке
оружье, незнакомое с металлом,
убогий безответный легион
они встают со стоном у ограды —
и бьют в упор запуганной мольбой
из каждой раны —
да! — из каждой раны.

Их тьма, осатанелых и босых:
безликие, без имени, без дома,
идут потенциальные бойцы —
беспалая рука на горле грома.

Крупницы жалких крох,

заплаты, словно воинские званья,
двойные дула ружей —
кровь и кровь...

Поэт приветствует оружие страдания!

«Он часто в воздухе чертил корявым пальцем...»

Перевод А. Гелескула

Он часто в воздухе чертил корявым пальцем:

ДАЗДРАСТВУЮТ РЕБЯТА! ПЕДРО РОХАС,

путеец из Миранды, человек,

мужчина и еще раз человек,

отец и троекратно человек.

Педро и Рохас — и его две смерти.

Лист воздуха, сюда! — его убили.

Перо руки, сюда! — его убили.

Товарищей скорей оповестите!

Распятые, где прибит его обрубок,

его убили,

его убили у подножья пальца!

Убили разом — Рохаса и Педро!

Да здравствуют ребята

под пологом исчерченного ветра!
Да здравствуют — с вороньим этим «в» —
над сердцем Рохаса
и Педро, триумфатора и жертвы!..

Обыскивая труп, оцепенели,
увидев в теле мертвого — другое,
огромное, для мировой души,
а в сапоге — безжизненную ложку.
И Педро ведь имел привычку есть,
сидеть среди своих единокровных,
готовить стол, стелить, сорить на скатерть
и жить со вкусом на виду у всех,
и вместе с ним бродила эта ложка,
она сама и все ее девизы.
Да здравствуют ребята в ее подножье ныне и вовеки!..

Убили — вынудили умереть —
Рохаса, Педро, труженика, мужа,
того, кто родился совсем малюткой
и вглядывался в небо, а потом
все рос и рос, стал красным и боролся
своими «мы», своими «никогда»,
бедой, нуждой, кровинками, зубами,
останками...

Его убили нежно,

на волосах жены, Хуаны Васкес,
в шестом часу, в пороховом году
и в двух шагах от долгожданной цели.

И, мертвый, Педро Рохас приподнялся,
поцеловал залитый кровью гроб,
склонился над Испанией, заплакал —
и вывел в воздухе своим корявым пальцем:
ДАЗДРАСТВУЮТ РЕБЯТА! ПЕДРО РОХАС.

И в тело мертвое вошел весь мир земной.

«Издалека, чем дальше, тем яснее...»

Перевод А. Гелескула

Издалека, чем дальше, тем яснее,
в зенице мира, пристальной и страшной,
со дна страдания, где кротость сатанеет,
встает Герни?ка адом рукопашной.
Бой априори, вечный, вне масштаба,
бой слабых душ
с бессильем плоти слабой,
бой, где в пеленках, скомканных и красных,
ребенок бьется — сам, без понуканий —
животную отчаянностью гласных,
и мать — похолодевшими руками,

и бьется хворый смятой простынею,
кольцом детей, таблеткою и стоном,
и старый — костылем и сединою,
и настоятель — именем Христовым!

Обида слабых,
жалкая, немая!

О безответные защитники Герники!
Вы поднимаетесь, планету обнимая
непобедимой беззащитностью великих!

Шествие над павшим Бильбао

Перевод А. Гелескула

Израненный мертвый брат мой,
республики смолкший возглас!
Они уже близко, бледный, они по ступеням трона
идут через твой бескровный, твой годовалый возраст,
глядящий в пустое небо печально и удивленно.

Сядь, отстрадавший воин,
встреть их спокойно и просто,
сдвинь этот крест нежданный,
с трона взгляни на крыши.
Стынут хоругви мертвенно-белых простынь.
Они все ближе, товарищ, они все ближе.

Далекое «где ты?..»

затихло клочками голубки,
и дети не плача взбегают откосом могилы.
Эрнесто Суньига, сложи свои думы и руки,
покоится мир твой,
и в мире война почила.

Приконченный жизнью товарищ,
товарищ конный,
товарищ конь — с седоком и быком напротив!
Костей твоих серых рисунок высокий и скорбный —
орнамент испанского блеска
в венце благородных лохмотьев.

Присядь же, Эрнесто, один над пустым горизонтом.
Всем телом седея от серых волокон распада,
услышь, как восходят на трон твой...
Какой еще трон там!
На правый сапог твой!
Правый сапог солдата!

Масса

Перевод А. Гелескула

Кончался бой — и был убит солдат,
и, подбежав, сказал ему товарищ:

«Не умирай! Ведь я тебя люблю!»

Но тело все мертвело и мертвело.

И двое, подбегая, повторили:

«Не уходи! Держись! Вернись к живым!»

Но тело все мертвело и мертвело.

Десяток, сотня, тысяча, сто тысяч,

на выручку бросаясь, закричали:

«Такой любви — и не осилить смерть!»

Но тело все мертвело и мертвело.

У изголовья встали миллионы

с единою мольбой: «Останься! Брат!»

Но тело все мертвело и мертвело.

И человечество тогда над ним склонилось.

Открыв глаза, несчастный, потрясенный,

труп медленно поднялся

и, первого обняв,

шагнул вперед...

Траурный марш на руинах Дуранго

Перевод А. Гелескула

Отче пепел испанских селений,
да хранит тебя вечное небо,
отче пепел, восставший из тленья.

Отче пепел, парящий над нами,
да взлетишь ты к небесному трону,
отче пепел, господнее знамя.

Отче пепел, потомок пожара,
да взметен будешь ты в беспредельность,
отче пепел, потомок пожара.

Отче пепел, предтеча возмездья,
да иизринут ты будешь на землю,
отче пепел, предтеча возмездья.

Отче пепел в ладонях простертых,
да оденет господь тебя плотью,
отче пепел, проклятие мертвых.

Отче пепел, железные тучи,
да предстанешь ты в облике мужа,

отче пепел, суровый и жгучий.

Отче пепел, о рубище парий,
да не тронет никто твоих нитей,
отче пепел, о рубище парий.

Отче пепел, убийцами взрытый,
да сойдешь ты, шагая по праху,
отче пепел, с небесною свитой.

Отче пепел, о саван гигантский,
да вовеки хранит тебя небо,
отче наш, горький пепел испанский!

Отче пепел, летящий к рассвету,
да дарует господь тебе крылья,
отче пепел, летящий к рассвету!

АЛЬБЕРТО ИДАЛЬГО[241]

Биография слова «Революция»

Перевод Б. Слуцкого

Слово, рожденное в крови и желчи.

Слово, которым захлебнулся сказавший его первым.

Слово, не выходящее из строя.

Слово, не прекращающее марша.

Слово, упрямо не покидающее современность.

Слово, которое говорят со сжатым кулаком.

Слово, переливающееся через край словаря, так оно огромно.

Слово, легкое и нежное и плавное, как росчерк.

Слово с четырьмя стрелами, что пущены в самые главные мишени.

Исторгли из забвения историю,

Случившуюся на весьма далекой вершине времени.

В концлагере людского горя

Решался вопрос — к аду или к раю направиться.

Каждый себе по силе выбрал шрифт из алфавита,

И написали слово:

Революция.

Вслед за этим солнце, пред тем как погрузиться в ночь,

Прошло сквозь это слово и зажгло все девять букв:

Революция.

То было сияющее воззвание, первое в мире.

Теперь оно в составе человека, как кислород в воде.

Поля, моря и города не забывают, что в них оно содержится, и отвечают эхом.

Оно несет насилие и разрушение, как буря.

Стальным плугом оно взрывает души.

Призыв, прочтенный в просветах взнесенных рук.

Поднимем его всей нашей жизнью.

Путешествие по Андам

Перевод Т. Глушковой

Тишина взрывается конским топотом

Пенный прибой лошадиного ржання обгоняет рассвет над скалами

Обнажаются каменные позвонки деревни

Звон церковного колокола плывет в п?мпу

Мы пьем свою первую утреннюю чарку

Солнце надраивает крыши

В конские гривы мы как ленты вплетаем радость

Скачет пришпоренный день

Взлетает

Высокая колокольня деревни

Пампа распахивает перед нами пышную лавку гор

Мы берем кислород в дорожные котомки

Дорога разматывает твердые тропинки

Плывет с севера облако голубей

А в вышние

Взрывается

Пиротехника попугаев

На марше

Наши глаза как вспышки рассвета прожигают занавес горизонта

Свадебный кортеж здешних индейцев
Словно поясом стягивает нарядно одетую гору
Конические индейские шляпы из листьев герани
платки яркие как пламя
Сверкают курительные трубки и тамбурины
Двадцатилетняя невеста разбрасывает колосья и маки
в утренних росах поля
Зеленеют от песен

Мчась во всю мочь
Мы влечем за собою пространство на крупе коня
Как цветастое пончо
Пешие индейцы уступают дорогу
Пампа п?том блестит от полдневной усталости
С дремлющих скал
Кургузые птицы выслеживают добычу
По косогору верхом скачет вечер
Отставшие путники заслоняют закатное солнце
Дорога клубится пылью
Мы швыряем в реку камушки из ущелья
Горы вжимаются в ночь
Пульс уздечек пробивает холстину тумана
Вечерние костры лижут пламенем небо
Залпы криков отдаются в висках деревни

Дорога отряхивает спину

ХАВЬЕР АВРИЛЬ[243]

Восприятие человека и борозды

Перевод А. Эйснера

Настаиваю на красоте растительного мира,
в которой убеждает нас величие пейзажа
и спокойствие гор.

Свобода, разлитая между землею и небом,
воплощена в обыкновенном листочке
или в текучести вод.

Крестьянин не ошибается, когда вместе с дождем собирает небеса
в потайные водоемы бесконечности
и когда, следуя изначальной правде земледелия,
сам покорно падает в почву, как ежегодно сеемое зерно.

Легкий ветер, это залог урожая,
а солнечный свет придает колосьям золотистость и праздничность.
Человек и часть природы, и ее история,
и, чтобы жить, обязан трудиться, питаться и отдыхать.

Он заводит семью, а потом засыпает

в податливой унавоженной земле по берегам рек,
которые разливаются и затопляют ближние леса
и жилище и обитающие в нем мечты.

На смену отцу приходят дети,
они валят деревья времени,
а затем тоже починут на очищенных ими участках

и отрешаются от всего: от податей,
от свежего воздуха и от магии огородных чучел,
оголяемых вихрями...

Совершенно отсутствующие, отчужденные и от радостей и от обид.

Там, в глубине перемешавшихся могил, нет ни солнечных лучей,
ни того, что когда-то было человеком: труда,
усталости, бедности и одиночества.

Проходят гражданские войны
и оставляют после себя разоренные поля,
изувеченных мужчин и растоптанные розы.

Сколько глаза мои видели,
а я не могу сказать, где и когда

мне суждено умереть.

Да, были и горе и счастье,
но теперь забываются и люди и даты.

И ни быстротекущие часы, ни увядающие цветы меня уже
не волнуют,
только твое зияющее отсутствие в каждой вещи
и я сам, потерянный, посреди своих голосов.

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ[244]

Гимн маису

Перевод С. Гончаренко

Когда произносишь твое имя
невольно текут слюнки, —
перуанский чокло, зеленый початок;
маис древних инков;
теплые зерна нежности;
гроздь пенных зубов;
памятник зеленых цивилизаций;
невесомый дух хмельной чичи,
настоянной на веках;
изначальные зернышки крови,

близнец счастья,
крылья, поднявшие Перу над Америкой,
зоревая ступень истории,
древнее золото флоры...
Время вознесло тебя на своих плечах
к высотам Мачу-Пикчу
и за руку вывело в равнины побережья.
Ты — сама жизнь;
материал, из которого сделано имя Перу;
четкие шеренги зерен —
боевой авангард лакомой снеди;
заплетенная легендами грива;
желтый гранат неколебимой любви;
сок, в котором бродит пеннистая мечта;
гордый брат картофеля;
плод, от рожденья поделенный
по-братски, поровну:
знамя индейских общин;
причастие остроконечных Анд —
их кровь и просвира;
священный початок,
манна земная,
жемчуг мифа,
посох слепого,
прибежище нищих,
неугасимый зеленый факел...
С тебя начинается вкус отчизны.
Из твоих белых сосцов, —
перуанский початок, маисовое Перу, —
сочится млечная вечность.

СЕБАСТЬЯН САЛАСАР БОНДИ[245]

Перевод Б. Дубина

Рождество в разлуке

Знаю, что кто-то вдали сейчас

пыль отряхнет с нашей детской елки

и замерцают на ветках помятые звезды.

Знаю, что кто-то качает стаканом в такт

замирающим нотам перуанского вальса,

нарушая семейный порядок в декабрьский вечер.

Стол наш будет накрыт, и никто

не обернется взглянуть, как вхожу я,

как сажусь на законное место старшего сына

и напеваю, хмелея, и прерываю молчанье

чем-то сердечней этой грошовой открытки.

«Доброго вам рождества!» — говорю, как сказал бы:

«Снова я здесь», — потому что люблю этот мирный покой,

где неспешное время вышивает украдкой

крестики счастья на темной изнанке нужды.

Знаю, что кто-то вдали сейчас
к двери рванулся, вспугнув расстоянья, как птицу,
и встречает меня, и смеется, смеется...

Собственноручное завещание

Оставляю мою тень,
что иголкой в улице засела
и с тоской озирается на стены,
на окна в решетках, за которыми любить не умела
на город мой с его каменным небом.

Оставляю призрачные руки,
что скользили по клавишам, бедрам, и струям и в?кам медовым,
мои пальцы, с которых сошли эти строчки
поступью той, чье сердце, как обшлага, сносилось.

Оставляю лысую голову, лапки мои паучьи,
мое платье, в подпалах от сгоревших предвестий,
полиявшее от лампы над поздней книгой.

Оставляю побитые крылья, мою игрушку,
заводную лошадку, что годами скакала
к тем верховьям, где ключ величья и смерть для смерти.

Оставляю эти несколько книжиц, потраченных ленью,
образ мира в грудке мутных осколков
и заглохший стон под лавиной молний,
что зажат в зубах, как щепотка раскисшей глины.

Прими это все, собери словно крошки с юбки,

хоть эту малость подай на прокорм забвенью.

ВАШИНГТОН ДЕЛЬГАДО[246]

«Сеньор рантье...»

Перевод Б. Слуцкого

Сеньор рантье,

сеньор чиновник,

сеньор помещик,

люди бессмертны,

но вы-то смертны.

Любопытно, что гнить начинают

еще до того, как станут трупом.

Терпите свой смрад, если хотите,

демонстрируйте его понемногу,

но не болтайте.

Выставляйте задницы, сеньоры,

но никогда не рыдайте,

даже для скотов необходимо

кое-какое приличье.

Не забывайте также о небе,

о белых крыльях,

о музыке арф,

сладостно звучащих

под вашими сладостными перстами.

Подумайте о книгах, которые вы листаете,

о заброшенных чахоточных вдовах,
которых спасут ваши золотые трубы.
Подумайте о ваших купюрах, о
лете на пляже, о любовнице-блондинке,
об эфебе-брюнете, о бедняках,
которых вы облобызаете в мире ином,
о земных просторах и о засахаренном
небе.

Подумайте обо всем,
потому что в этом мире
вам пребывать не так уж долго.

АЛЕХАНДРО РОМУАЛЬДО[247]

Хорал в честь Тупака Амару[248],
который зовется Свободой
Перевод Риммы Казаковой

У меня уже нет сил, чтобы все это вынести... Микаэла Бастидес[249]

Его будут пытаться, волочить и топтать,
будут кости его дробить,
в рот загонят взрывчатку, заставят страдать,
но не смогут его убить.

Все желания вырвут и вырвут язык

и подвешат вниз головой,
но, взбесившись, увидят в кровавый миг,
что по-прежнему он живой.

Голова его — в траурно-красном венце,
ноги судорогой свело,
ребра сломаны, ссадины на лице,
но он жив палачам назло!

К четырем коням привяжут его
в исполнение злого суда.
Только с ним не сделаешь ничего!
Не убить его никогда.

Захотят его разорвать — и не смогут разорвать.
Захотят четвертовать — и не смогут четвертовать.
Захотят убить — и не смогут убить,
затоптать в грязи, повелеть забыть,
вырвать душу, голову размозжить...

Захотят убить — но он будет жить!
Захотят сломить — и не смогут сломить,
захотят убить — и не смогут убить!

Когда на третий день мук

решат, что с ним покончено, все вокруг,
он вернется с криком «Свобода!», чтобы навечно с родиной быть.
Они не смогут его убить!

ХАВЬЕР ЭРО[250]

Слово бойца

Перевод Н. Булгаковой

Да, потому, что родина моя
прекрасна, словно шпага, поднятая к бою,
да, потому, что именно сегодня
величье новое пришло к отчизне, —
обещаю защитить ее
всей жизнью.

И пусть отступники болтают, что хотят, —
мы здесь, на линии огня,
себе отрезали пути назад
тяжелым ливнем
стали.

И небо это наше.

И нам принадлежит наш каждодневный хлеб —
мы сами сеяли, и мы собрали жатву
с родной земли.

Все нам принадлежит —

и наше море,
и птицы, и поля, и горы.

ПУЭРТО-РИКО

ЛУИС ПАЛЕС МАТОС[251]

Перевод Ю. Петрова

Импрессионистские эскизы

1

Акробаты нынешнего века,
ловим мы трапеции метафор
и, рискуя, ходим по канату
в жажде одобренья и оваций.

Тропы вынимаю из кармана,
словно свежесорванные розы...

Чтобы перекладины достигнуть,
выстреленный, я лечу с арены —
к розе той, которая не пахнет,
к той звезде, которой нет на небе,
к птице непоющей, безъязыкой...

5

Земля воровства, земля страданья,
рабочих, поэтов, недоеданья...
Антиллы — душистые райские кущи,

голодное брюхо по морю влекущие.
Вольер попугаев, как тропики, древних,
политиканствующих на деревьях.
Несчастный остров, где я родился!
Тебя, словно кость, зарывает впрок
янки, черный бульдог.

7

В час тишины и мира,
там, где залив дугою,
вечер — надежная гавань
сумраку и покою.
Ночь сюда тихо, плавно
входит огромной яхтой,
в воду звезду бросает,
как якорь.

Колодец

Душа моя — словно колодец с водою зацветшей,
где дни в монотонном и важном потоке кружатся,
гася бестолковость свою и бессмысленный гомон,
где мертвенные в тишине оседают пустоты.

Вода озаряется снизу агонии светом:
там радуга тухнет и в черной тени умирает,
там слизь прилепилась к безжизненной траурной тине,

дыханье которой свечением синим исходит.

Душа моя — словно колодец. Пейзаж задремавший,
в воде отражаясь, колыхнется и исчезает,
а ниже, в глубинах, на дне, может, тысячелетье,
сны видя о людях, лежит мизантропка-лягушка.

Но вот иногда под влияньем луны отдаленным
колодец оденется в смутные чары легенды,
и кваканьем тихим внезапно вода огласится,
и древнее вечности чувство наполнит колодец.

Кандомбе[252]

Пляска негров, пляска, пляска
перед огнем, пылающим жарко.
Тум-куту?м, тум-куту?м,
перед огнем, пылающим жарко.

В зарослях коки[253], рядом с прибором, —
оскал свирепый и сладострастный,
тела цвета потоки, цвета тины,
безумие бедер, запах подмышек,
глаза все сумрачней и все ярче
горят от басистых ударов гонга.

Пляска негров, пляска ночная
перед огнем, пылающим жарко,
тум-кутум, тум-кутум,
перед огнем, пылающим жарко.

Кто повелитель самый могучий?
Кто из девственниц всех стройнее?
Где отмель свирепейшего каймана?
Чье волхованье сгубило Бабиссу?
Пляшут негры, лоснятся потом
перед огнем, пылающим жарко,
тум-кутум, тум-кутум,
на чистом острове одиноком.

Луна — серебряная черепаха,
плывущая в неподвижности ночи;
кто он и где он — охотник дерзкий,
который ее опутает сетью?
Кто он — Бомбасса или Бабисса,
Булон, Сокола или Бабирос?
Тум-кутум, тум-кутум,
перед огнем, пылающим жарко.

Смотри — луна, серебристая рыба,
старая злобная черепаха,
сок извергает в заводи ночи,
и сок завораживает и усыпляет.

Поймай, поймай, поймай черепаху!

Приволоки на крюке железном!

Пляска негров, пляска ночная
перед огнем, пылающим жарко,
тум-кутум, тум-кутум,
перед огнем, пылающим жарко.

Есть у нас зуб драгоценный динго —
великий Бабисса ее потомок,
есть у нас зуб драгоценный динго
и коготь маленького каймана;
против дурного они всеильны,
нам от дурного они защита —
зуб несравненный великой динго
и коготь маленького каймана.

Манаса, Кумбало и Билонто,
ловите эту луну гнилую,
она, что ни ночь, отравляет сумрак
своим омерзительным желтым светом.

Ловите луну, ловите, ловите
чудовище, наводящее порчу
на нашу охоту и наших женщин
на чистом острове одиноком.

Тум-кутум, тум-кутум,
перед огнем, пылающим жарко.

Храбрые негры пальмовых джунглей!

Придите скорее! Вас ждет Бабисса,
великий властитель кайманов и коки,
перед огнем, пылающим жарко.

Тум-кутум, тум-кутум,
перед огнем, пылающим жарко!

Элегия герцогу де Мармелада

О безупречный, очей услада, герцог де Мармелада!

Где сегодня твои кайманы в дальней деревне Понго?

Где округлая, голубая тень твоих баобабов?

Где пятнадцать твоих красоток, пахнущих сельвой и тиной?

Впредь не отведай тебе жаркого из молодого мяса,
искать знакомые обезьяны вшей у тебя не будут,
не выследит глаз твой, нежный и томный, женственную жирафу
в оцепенелом молчанье равнины, в сонной жаре саванны.

Кончились ночи твои с кострами, взметавшими желтые космы,
и с монотонной капелью — вечным рокотом барабанов,
в чью глубину, как в теплую тину, медленно ты погружался,
дна достигая — заветного слоя прадедов и прабабок.

Нынче в нарядном мундире французском шествуешь ты изящно,

липкою патокой льстивых приветствий ты, царедворец, залит,
а ноги твои, наплевав на титул, орут из модных ботинок:
— Эй, Бабилонго, пройдишь по карнизу! Пройдишь по дворцовой крыше!..

Ах, как с мадам Кафоле учтив ты, как обходителен с нею!
Ты весь — как бархат на волнах скрипок на изумрудных волнах;
но еле сдерживаешь ты руки, вопящие из перчаток:
— Эй, Бабилонго, чего ты медлишь?! Вали ее на кушетку!..

От дна, от глубин, от заветного слоя прадедов и прабабок,
в оцепенелом молчанье равнины, в сонной жаре саванны,
плачут — о чем же? — твои кайманы в дальней деревне Понго,
о безупречный, очей услада, герцог де Мармелада!

Удовольствия

Французский флаг заходит в гавань. Шлюхи,
борделей лоно настезь распахните!

Британский стяг в порту. Пора притоны
от нищих завсегдатаев очистить!

Хоругвь американцев... Негритята
и пальмы все должно быть наготове!

Ром, девки, черные мальчишки. Сладость
трех главных сил, трех мощных воплощений
Антильских островов.

САЛЬВАДОР

КЛАУДИА ЛАРС[254]

Песнь

об индейском ребенке

Перевод Т. Глушковой

Смуглый малыш уснул...

Вот отыскать бы на свете

того, кто влил ему в жилы кровь

орехового цвета.

Может быть, ком земли

в этом замешан действе;

может, сова-науаль,

преданная индейцу?

Ох, и глядела я —
всю обошла я землю! —
на маис и магей[255],
на вулканы и сельву.

Все-то искала я, —
ох, отыскать не сумела! —
взмыла из-под разбитых ног
стаяка горлинок белых.

Улыбнулся во сне...
Видит дитя, наверно,
храм ушедших людей,
что нынче в песках затерян.

Древних времен ткачи
ткали фазанов на ветке,
с греческих ваз цветы
живут на материн ветхой.

И дороги ведут
от Ис?лько к Пет?ну
сквозь бабочек, и листву,
и бешеных трав сплетенье.

Вздыхает во сне малыш...

И возвращаться медлит
в страну, где все, что прежде цвело,
от горя теперь померкло.

В раковине морской
древний грохочет ветер,
раковина хранит
далекий берег рассвета.

Засохли ши?ло цветы,
а прежде медом желтели;
яшмовое острие
на три куска разлетелось.

Беглым народам — бежать,
больше спасенья нету,
топот тяжких копыт
мчится за ними по следу.

Тише: проснется малыш...
Голова заболела,
больно ему во сне з
а этот край омертвелый.

Боязно одному;
снова — и не заметишь —
сон его оплетут
воспоминаний сети.

Страхи, как ночь, длинны,
тяжки, как путь индейца...
Мается он во сне,
в дремоте немого детства.

РОКЕ ДАЛЬТОН ГАРСИА[256]

Иду к твоим боям
Перевод П. Грушко

Отчизна,
крестьянка-мать,
я умолкаю, голос твой слышав,
и чувствую, как сердце наполняет
любовь К тебе!
Когда я думаю об улицах угрюмых
и о горах, стремительно взмывающих
в заоблачную высь,
о шумных митингах твоих,
о каждом голодающем ребенке,
о пролитых в молчании слезах,

о вспышках гнева
и о твоих кровоточащих ранах,
когда я думаю о голосах печальных,
о трудном хлебе,
о спинах, по которым плеть гуляет,
когда я вспоминаю всех убитых
и каждый выстрел по Свободе,
и каждого предателя и тех,
кто кулаки до крови сжал в карманах,
когда я думаю о знамени твоём,
О времени, летящем над тобою,
и о глазах, в которых смерть застыла,
и о других глазах — глазах слепцов, —
я в битвы за тобой иду, отчизна!
Ты словно роза в сердце распустилась!

УРУГВАЙ

ХУЛИО ЭРРЕРА-И-РЕЙССИГ[257]

Перевод М. Самаева

Возвращение с полей

Закат чистейшим златом воздал за все труды...

И женщина, светлея от глаженного ситца
и в волосы вплетенной душистой резеды,

с шитьем или вязаньем на свои порог садится.

Вот девушка проходит, неся кувшин воды, —
ботиики, шаль и посох, чтобы не оступиться.
За часом час минует сонливой вереницей,
Аркадии дыханье чуть шевелит сады.

Все тихо... Лишь из лужиц, синеющих, как нимбы,
доносятся лягушек гнусавые маримбы[258].
В озерах алый отсвет заката все тусклей.

Вершины розовеют — как призраки в тумане,
и пыль у горизонта клубится — то крестьяне
усталою гурьбою идут домой с полей.

Пробуждение

Дверь настежь распахнулась, и, млея от истомы,
Алисия и Хлорис, открыть не в силах глаз,
от света влажных, трут их, развеивая дрему,
обрывки сновидений, столь сладких в ранний час.

В фонтане день умылся, невинно обнажась,
и праздный плуг проснулся на ложе чернозема.

Священника сутана степенно, мимо дома
проплыв, с тенями сада цветущего слилась.

Все дышит и смеется. Гора порозовела,
но в снах еще среди звездных скитается дорог.
Кузнечиком старинных пастушеских эклог

бубенчик монотонный доносится несмело.
И ласточки, как ночи, уже разбитой, стрелы,
в зарю хотят вонзиться, летя наискосок.

Возвращение

От почвы материнским повеяло теплом...
Пасется у дороги мул на краю селенья.
Гора под зимним солнцем сияет в отдаленье,
как старая крестьянка в переднике льняном.

А небо благодушно, и веет ветерком.
Пастушка под сосною сидит, обняв колени,
и тучный скот степенно, вразвалку, в направленье
холма бредет, свирелью пастушеской влеком.

Идет пастух, тяжелой вязанкой дров нагружен;

чуть свет он дом покинул, но на закате дня
ему наградой будут уют и сытный ужин.

Кормильца у порога ждет вся его семья,
а верный пес, приходом хозяина разбужен,
вертит хвостом и лает, у ног его снуя.

Съеста

Все словно замирает в деревне в этот миг.
Лишь колокол порою, бросая ответ едкий,
на сытой скуке ставит размеренные метки,
докучный, как строптивый зажившийся старик.

Аптекарь подле двери во сне смиренном сник.
Над площадью несется кудахтанье наседки.
Орешника в камине потрескивают ветки,
и у огня священник сидит над книгой книг.

Все мирно в этом доме, и небо кроткой синью
мирским трудам — заботам дарует благостыню.
Вокруг фонтана женщин поющих голоса.

Там стирка, чтобы в праздник мог переоблачиться

крестьянин. А из сада бродячая ослица,
лягаясь, удирает от лающего пса.

Заря

Крестьянская лампадка мигает и коптит
в гостеприимной кухне. Поленья задымились,
и запах пищи с духом горящих дров смешались,
в крестьянине рождая здоровый аппетит.

Погонщик понукает волов, арба скрипит.
Вот он бросает упряжь, согнать дремоту силясь.
Сидит за пряжей Тетис, корову доит Филис
и молоком молитвы всевышнего поит.

Стада из стойл выходят, медлительно, в молчанье,
мрача долину словно монашье одеянье.
Бриз растворился в листьях, будя их и бодря.

И, как пастушка после бессонного томленья —
глаза печально томны за поволокой лени, —
глядит на звезды в небе светлеющем заря.

Светотень

Бубенчика с заката донесся звонкий зов.

Погонщик понукает волов хриплоголосо,
и крик его дробится о скалы и утесы,
плещась, подобно стайке нанизанных платков.

Дымок над кровлей тает, и воздух стал лилов.

Вот тельная корова бредет тропой с откоса.
Фигуры лесорубов размыл туман белесый —
лишь вдруг топор заблещет, затишье расколов.

Покрыта полосами палитры огнецветной
трава вблизи погоста. Покой ветхозаветный,
в котором испаренья хлебов растворены,

свинарников, овчарен, земли. И голубь сизый
порой возникнет, словно воспоминанье из-за
потрескавшейся полуразрушенной стены.

Ночь

Ночь на горе покоит печальный кроткий взгляд —
то взгляд над спящим чадом недремлющей косули.
Являя дар Сивиллы, поля во тьме уснули

и то, что внушено им, бессвязно говорят.

Как белые виденья, три тополя стоят,
расчеркивая небо. Запел — уж не в бреду ли? —
петух. Лучи ночного светила затянули
предметы в серебристый чарующий наряд.

На озере уснувшем не видно ни морщины.
Оно — как чистый разум горы. Пастух Альбино
добыть луны кусочек пытается, блажной;

увы, в ковше ладоней одна вода пустая.
Бриз колыбельной песней плывет над садом, тая,
и бесов отгоняет псов монастырских вой.

Флейта

В ознобе роща — ватой на ней туман повис.
Чиста горы вершина — как мысль идеалиста.
И, резкими скачками, как будто норовистый
скакун, с веселым ржаньем, поток стремится вниз.

Тростник открыл у ветра призвание флейтиста.
Внезапно зимней дымки покровы сорвались,

и — солнце смотрит из-за раздвинутых кулис
и в утре растворилось сиянье аметиста.

В лучистых нитях капли скользят между листов.

В них вся игра алмазов и всхлипы бубенцов.

Упильо бросил стадо и, возле речки сидя,

поверил душу флейте, не зная — каково
следить за ним украдкой, внимать игре его
за тополем застывшей и млеющей Филиде.

ДЕЛЬМИРА АГУСТИНИ[259]

Перевод И. Чежеговой

Невыразимое

Да, скоро я умру, и я умру так странно:
меня не жизнь, не смерть и не любовь убьет,
но мысль меня убьет, немая, словно рана...
Знакома ли вам боль, которую несет

мысль непомерная, что гложет неустанно
и плоть и душу вам, но чей не зреет плод?
Не жжет ли вас звезда, что гаснет безымянной

и, мстя, сжигает вас, но света не дает?

Голгофа вечная! Нести в себе все время
бесплодно-цепкое, губительное семя,
нутро мне рвущее безжалостным клыком!

Но как от рук Христа ждут чуда воскрешенья,
так жду я: вдруг дождусь я чуда озаренья,
коль семя прорастет невиданным цветком!

Мечта о любви

Была в мечте моей вначале страсть и сила:
как шумный водопад, она во мне бурлила,
как в бурю океан, безумием больна,
сметала жизнь мою, как ураган, она.

Потом мечта моя поникла, как светило,
чья предзакатная глава воспалена
улыбкой огненной, но, как мольба, грустна
улыбка: всю печаль в ней солнце отразило.

Теперь в мечте моей — восторг, печаль и смех,
все сумраки земли, цветенье радуг всех,

как идол, хрупкая, сильна, как божье имя,

над жизнью властвуя, встает мечта моя:

и поцелуй горит, свой аромат тая

в цветке, чьи лепестки оборваны двоими.

Чудесный челн

Челн приготовьте мне, чтоб был, как мысль, просторным,

пусть «Тенью» или «Звездой» он будет наречен,

ни ветру, ни руке не будет он покорным,

но будет волен он, прекрасен и умен.

Пусть поведет его биением упорным

то сердце, коему нездешний снится сон,

и, словно божьих рук объятые чудотворным,

пусть вынесет меня в любую бурю он.

Челн нагрузить хочу я всей моей печалью,

и в нем, как лилия, приманенная далью,

по воле волн пушусь в нездешние края...

Мой челн, душа моя! Каких ждать приключений,

случайных радостей, глубоких откровений

в пути? Уж ни мечтать, ни жить не в силах я.

Новый род

Будь я твой поводырь, Эрос, в царстве твоём,
я бы властью твоею слепой повелела,
чтобы тело любимого пало огнем
на мое среди роз распростертое тело.

Я нектаром его опою, чтобы в нем
страсть, как ястребов стая, кружила и злела,
чтоб навстречу тем ястребам в теле моем
стая розово-белых голубок взлетела.

И, как змеи, пусть руки его обовьют
мой податливый стебель... И с губ моих пьют
губы мед мой, что я для него собирала...

Жду, как сева горячая ждёт борозда:
будет брошено семя в меня, и тогда
роду светло-безумному дам я начало!

ФЕРНАН СИЛЬВА ВАЛЬДЕС[260]

Гитара

Перевод Г. Шмакова

Гитара,

ты всем надоела,

твои струны оборванные, словно космы, висят.

Ты похожа на женщину, непричесанную растрепу,

которой нет дела до того, что о ней говорят.

Нудишь старую песню, тянешь все ту же унылую ноту,

твое заунывное тренканье

в горле стоит колом.

Ты похожа на первую красотку селенья,

которой все мужчины твердят об одном.

Ты раскинула руки, лениво потягиваешься

в однозвучной ритмичной тоске,

ты молчишь, и рот твой щербатый растягивается в зевке.

Гитара,

у тебя нет возлюбленного;

кто тебе говорит о любви, —

без любви и при всех обладает тобой,

благодарные слушатели глазеют и хлопают

в этот час надругательства над твоей чистотой.

Гитара, у тебя нет возлюбленного,
с настоящим мужчиной
много лет не была ты один на один.

Нос не вешай, гитара,
он придет, ты останешься с ним с глазу на глаз,
и, мужскую ласку изведав,
ты родишь счастливую песню,
молодую, звенящую над землей!

Милонга для всех
Перевод М. Самаева

Чтобы пропеть эту песню,
я в руки беру гитару;
нет лент у нее на грифе,
и нет у нее футляра;
это не бог весть какая —
это простая гитара.

Пусть и креол и гринго
сядут со мною рядом —
ни одного не обижу
я ни намеком, ни взглядом;

я их ценю обоих
и одинаково рад им.

Я не нуждаюсь в лентах —
голос бы не фальшивил;
только б на дереве полом
струны под пальцами жили;
если поет гитара,
ленты на ней — как чужие.

Пою потому, что должен,
хотя б я и был не замечен
и за столом обойден
или хулою встречен,
хотя б полопались струны
или погасли все свечи.

Всем интересно будет
то, что сказать мне нужно:
всем — и креолам и гринго,
хватит земли, нам суженой,
и мы внутри одинаковы,
разные лишь наружно.

Что ж до различий этих —
так я, друзья, отвечу:

солнце и воздух Америки
сблизят обличья и речи;
ну, а душа... нет ни белой,
ни черной — есть человечья.

Нашей земли уроженец
и пришлый из-за границы,
тот, кто родил креолов
здесь и успел прижиться, —
оба земли этой дети,
словно маис и пшеница.

Здесьний закон — для всех он:
закон не глядит на цвет;
каждому право работать,
каждому пища и свет —
ведь между мозолями бедных,
ей-богу, различий нет.

Я гаучо и рад бываю
любому, кто любит труд, —
издалека ль он пришелец
или родился тут;
все, чьи руки в мозолях,
в мой дом, как друзья, войдут.

Но, земляки, учтите
и уж не обессудьте:
здесь мы людей сверяем
по совести и по сути;
пусть вы с пустым карманом —
полны достоинства будьте.

Как бы то ни было — всех вас
за земляков признаю:
и здешних и пришлых — сумевших
найти здесь отчизну свою;
об этом пою как гаучо
и как человек пою.

СЕРАФИН ХОСЕ ГАРСИА[261]

Романс о невеселом пахаре
Перевод Г. Шмакова

Тянет и тянет упряжка
лемех, режущий поле,
иней на черных комьях
блещет россыпью соли.

Вспорото бороздою

брюхо земли упругой,
пахнет она душисто,
ластится к грубому плугу.

Дрозд с белоклювой голубкой,
по полю шествуя чинно,
роются в черных комьях,
ищут червей и личинок.

Тянет и тянет упряжка,
топчет землю-смуглянку,
блещет сахарный иней,
выпавший спозаранку.

Пахарь идет за плугом,
брови насупив хмуро,
медью сверкает кожа
в дымке раннего утра.

Он молчаливей камня,
не услышать его пенья,
голову низко понутив,
бредет он печальной тенью.

Соком багряной черешни

утро подкрасило небо,
глину гончар мешает,
славно посуду лепит.

Пахнет горько ипряно:
в поймах весна хлопочет,
нежный прозрачный воздух
дышит клейкостью почек.

Тает белая морозь,
гибнут черные беды,
вот и сентябрь-мальчишка
пляшет среди побегов.

Облака космы седые
крыльями режет аист,
и красногрудая птица
с криком над лугом летает.

Солнце бросает охапки
света на луг ароматный,
день наполняет котомку
цветом лаванды и мятой.

Тянет и тянет упряжка,

путь ее долог и труден,
новой жизни поклажу
дарит сентябрь людям.

Что ж он так поскупился,
пахарю за старанья
не дал ветки надежды,
алых роз обещанья?

Ах, невеселый пахарь!
Горло тоска сдавила,
в черных глазах печальных
горе твое застыло.

Как на ветру загубели
руки твои в мозолях,
стали шершавы, как корни,
солнцем спаленные в поле.

Снова земля подарит
людям колосья литые,
хлынет зерно рекою,
но в закрома чужие.

Землю опять пропитает

сладостный запах хлеба,
снова с зерном янтарным
в город повозки уедут.

Пахарь, готовься к севу,
поле режь бороздою,
новый хлеб уродится,
станет новой мукою.

Тянет и тянет упряжка,
в двери сентябрь стучится,
в зарослях трав зеленых
снова весна искрится.

Пахарь мой невеселый,
пашешь ты землю чужую!
Сколько зерна ты сеешь,
а корку жуешь сухую.

КАРЛОС САБАТ ЭРКАСТИ[262]

Радость моря

Перевод А. Эйснера

Радость моря! Радость моря! Радость моря!

Соленые волны пляшут, несутся, штурмуют.

Вольные вихри вгрызаются в водную толщу

и катят валы за валами.

Белая пена вскипает вдали,

там, где темные скалы стоят под зеленой водой.

Радость моря! Радость моря! Радость моря!

Охотничьи рога ветра

наполняют густым гуденьем

перламутровые раковины островов.

О, исступленная музыка,

дикие стоны и крики, судорожные аккорды

волн сумасшедших и ветра и соли морской.

Радость моря! Радость моря! Радость моря!

Вот он космический час,

час разнузданности океана,

его черные легкие

выдыхают мрачнейшие ураганы.

Солнце огненными руками

отворяет в тучах голубые двери,

но смерч перекручивает мачты

и принуждает корму и днище корабля

кричать смолеными и злыми голосами.

Радость моря! Радость моря! Радость моря!

Среди грохота воды,
среди седых валов и резких вихрей,
среди острых скал и островов печальных
танцует вместе с кораблем мое распахнутое сердце,
под музыку раскованных страстей.

Радость моря! Радость моря! Радость моря!

Волна разбивается о преграду,
ветер разрывается о преграду,
гроза и море сражаются против всяких преград.

Ах,
упоение, безумие, жар, судороги, бешенство, бред!

Утесы раскалываются и взлетают,
риффы сшибаются с ревом,
острова вопят каменными грудями,
маяки свистят и вздымают руки
в белых кристалликах соли!

Радость моря! Радость моря! Радость моря!

Глаза мои сияют ликованием,
насквозь пропитанный горькой пеной,
я плыву на корабле, погружающемся носом в опасность.

Меня хлещут яростные порывы бури,
вокруг встают беспощадные горы воды,
и рычат бездонные недра океана.

О свобода,
чудесная свобода,
трепетная, безграничная, страстная, трагедийная —

бесконечное веселье стихийных сил!

Сердце мое, смотри:

волна бьется о свои пределы,

ветер бьется о свои пределы,

океан разрушает все пределы!..

И сердце мое танцует вместе с палубой,

плачет и жалуется, поет и смеется.

Я жду мгновения встречи с роковым утесом,

о который разобьются в щепки эти старые доски,

и огромная волна понесет в божественные страны

к новой неведомой и высокой судьбе

мое бледное, вытянутое и светящееся тело, —

огромная волна, стучащая в последний предел.

Радость моря!

Радость моря!

Радость моря!

ХУАНА ДЕ ИБАРБУРУ[263]

Перевод И. Чежеговой

Мятежница

На челн я твой взойду мятежницей, Харон,

пусть тени остальных неслышно точат слезы

иль тихо молятся, боясь, чтоб чей-то стон

не породил в глазах твоих немой угрозы.

Разбудит мертвый челн мой дух живой и дикий:

как жаворонок в нем я буду плыть и петь,
рассыплю, как фонарь, я голубые блики
и воды мрачные заставлю просветлеть.

Да, я мятежницей взойду на челн Харона:

слезинки не пролью и не издам ни стога,
как ни бесись, старик, мой гордый нрав кляня,

нет, не принудишь ты меня к повиновенью,
с челна я не сойду сама покорной тенью,
как варвар — пленницу, ты вынесешь меня.

Дикий корень

Цивилизацией сыта по горло:

хочу свободной быть, хочу счастливой быть!
На пышной клумбе я цвету, как все, покорно,
но корень дикий мой не дам я обрубить!

Нежное чудо

Мои руки... О чудо! Они вдруг расцвели!
Розы, розы на пальцах моих проросли!
Расцвели мои руки от возлюбленных уст:
от твоих поцелуев руки — розовый куст!

Возвещая о чуде, по тропинке я мчусь,
и я плачу от счастья и от счастья смеюсь!
Как отраднo смеяться и не сдерживать слез, —
и, о чудо, весь воздух полон запахом роз!

Но, меня лишь завидев, шепчут люди кругом:
— Помешалась бедняжка... Отвести ее в дом...
Что кричит: будто розами руки цветут
и на пальцах ее — розы, розы растут!

Ах, несчастные! Нет, не для них чудеса;
только в то они верят, что видят глаза:
розы только в саду им увидеть дано,
только в поле для них созревает зерно...

Все должно иметь линию, форму и цвет,
остальное для них — просто выдумки, бред.
Не поймут, коль услышат: — О радость моя! —
Им знакома лишь радость от еды и питья...

Пусть ославят безумной, пусть в темнице сгноят,
заперев меня на семь засовов подряд,
пусть у двери оставят свирепого пса,
чтоб забыла и думать я про чудеса...

Все равно буду петь: мои руки цветут
и на пальцах моих розы, розы растут!
И почует, встревожась, тюремщик мой — пес,
как темница наполнится запахом роз!

Гиацинтовое море

Море на рассвете
цвета гиацинта,
как фиалок россыпь,
брошенная ветром...

К этому бездонно-фиалковому цвету
хочется припасть щекою, побледневшей
от бессонной ночи...

От тоски бессонной медленно очнуться
на подушке, взбитой
волнами приливов, волнами отливов,

к?мнями морскими...

Море на рассвете —
ни судов, ни лодок, —
цвета гиацинта,
как глаза невинных,
только что рожденных!

Последняя смерть

Сегодня я покончила со смертью,
с которой столько нянчилась доньше:
со смертью из романа и легенды,
со смертью в кадре черно-белой ленты,
со смертью зрелищем и ослепленьем...
Прощай, манящая загадка-смерть!

Прощай и ты, смерть отроческих лет,
смерть в непорочных ангельских одеждах
среди гелиотропов и рыданий —
не в духе времени такая смерть!

И ты, далекая, из детской сказки,
из мира снов улыбчивого детства,
где локон золотой, ларец заветный,

корабль волшебный, белоснежный лебедь...

Теперь я знаю: смерть — безгласная, слепая,
бесцветная, безликая — другая,
всему живому чуждая, она —
смерть для земной надежды. Смерть.

Смерть бесконечная,
без ада и небес,
все отнимающая без возврата,
смерть — тайна, в окруженье вечных стен.
Вот что такое смерть.

ХУАН КУНЬЯ[264]

Путевые напевы

Перевод В. Резниченко

Если в путь я вышел поздно,
если мрак замкнул окрестность,
пусть не кажется мне грозной
этой ночи неизвестность.

Бил родник, и до рассвета

темная капель звучала.
Я готов поклясться — это
кровь в висках моих стучала.

Тишь. Доносится до слуха
чья-то песня путевая
и смолкает. Ветер глухо
плачет, сосны обнимая!

И вода в своем паденье
час за часом с той же силой,
пробиваясь сквозь забвенье,
точит камень над могилой.

Жить

Перевод В. Резниченко

Зимой и летом нет конца заботам,
с утра до ночи бедам нет числа.
Идешь с поклажей, обливаясь потом, —
извилист путь и ноша тяжела.

И западня за каждым поворотом,
и тайна из-за каждого угла,
и тратишь силы зря: скрывает мгла

дорогу к недостигнутым высотам.

Пьешь наспех, дышишь наскоро; от дум
устала плоть, изнемогает ум,
и суета становится привычкой...

Так размышляя, коротает век
разумный зверь, чье имя — человек,
один, на сквозняке, с зажженной спичкой.

Существовать

Перевод В. Резниченко

И все-таки, что это значит — жить?
Скитаться, видеть, петь, но сознавать,
что завтра — смерть, что суждено не быть,
исчезнуть, ничего не ощущать.

Пока же — пить, дышать и созерцать,
искать разгадки, тайны находить.
Какое наслажденье — говорить.
Возможно ли — навеки замолчать?

Быть существом среди других существ.

Иметь свою частицу, свой глоток
зари и ветра, пламени и льда.

Считать рассвет первейшим из торжеств.

Вытягиваться к солнцу, как цветок.

Идти — из ниоткуда в никуда.

«Двадцатилетье вчера миновало...»

Перевод А. Гелескула

Двадцатилетье вчера миновало,

как перебрался я в дом городской.

Взял я с собою — богач небывалый —

птиц моих чутких, как лес над рекой.

И, трепетавших, одну за одной

выпустил их на пороге подвала.

Взмыли — и небо с тех пор пустовало.

Вот и теперь ни крыла надо мной.

Двадцатилетье. И столько в нем горя.

Столько тоски. День за днем нарастая,

душит она, и дышать тяжело...

Что с вами стало, родные нагорья?

Где же ты, где ты теперь, моя стая?

Было мне двадцать. И двадцать прошло.

Обильна и щедра моя земля

Перевод В. Резниченко

Обильна и щедра моя земля;

душа ликует — до того красивы

и хороши окрестные поля.

Пшеница уродилась как на диво —

мне б стройным стать, как колос налитой,

мне б мощь зерна и безграничность нивы!

Пускай волна пшеницы золотой

свое течение бурное направит

к Ревере от Ла-Платы голубой!

Пусть уругваец вечером предъявит

согражданам итог трудов дневных,

и каждый пусть в ответ свой труд представит.

Пусть среди нас не сыщется таких,

кто явится ни с чем; с другими вместе
и я представлю дело рук моих.

Пусть радуются люди доброй вести:
наш общий хлеб не отдан богачу,
а между всеми разделен по чести.

Все сбудется, что предсказать хочу:
не за горами день, когда, как братья,
по жизни мы пойдем плечо к плечу.

Дай руку мне, раскрой свои объятия,
мой соотечественник и земляк —
нет крепче нашего рукопожатья!

Наш общий сноп поднимем вверх, как флаг.

МАРИО БЕНЕДЕТТИ[265]

Перевод Б. Слуцкого

Новичок

Приходит новичок

всем довольный
застенчиво улыбающийся
фаберовский карандаш
отточен
строгий синий воскресный
костюм
вызывающе девственен
Мальчик
Весьма приличный
весьма подтянутый мальчик
Садясь
всегда поддегивает брюки
бормочет «да сеньор»
о себе
не думает
Склонив голову
пишет без помарок
пишет пишет
до без пяти семь
И только потом
вздыхает
и это праведный вздох
счастливого утомления
спокойной усталости
Всем понятно
что он кланяется
с перебором
и через двадцать
может быть двадцать пять
перестанет

быть самим собой
не сможет распрямиться
от неотступной
боли в пояснице
и его брюки
превратятся в засаленные цилиндры
Этот подержанный старичок
будет бормотать
не «да сеньор»
а ругательства
правда тихонько
и раза два в год
будет думать
с полной уверенностью
без претензий к судьбе
без веры в свою тоску
что все
было
слишком
просто

Ангелус[266]

Это и есть судьба? Кто мне подтвердит?

Смотреть на дождь сквозь перевернутые литеры,
на стену с пятнами, похожими на лица знаменитостей,

на крыши автобусов, сверкающих, как рыбы,
на тоску, пропитанную автосиренами.

Ни неба,
ни горизонта.

Только большой стол, общий для всех
и стул,
вращающийся, когда я хочу исчезнуть.
Странно, что где-то у кого-то есть время грустить;
здесь всегда слышатся звонок, телефон, приказ
и, конечно, запрещается плакать над бумагами,
потому что нехорошо, когда расплываются чернила.

С, Гусман де Рохас. «Материнство». XX в.

Стуча на машинке

Монтевидео пятнадцатое ноября
тысяча девятьсот пятьдесят пятого года
в детстве
Монтевидео был зеленым
совершенно зеленым
и по нему ходили трамваи
теперь я настоящий сеньор
но тогда у меня была толстая книга
которую я мог читать по двадцати пяти сантиметров за ночь

и после чтения ночь сгущалась
и я пытался думать
как это так
не быть
падать камнем в колодец
Уведомляем Вас что сего числа
мы перевели с Вашего счета
Кто это ах да это мама
приближаясь включала свет не пугайся
гасила его прежде чем я засыпал
Триста двадцать песо
фирме Менендес и Солари
и мне снились тени огромные словно кони
и слоны и человекообразные чудища
что было все же лучше
чем думать захлебываясь от ужаса
В соответствии с нашими правилами
седьмого числа текущего месяца
Был таким непохожим был зеленым
совершенно зеленым
и по нему ходили трамваи
и какое счастье иметь форточку
чувствовать себя хозяином
идущей вниз улицы
загадывать
какой номер стоит на дверях
и держать пари с самим собой
на жесточайших условиях
Просим незамедлительно уведомить о вручении
Если кончал в тринадцать или в семнадцать

шел в кино — посмеяться или поумирать
Чтобы мы смогли
зафиксировать это на вашем текущем счете
Был совершенно зеленым
и по нему ходили трамваи
Право с аллеями и палой листвою
с запахом эвкалиптов и ранним утром
Приветствуем Вас с глубоким уважением
Но с той поры прошли годы и кто знает кто знает

АМАНДА БЕРЕНГЕР[267]

Перевод А. Косс

Удар

Удар пришелся точно — прямо в душу,
внезапный и слепящий, словно солнце,
недвижное, кровавое, немое, —
и негде скрыться, некуда уйти
от яростного света. Я б хотела
уснуть, оставить вещи, позабыть
багаж и развернуть, как простыню,
дорогу без конца. Но я держусь.
Я научусь смотреть не щурясь в пламя.
Попробуй-ка сорви цветок-огонь.
Наверное, ресницы я спалила
и радость и спалила все в себе

до самого нутра. Ну что же, дайте мне
золу никчемно прожитого лета,
его венок, сухой и облетевший,
дар телу, обреченному любви.

Дороговизна

Спокойно и неумолимо

сжимается кольцо молчанья,
как предвозвестие всеобщей забастовки,
но в то же время вверх по венам с хитрой
миной

карабкается благосостоянье,
то гасит свет, то буйствует в огнях
поглядывая вниз, в колодезь
бездушный лифта.

Как трудно в наше время содержать
такую отчуждаемую собственность,
как сердце,

и трудно прокормить беднягу
небесной сказочкой,
привязанной, как птица, к мачте,
плывущей по теченью.

Не хватает зарплаты, бессонница
мечется, роется в карточках
на продукты первой необходимости,
ищет сон, настоящий сахар,
ищет ларьки, где отпускают свободно

славу, муку, соль
и, разумеется, куриные потроха
на вес, килограммами, чистые и нетленные.
И стоит горе своей горечи,
и стоит горя — но все-таки стоит —
добиться до непривычной вершины.
Но кто отважится полететь
на этом пылающем вертолете,
чтоб только коснуться тучи, несущейся вдаль?
Тот, кто рискнет, скорезится и сгорит,
ибо таково милосердие
сегодняшнего дня, праздного и бесконечного.

ИДЕА ВИЛАРИНЬО[268]

Перевод С. Гончаренко

Небо, небо

Мир затопила черная лавина.
Крутая полночь. И земля пустынна.
И тени мертвых шепчутся во мраке...
Но в темноте над храмом Магдалины
вдруг расцветают огненные маки,
и чудный свет струится по долине...
О, подарите розу Магдалине!

Она, она, голодная блудница!
Готовая на все за корку хлеба...
Затоптанная в грязь... О небо, небо!
Ей суждено с тобою было слиться...
Гримасой перекошенные лица
и тычущие пальцы... Нас одною
сейчас объединила ночь виною.

Сейчас мы все готовы повиниться.
Мы в этот час готовы плакать, где бы
он нас ни заставлял... О небо, небо!
Но эта ночь не вечно будет длиться.
И на рассвете просветлеют лица,
и память снова зарастет корою...
А ночь придет с одной на всех виною.

Бедный мир

А вдруг его убьют,
и, на куски развален,
взорвавшийся, как паровой котел,
он будет стынуть —
кладбище развалин
испепеленных городов и сел,
из мирозданья вычеркнут навечно:
как мокрой губкой
стертый напрочь мел...

А может, безрассудны и беспечны
ему другой готовим мы удел:
его очистят. Попросту очистят
И жизнь спадет, как падает парик.
И будет лысый шар, крутясь
лучиться
В сиянии — прекрасен и велик.
А выражаясь менее красиво,
хоть этот слог для некоторых груб,
по их вине он будет плыть, как синий,
раздутый, разлагающийся труп.

ИДА ВИТАЛЕ[269]

Перевод Т. Макаровой

Конец праздника

Накрыт надеждой стол существованья.
Вода, плоды, вино, мечты и хлеб,
любовь — цены немалой! — на тарелках, —
все будет страхом, даром, и тревогой,
и ежедневным праздником, и долгом
на срок, который угадать нельзя;
и теплая посуда перед нами,
и спутница, и беззаботный голод...
Но вот однажды скажут:
день настал,

плоды земные кончились...

Назавтра

вы на столе найдете на рассвете
ненужные вам сущности вещей,
и хлеб сомненья, и пустые кубки,
в которых время нехотя жалеет
о том, что было,
и невыносимость
безвкусного и пресного безделья,
и тающую тучу слов чужих,
наш прах и пыль кропящую без пользы.

Ежедневные обязанности

О хлебе помни и о темном воске,
которым стол для блеска натирают,
корицу не забудь и весь набор
необходимых специй.

Поспешай,

и исправляй,

и бодрствуй,

и свершай

неукоснительно обряд домашний.

Найди опору в соли, и в муке,

и в меде, и вине, тебе не нужном,

выдавливай природу из себя,

горячий вопль мятущегося тела.

Сшивай иглою с бесконечной ниткой

кусок с куском разорванного неба,
ткань с тканью, вечер с вечером,
мечту
с мечтою горько-сладкой.

Пусть клубок
в твоих руках кружится бесконечно,
как ты сама кружишь в хитросплетеньях
иного лабиринта.
Не стремись, не опьяняйся мыслями, пряди.

Что проку вспоминать былое,
в мифах
искать спасения?
Ты — Ариадна[270],
которой нет награды
и которой
корона никогда не суждена.

Май

Пишу, пишу, пишу, пишу — и мимо,
не прихожу к чему-то и к кому-то,
меня слова пугаются, как птицы,
уходят вглубь, потрескивая глухо,
пускают корни в комковатой почве

и снова выбираются наружу,
колеблясь, неуверенно, с сомнением.
И над неточным, смутным и невнятным,
над тенью слов живет первооснова —
любить тебя.

ВАШИНГТОН БЕНАВИДЕС[271]

Перевод М. Самаева

Надо, жаворонок, петь

Поля тоскливы; выжжена земля;
повержены пшеница и маис.
Степь, степь и степь; следы недавней бури:
солома с глиной, черные стволы, жестянки.

Замес

зловонья и страданья.

И все же надо, жаворонок, петь.

Здесь улицы впадают в Рио-Негро,
здесь город — сад с гниющими плодами;
а суэта мирская струйками процессий
стекает на погосты.

Приглушенные голоса, нетвердые шаги
да скуповатый свет фонарный.

Нет, этот город не взойдет на небо.

Здесь умирают задолго до смерти.

И все же надо, жаворонок, петь.

Четвертый дом

Здесь не зеленого — здесь розового мало.

Облупленные голубые стены
распахивают два обрубка крыльев,
и вылиняли от дождей и ветра
национальные цвета фасада;
похож на челюсть в старческой улыбке
обломок выпершего кирпича.

И все же этот дом — не просто дом:
в него проникнуть — все равно что в душу.

Знакомьтесь: вот Перико примеряет
чужие башмаки; вот Амаранто —
он каменщик и чинит эти стены;
Сенон — всего лишь негр, попавший в город,
который создан по обличью белых;
а это Педро — аккордеонист
какого-то заштатного оркестра
и уроженец здешних мест.

Порою вечер сводит их
под доверительные звуки танго,
слетающие с клавиш,
чтобы собрать их душ разбредшееся стадо.

Тогда Перико, Амаранто,
Сенон и Педро
сидят, потягивая мате,
и говорят о жизни по душам.

Им хорошо известно,
что хлеб их искрошился, что судьбу их,
дешевую судьбу, не назовешь
ни божьим провиденьем, ни промыслом господним.

Им подсказала жизнь сама,
что пиршества и мотовство богатых
слагаются из латок бедняков.

Однако ненависть чужда им.

Да, этот дом — не просто дом.

Облупленные голубые стены
распахивают два обрубка крыльев.

ЧИЛИ

КАРЛОС ПЕСОА ВЕЛИС[272]

Перевод Н. Горской

Поезд

Куда убегают поляны

и серые рощи бегут?

Спешат они в дальние страны,

туда, где их люди ждут.

В прохладной воде озерной

отражается крона ветлы,
и поет погонщик задорно,
и траву щиплют волы.

На камень присела птица
и слушает в сотый раз,
как мерно вода струится,
повторя старый рассказ.

Проносятся мимо, мимо
холмы друг другу вослед —
все проходит неудержимо,
постоянного в мире нет.

Тревожным, гулким раскатом
разбудит эхо поля,
за ним — куда-то, куда-то —
в летаргии плывет земля.

Призывно ржет кобылица,
отвечает ей конь вороной,
в лугах жеребенок резвится,
тонконогий, такой смешной!

А где-то за сонной далью

колокольня свой шпиль вознесла,
исходят глухой печалью
гудящие колокола.

Повозка, заросли дрока.
На козлах хмурый пеон.
Петляет лесная дорога,
и низко навис небосклон.

Недвижно стоят под ветром
тополя сухие окрест,
их руки к небу воздеты —
беспомощный, грустный жест.

На перекрестках повсюду
виднеются кабаки.
Несладко простому люду —
оттого и пьют бедняки.

Куда же холмы и поляны
за ветром летят без дорог?
Должно быть, в дальние страны
позвали их люди и бог...

Вечер в больнице

Над полями дождь бесконечный —
мелкий, скучный, ленивый.

И приходит грусть в этот вечер
дождливый.

Я один, тоска меня гложет,
гнетет тишина больницы.
Может быть, сон поможет
забыться...

Но все тот же дождик бессонный
стучит и стучит лениво,
мне мешает плач монотонный,
тоскливый.

За окном бесконечность ночная,
шорохи, всплески, шумы;
и тоскливы, как пыль водяная,
думы.

ПЕДРО ПРАДО[273]

Перевод Н. Горской

Мой стих

Когда в последний час приду к познанию,
что для любимой песня не нужна,
что славы нет, поэзия бедна
и за улыбкой кроется рыданье,

меня покиньте все, прошу заранее.

Я тихо улыбнусь — прими, весна,
мой мертвый поцелуй. О, как ясна
улыбка у того, кто знал страданье!

Пускай тогда мне стих щитом послужит,
иносказанье строк его капризных,
полнее, чем улыбка по весне,

вам скажет все и сон мой не нарушит;
прекрасен, тайной горечью пронизан,
мой стих незримо жить позволит мне.

Уйдя в себя...

Уйдя в себя, бреду неторопливо
без цели, без тропы определенной,

какие-то мосты, и лес зеленый,
и узкая межа по краю нивы.

С холма открылось мне заката диво —
вверху извечный океан бездонный
течет среди островов замороженных
несуществующей страны счастливой.

Стою, его огромностью принижен,
и в эту ширь гляжу и замираю:
я — как река, что, на ветру играя,

в предвестье бури стынет неподвижно,
и молится, и верит в волшебство,
и жаждет слиться с волнами его.

ГАБРИЭЛА МИСТРАЛЬ[274]

«Мыслитель» Родена

Перевод Инны Лиснянской

Подбородок тяжелой рукой подпирая,
Вспоминает, что он — только остова плоть,
Обреченная плоть, пред судьбою нагая, —

Красотой не могущая смерть побороть.

В дни весны от любви трепетал он, пылая,
Нынче, осенью, горькою правдой убит.
«Все мы смертны», — печать на челе роковая,
И в ночи он всей бронзой своею дрожит.

И проносится ужас по бороздам тела,
Рвутся мышцы, напрягшиеся до предела,
Как осенние листья пред божьей грозой,

Что гудит в его бронзе... Так корень сухой,
Так израненный лев не страдали в пустыне,
Как мыслитель задумавшийся о кончине.

Сильная женщина

Перевод Инны Лиснянской

Обветрено лицо, а кофта голуба, —
Такой тебя глаза мои запечатлели.
Там, в детстве, где земля раскрыта, как судьба,
Я видела тебя на пахоте в апреле.

Пил в грязном кабаке нечистое вино,

Тот самый, от кого и родила ты сына.
Несла ты тяжкий груз, но падало зерно
Из бедных рук твоих спокойно и невинно.

А летом жала хлеб для сына, вся светясь,
И вновь я от тебя не отрывала глаз,
Расширенных от слез восторга и от боли...

Все целовала б грязь я на ногах твоих!
Иду я, отвратясь от модниц городских, —
И тенью и стихом, — вслед за тобою в поле.

Кредо

Перевод Инны Лиснянской

Верую в сердце мое, в эту ветку душистую, —
Дышит господь на нее и колышет в тени,
Жизнь наполняет дыханьем любви, и становятся
Благословенными дни.

Верую в сердце мое, ничего не просящее,
Ибо в мечтанье причастно оно высоте,
И обнимает властительно все мироздание
В этой высокой мечте.

Верую в сердце мое, что в глубины господние
Раны свои погружает, слагая напев,
Чтоб, как дитя из купели живительной, заново
Выйти, для счастья прозрев.

Верую в сердце мое, наделенное трепетом, —
Ведь вразумил его тот, кто волнует моря,
Вот и живет оно первоначальной музыкой,
Ритмы прибоя творя.

Верую в сердце мое, что рукой нещадящею
Я выжимаю на холст бытия, чтобы он,
Красками крови окрашенный, был в одеяние
Огненное превращен.

Верую в сердце мое, что любовью посеяно, —
На борозде бесконечной возшло, как зерно.
Верую в сердце мое: хоть всегда изливается,
Но не пустует оно.

Верую в сердце мое, что не будет источено
Жадным червем, ибо смерти затупится суть.
Верую в сердце мое, ничего не таящее,
В сердце, склоненное грозному богу на грудь.

Встреча

Перевод Инны Лиснянской

С ним я встретилась на тропинке, —
Речка спящая не пробудилась,
Не раскрыл шиповник бутоны,
А душа моя вдруг раскрылась, —
И у женщины потрясенной
Все лицо залито слезами!

Шел и нес на губах веселых
Он свою беспечную песню.
А взглянул, и мне показалась
Песня глубже глуби небесной,
А тропинка мне показалась
Странной, словно во сне бессвязном, —
Неспроста на рассвете алмазном
Все лицо залито слезами!

Напевая, прошел он дальше
И унес мой восторг с собою...
Цвет шалфея не стал синее,
Не вознесся в небо с мольбою.
Ну и пусть! Ведь воздух пронизан
Потрясенной моей душою.
Хоть меня и никто не унизил,

Все лицо залито слезами!

Нет, не он у зажженной лампы

Просидел всю ночь одиноко, —

Спал, и грудь его не щемило

От тоски моей беспросветной,

Но, быть может, во сне глубоком

Обступал его запах дрока,

Потому что у женщины бедной

Все лицо залито слезами!

Ни от голода, ни от жажды

Не всплакнула я в жизни ни разу;

Но господь мне послал не встречу,

А пожизненную проказу.

Мама старая каждый вечер

За меня молит бога. Но, видно,

У меня теперь будет вечно

Все лицо залито слезами!

Люблю Любовь

Перевод Инны Лиснянской

Бьет по ветру крылом, вольно топчет дорогу земную,

И трепещет на солнце, и любит лесное житье.

Не пытайся ее отогнать, будто думу дурную, —

Нет, придется признать ее!

Знает бронзы язык и язык умоляющий птицы,
Повелительный говор морей и ненастья нытье.
На нее замахнуться не вздумай, не смей рассердиться, —
Нет, придется принять ее!

У нее все повадки хозяйки: поддавшись минуте,
Разбивает цветочные вазы и льды, как старье.
Не пытайся разжалобить иль отказать ей в приюте, —
Нет, придется впустить ее!

Отвечает на все, как всевидица, слух твой лаская, —
Изощренно коварство ее и искусно лганье.
Не божественная тебя мудрость спасет, а людская, —
И поверишь словам ее!

И завяжет глаза, но повязки льняной не сорвешь ты,
И протянет горячую руку, и примешь ее,
И пойдет, и пойдешь ты за ней, хоть поймешь ты,
Что уходишь в небытие!

Экстаз

Перевод Инны Лиснянской

А теперь, Христос, закрой мне глаза,
Губы заледени, —
Потому что сказаны все слова
И лишними стали все дни.

Друг от друга не отрывали мы глаз, —
Он смотрел на меня, а я на него, —
Словно в смерть вонзались зрачки, —
Как огонь агонии, длился экстаз,
Озаряя последнею бледностью нас.
А за этим мгновением нет ничего!

О как судорожно говорил он со мной!
А в смятенных словах моих, полных тоски,
Был восторг, и истома, и страх, —
О судьбе говорила моей и его,
О любви роковой, —
О замесе крови на сладких слезах.

После этого знаю я — нет ничего!
Не осталось росинки такой на цветке,
Чтоб слезой
По моей не скатилась щеке.

На губах — немота,

И в ушах — глухота,
И в глазах — слепота, — так бесцветна земля!

Смысла жизни ни в чем не увижу я,
Ни в багровых цветах,
Ни в безмолвных снегах!
Потому и прошу я тебя, Христос, —
Я и в голод к тебе за хлебом не шла, —
А теперь пожалей,
Закрой мне глаза,
Иней на губы мне положи.

От ветра плоть мою защити, —
Ведь его слова пронеслись по ней,
От дневного света освободи, —
Днем я вижу его ясней!
Так прими же меня, я иду,
Переполненная, как земля в половодье!

Стыд

Перевод Инны Лиснянской

О как твой взгляд меня преображает! —
Лицо сияет, как в росе травинки.
Меня тростник высокий не узнает,
Когда к реке спущусь я по тропинке.

Стыжусь себя: остры мои колени,
Надломлен голос, рот сведен тоскою.
Пришел ты — и себя я на мгновенье
Почувствовала жалкой и нагою.

Не встретил бы и камня ты сегодня
Бесцветнее, чем женщина вот эта,
Которую заметил ты и поднял,
Увидев взгляд ее, лишенный света.

Нет, я о счастье — никому ни слова,
Нет, не поймут идущие по лугу,
Чт? так разгладило мой лоб суровый
И чт? за дрожь пронизывает руку.

Трава росу ночную пьет стыдливо.
Целуй! Смотри, — не отрываясь, нежно!
А я наутро буду так красива,
Что удивлю собой тростник прибрежный.

Ноктюрн

Перевод Инны Лиснянской

Ах, отец наш небесный, мне больно!

Почему ты забыл обо мне?

Вспомнил ты о плоде и расплавил

Мякоть алую в летнем огне.

Погляди: я изранена жизнью

И для смерти созрела вполне.

Ты в багровую бросил давильню

Виноградную черную гроздь,

Листья с тополя сдул и развеял

В хрупком воздухе позднюю грусть,

Но в давильне раскрытой для смерти

Все не хочешь расплющить мне грудь!

На пути моем были фиалки,

Ветра хмель я пила, а теперь

Опустила я желтые веки, —

Не нужны ни январь, ни апрель.

И замкнула уста, — я устала

Гибнуть, жалкие строфы граня.

Ты ударил осеннюю тучу,

И не хочешь взглянуть на меня!

Тот и продал меня за бесценок,

Кто к щеке в поцелуе приник, —

И лицо мое в поте кровавом
На стихе отпечаталось вмиг,
Как на плате святой Вероники,
Отпечатался ясно твой лик.

Необъятною стала усталость,
Поселилась в глазах у меня
Вся усталость зари предыдущей
И усталость грядущего дня,
И небес оловянных усталость,
И небес, просиненных до дна.

Еле-еле сандалии и косы
Расплетаю, мечтая о сне,
И тобой вразумленная, отче,
Я рыдаю в ночной тишине:
Почему же меня ты оставил,
Почему ты забыл обо мне!

Одержимость

Перевод Инны Лиснянской

Меня в пещерах ищет
Лучом луны залятым,
Касается росой
И кровянит закатом.

Как длань Фомы — Спаситель, —
Мою берет он руку,
В свою влагает рану,
Чтоб не забыла муку.

Сказала: «Жажду смерти».
Не хочет, а желает
Терзать меня: то пылью,
То снегом заметает.

Во сне моем и в яви
Мелькает предо мною,
Из-под зеленых платов
Зовет меня весною.

Я под другое небо
Ушла, к другому морю,
Но следует он всюду
За мною, мне на горе!

Как ты была беспечна!
Ему ты саван сшила,
Но ты закрыть забыла
Глаза ему и руки

Во гробе не сложила.

Фонтан

Перевод Инны Лиснянской

Я как фонтан, иссохший от рыданий.

Ведь он, и мертвый, слышит в шуме дня

Свой гул, и голос в каменной гортани

Еще дрожит, как песнь внутри меня.

Еще не все потеряно! Я верю, —

Судьба не напророчила беду, —

Лишь голос обрету — верну потерю,

Лишь руку протяну — тебя найду.

Я как фонтан, лишенный дара слова.

В саду другой поет среди ветвей,

А он, от жажды обезумев, снова

С надеждой слышит песнь в душе своей.

Журчащий веер чудится бедняге,

А голос уж погас, — не стало сил.

Он грезит, что алмазной полон влаги,

А бог его уже опустошил.

Спокойные слова

Перевод Инны Лиснянской

Открылась посреди пути земного

Мне истина, как чашечка цветка:

Жизнь — это сладость хлеба золотого,

Любовь — долга, а злоба — коротка.

Заменим стих язвительный и вздорный

Стихом веселым, радующим слух.

Божественны фиалки... Ветер горный

В долину к нам несет медовый дух.

Не только тот, кто молится, мне дорог, —

Теперь и тот мне дорог, кто поет.

Тяжка и жажда, и дорога в гору,

Но ирис нежный — все-таки влечет.

У нас глаза в слезах, но вот речонка

Блеснет, — и улыбаемся опять.

Залюбовавшись жаворонком звонким,

Забудем вдруг, как трудно умирать.

Спокойна плоть моя, — ушло смятенье,

Пришла любовь, — и нет былых тревог.
И материнский взор — мне в утешенье,
И тихий сон мне уготовит бог.

Медленный дождь

Перевод Инны Лиснянской

Дождь боязлив и беспомощен,
Словно ребенок больной,
Изнемогает, приблизившись
К почве земной.

Смолкли и ветер и дерево.

И в безупречной тиши

Дождь, словно плач неутешенной

Нежной души.

Небо, как сердце огромное,

В горе раскрытое вновь.

Это не дождь, это медленно

Падает кровь.

Люди в домах и не чувствуют

Горькой небесной беды,

Что с высоты опускается

В виде воды.

Призвана влага разъятая
Долго и медленно течь,
Чтобы на землю дремотную,
Чуждую лечь.

Дождь... Как шакал обезумевший,
Мрак притаился в горах.
Что же земле уготовано
Нынче впотьмах?

Можно ли спать, если падает
С вечера и до утра
Эта вода, эта кровная
Смерти сестра?

Песни Сольвейг

Перевод Инны Лиснянской

1

В объятия дорог заключена,
Сладка земля, как губы человечьи.
И при тебе такой была она,
Любовь моя, я жду с тобою встречи!

Гляжу, как мчится времени река,
На водопад судьбы гляжу в тревоге
И жду, что ты придешь издалека, —
Всю землю опоясали дороги.

Тобою, как вином, живет душа.
Изранена тобой, но не убита,
Я вдаль зрочки вонзаю, не дыша:
Ах, вся земля дорогами обвита!

Меня в твоих объятьях видел бог.
Когда умру, что я отвечу богу,
Коль спросит, где ты задержаться мог
И почему забыл ко мне дорогу?

В долине заступа угрюмый стук,
И приближаюсь я к своей могиле,
И все-таки я жду тебя, мой друг,
Не зря дороги землю всю обвили!

2

Горный склон на своем пути
Сосны тенью покрыли синей.
Отдыхает на чьей груди
Тот, кого я люблю поныне?

По оврагу ручей течет,
К водопою спешат ягнята.
К чьим устам приникает тот,
Кто к моим приникал когда-то?

Ветер клены треплет, шутя,
И, смеясь, к земле пригибает,
Но как плачущее дитя,
Он к моей груди припадает.

Жду тебя уже тридцать лет
У дверей на своем пороге.
Снег идет, а тебя все нет,
Снег ложится на все дороги.

3

Закрыто небо тучей, стонут сосны, —
По-человечьи ветер бьет тревогу,
Земля накрыта тучей снегоносной, —
О как Пер Гюнт найдет сюда дорогу!

Густая тьма. Какая ночь скупая, —
Хотя б к скитальцам жалости немного!
Глаза мои загубит ночь слепая, —
О как Пер Гюнт найдет сюда дорогу!

А хлопья снега все крупней и гуще, —
Кто к заплутавшим выйдет на подмогу?
Снег погасил уже костры пастушьи...
О как Пер Гюнт найдет сюда дорогу!

Строфы

Перевод Инны Лиснянской

Все на устах у меня обретает
Вкус неизбывный слезы:
Пища и песня,
Даже молитва.

После того, как любовь превратилась в безмолвье,
Только я знаю, что лью
Слезы, которые ты мне оставил, —
Дела другого не знаю.

Слезы мешают мне веки поднять.
Судорожно приоткрыты
Скорбные губы:
Даже дыханье — мольба о прощенье!

Что за постыдное существованье,

Что за трусливая жизнь!

Вслед за тобою пойти не решаюсь,

Но и расстаться с тобою не в силах!

Стыд меня точит, и кровоточит моя совесть:

Вижу я небо, а ты, —

Ты отгорожен от неба землею,

Трогаю розы, но розы питает

Известь костей твоих мертвых!

Жалкая плоть моя, хоть и смертельно устала,

Вниз не сошла, чтобы рядом с тобою улечься,

А прихватила, дрожа,

Жизни нечистый сосок!

Из песен в море

Перевод Инны Лиснянской

(Песня тех, кто ищет забвенья)

Чудная лодка, ладная лодка,

Бок оторочен белою пеной.

К ребрам широким и просмоленным

Я приникаю в просьбе смиренной.

Вечное море, вечною солью

Сердце отмой мне, выкупай в пене.

Если для битвы — лоно земное,

Лоно морское — для утешенья!

Бедное сердце я пригвоздила

К лодке могучей, к лодке летящей,

Будь осторожна, милая лодка,

С этим сосудом кровоточащим.

Доброе море, сердце отмой мне,

Вытрави память едкою солью,

Или о днище сердце разбей мне, —

Так надоело жить с этой болью.

Всю свою жизнь я бросила в лодку.

Дай мне расстаться с прежней судьбою,

Жизнь мою з? сто дней переделай,

И обручусь я, море, с тобою.

Сотнею вихрей выдуй бывшее,

Выкупай в пене, выкупай в пене...

Просят иные жемчуг у моря,

Я умоляю: дай мне забвенья!

Попугай

Перевод Инны Лиснянской

Мой попугай, изумрудный и желтый,
Мой попугай, золотой и зеленый,
Клюв сатанинский раскрыл и картавым
Голосом крикнул в лицо мне: «Дурнушка!»

Но не дурнушка я. Будь я дурнушкой,
То некрасивой была б моя мама,
На некрасивое солнце смотрела б
И некрасивый бы слушала ветер,
И в некрасивом купалась бы море,
И некрасивым бы мир оказался,
Да и создатель его — некрасивым...

Мой попугай, золотой и зеленый,
Мой попугай, изумрудный и желтый,
Лишь потому мне и крикнул: «Дурнушка!» —
Что основательно проголодался.
Хлеб и вино унесла я из клетки, —
Мне и глядеть на него надоело, —
Вечно болтается в клетке всячей,
Вечно похож на висящий подсолнух!

Колыбельная

Перевод Инны Лиснянской

Море баюкает тысячи волн
Божественными речами.
Слушая любящие моря,
Родное дитя качаю.

Ветер-бродяга колышет хлеба,
Баюкает их ночами.
Слушая любящие ветра,
Родное дитя качаю.

Бог склонился над люлькой миров,
Отчими смотрит очами.
Чувствуя тень от его руки,
Родное дитя качаю.

Люлька

Перевод Инны Лиснянской

Плотник, сделай люльку
Принцу моему.
Не дождусь я люльки
У себя в дому.

От сосны, мой плотник,
Ветки отсеки,
Хоть нежны те ветки,
Как мои соски.

Был ты, рослый плотник,
Тоже малышом,
Вспомни мать и сделай
Люльку хорошо.

Пусть твой мальчик, плотник,
Спит, смеясь во сне.
Я качаю сына, —
Сделай люльку мне.

Гимн тропическому солнцу
Перевод О. Савича

О солнце инков, солнце майя[275],
ты плод американский, спелый,
кечуа, майя обожали
твое сияющее тело;
и кожу старых аймара
ты выкрасило красным мелом;
фазаном красным ты встаешь,
уходишь ты фазаном белым;

художник и татуировщик
из рода тигров и людей,
ты — солнце гор, равнин, пустыни,
ты — солнце рек, теснин, полей.
Ты нас ведешь, и ты идешь
за нами гончей золотою,
ты на земле и в море — знамя,
для братьев всех моих святое.
Мы затеряемся — ищите
в низинах — раскаленных ямах,
на родине деревьев хлебных
и перуанского бальзама.

Белеешь в Куско над пустыней;
ты — Мексики большая песня,
что в небе над Майябом[276] бродит,
ты — огненный маис чудесный, —
его повсюду жаждут губы,
как манны жаждали небесной.
Бежишь бегом ты по лазури,
летишь над полем голубым,
олень то белый, то кровавый, —
он ранен, но недостижим.

О солнце Андов, ты — эмблема
людей Америки, их сторож,
ты — пастырь пламенного стада,
земли горящая опора;

не плавишься и нас не плавишь
в жаре сжигающего горна;
кетсаль, весь белый от огня,
создав народы, ты их кормишь;
огонь — на всех путях вожатый
огней блуждающих нагорных.

Небесный корень, ты — целитель
индейцев, исходящих кровью;
с любовью ты спасаешь их
и убиваешь их с любовью.

Кетсалькоатль[277], отец ремесел
с миндалевидными глазами,
индиго мелешь, скромный хлопок
возделываешь ты руками;
ты красишь пряжу индианок
колибри яркими цветами,
ты головы их вырезаешь,
как будто греческий орнамент;
ты — птица Рок[278], и твой птенец —
безумный ветер над морями.
Ты кроткий повелитель наш,
так не являлись даже боги;
ты стаяй горлинок белеешь,
каскадом мчишься быстроногим.
А что же сделали мы сами
и почему преобразились?

В угожья, залитые солнцем,
болота наши превратились,
и мы, приняв их во владенье,
огню и солнцу поклонились.

Тебе доверила я мертвых, —
как на углях, они горели,
и спят семьею саламандр,
и видят сны, как на постели;
иль в сумерки они уходят,
как дрока заросли, пылая,
на Западе желтея вдруг,
топазами вдали сгорая.

И если в эти сорок лет
меня ты не вписало в память,
взгляни, признай меня, как манго,
как пирамиды-тезки камень,
как на заре полет фламинго,
как поле с яркими цветами.

Как наш магей, как наша юкка[279]
и как кувшины перуанца,
как тыквенный сосуд индейца,
как флейта древняя и танцы,
тобой дышу, в тебе одном
и раскрываюсь и купаюсь.
Лепи меня, как ты лепил их,
свое дыханье в них вливая;

дай мне средь них и с ними жить
быть изумленной, изумляя.

Я шла по чужеземной почве,
плоды чужие покупала;
там стол так тверд, бокал не звонок,
там жидок мед, вино устало;
я гимны пела мне чужие,
молитвы смерти повторяла,
спала под мертвою звездой,
драконов мертвых я видала.

Вернулась я, и ты верни мне
мой облик, данный от рожденья.
Обдай меня фонтаном алым
и вывари в своем кипенье.
Ты выбели и вычерни
меня в твоих растворах едких.
Во мне тупые страхи выжги,
грязь высуши, мечты проветри
и прокали слова и речь,
жги рот, и песню, и дыханье,
очисти слух, омой глаза
и сделай тонким осязанье.
И новой — кровь, и новым — мозг,
и слезы новыми ты сделай.
Пот высуши и вылечи
меня от ран души и тела.

И снова ты меня возьми
в те хороводы, что танцуют
по всей Америке огромной
и славят мощь твою святую.
Мы, люди кечуа и майя,
мы прежней клятвою клянемся.
Ты вечно; к Времени уйдя,
мы к Вечности опять вернемся.
Опав, как золотые листья,
как красного руна шерстинки,
к тебе вернемся после смерти,
как говорили маги-инки.
Придем, как гроздь к виноделу,
бессмертье возвратится с нами;
так золотой косяк всплывает
по воле моря над волнами,
и так гиганты-анаконды
встают по свисту над кустами.

В. Мануэл Гарсиа. «Цыганка тропиков». 1922 г.

Земля Чили

Вулкан Осорно

Перевод О. Савича

Осорно, камни пращой

в себя самого ты кидаешь.

Ты — старший пастух на равнине,

глава и рода и края.

Ты словно в прыжке застыл,
морозом скованный сразу, —
огонь, слепивший индейца,
в снегах олень белоглазый.

Вулкан, покровитель Юга,
чужая, твоей я стала,
чужой, ты мне стал родным
в долине, где свет я узнала.

Теперь ты везде предо мною,
владеешь душой и телом;
хожу вокруг тебя дозором,
пингвин мой, тюлень мой белый.

На наших глазах ты сгораешь,
как звезды падучие, светел,
и вот водой Льянкиуэ
твои причащаются дети.

Мы знаем, что добр огонь,
он в нас, как в тебе, пылает;
огонь индейской земли,
рождаясь, мы получаем.

Храни этот древний край,
спасай свой народ от горя,
дай сил лесорубам-индейцам,
указывай путь тем, кто в море.

Указывай путь пастухам,
Осорно, старик величавый;
расправь своим женщинам плечи,
покрой детей своих славой!

Погонщик белых быков,
расти ячмень и пшеницу,
учи своей щедрости землю!
Пусть голод тебя страшится!

Огнем раскуй нашу волю
и холод сердец растопи,
сожги поражений отраву,
а то, что мы ждем, — торопи!

Осорно, каменный выкрик
и окаменевший стих,
гони бывшее несчастье
и смерть от детей своих!

Все мы будем королевами...

Перевод О. Савича

Королевами все мы станем, —
а королевства у моря лежат, —
Пфигения, и Росалья,
и Люсила, и Соледад.

В Эльки, долине, окруженной
сотней гор или больше еще,
встали вершины красного цвета,
цвета шафрана, к плечу плечо.

Мы говорили друг другу с восторгом,
свято веря, что будет так,
королевами все мы станем
и у моря повесим флаг.

С косами, в белых ситцевых платьях,
девочки семилетние, мы
по саду бегали за скворцами
там, где тень бросают холмы.

О четырех королевствах твердили,
веря, как мусульманин в Коран:
будут сказочные и большие
те королевства приморских стран.

За четырех королей мы выйдем
замуж, как это делалось встарь;
будут царями и будут певцами,
как Давид, иудейский царь.

Будет у нас, потому что огромны
те королевства приморских стран,
много зеленых морей и ракушек
и сумасшедшая птица — фазан.

Будет так много плодов и солнца,
в реках будет течь молоко,
и мы леса рубить не станем
и обойдемся без денег легко.

Знали мы: каждая — королева
дальней, но достоверной земли.
Но королевами мы не стали
ни поблизости, ни вдали.

Моряка полюбила Росалья,
с морем он был уже обручен,
и за то, что нарушил клятву,
в бурю на дне остался он.

Братьев своих Соледад воспитала,
хлеб замесила им кровью своей;
темными так глаза и остались,
потому что не знали морей.

С чистой душой, душой, как пшеница,
трудной судьбы не преодолев,
не отходит от колыбелей
сыновей других королев.

На пути с незнакомцем встреча
Ифигению кинула в дрожь,
и пошла она с ним покорно,
так как мужчина на море похож.

А Люсила с рекой говорила,
и с горой, и с ширью полей,
и под луною безумья вправду
королевство досталось ей.

Облака — ее царство большое,
перед нею — море из слез,
в море мужа она потеряла,
мантию ткали ей отблески гроз.

Но в долине Эльки — над нею
сотня гор или больше еще —
родились и поют другие,
веря в истину слов горячо:

«Королевами все мы станем
на достоверной земле, вдали,
королевства будут большие,
королевства приморской земли».

Другая

Перевод О. Савича

Ее в себе я убила:
ведь я ее не любила.

Была она — кактус в горах,
цветущий пламенем алым;
была лишь огонь и сухость;
что значит свежесть, не знала.

Камень и небо лежали
в ногах у нее, за спиною;
она никогда не склонялась
к глазам воды за водою.

Там, где она отдыхала,
травы вокруг поникали, —
так жарко было дыханье,
так щеки ее пылали.

Смолою быстро твердела
ее речь в любую погоду,
чтоб только другим не казаться
отпущенной на свободу.

Цветок, на горах растущий,
сгибаться она не умела,
и рядом с ней приходилось
сгибаться мне то и дело...

На смерть ее обрекла я,
укравав у нее мою сущность.
Она умерла орлицей,
лишенной пищи насущной.

Сложила крылья, согнулась,
слабея внезапно и быстро,
и на руку мне упали
уже погасшие искры.

Но сестры мои и поныне
все стонут по ней и скучают,
и пепел огня бывшего
они у меня вырывают.

А я, проходя, говорю им:
— В ущелья вам надо спуститься
и сделать из глины другую,
пылающую орлицу.

А если не можете, — значит,
и сердце помнить не может.
Ее в себе я убила.
Убейте вы ее тоже!

Танцовщица

Перевод О. Савича

Танцовщица сейчас танцует танец
непоправимой роковой потери.
Бросает все, что было у нее:
родных и братьев, сад и луговину,
и шум своей реки, и все дороги,
рассказы очага и детства игры,
черты лица, глаза и даже имя,
как человек, который тяжесть сбросил
и со спины, и с головы, и с сердца.

Пронизанная светом дня и солнцем,
смеясь, она танцует на обломках.
Весь мир проветривают эти руки:
любовь и зло, улыбку и убийство,
и землю, залитую жатвой крови,
бессонницу пресыщенных и гордых,
и жажду, и тоску, и сон бездомных.

Без имени, без нации, без веры,
от всех и от себя самой свободна,
полетом ног за жизнь и душу платит.
Дрожа тростинкою под ураганом,
она — его свидетельство живое.

Не альбатросов взлет она танцует,
обрызганный игрою волн и солью;
не сахарного тростника восстанье,

сраженное кнутами и ножами;
не ветер — подстрекатель парусов —
и не улыбку трав высоких в поле.

Ее крестили именем другим.

Свободная от тяжестей и тела,
она вложила песню темной крови
в балладу юношества своего.

Не зная, ей бросаем наши жизни,
как красное отравленное платье.
Танцует, а ее кусают змеи;
они ее возносят и швыряют,
как будто знамя после поражения,
как будто разоренную гирлянду.

Что ненавидела, в то превратилась;
танцует и не знает, что чужда нам;
проветривает маски и гримасы
и, нашу одышкой задыхаясь,
глотает воздух — он не освежает, —
сама, как вихрь, одна, дика, чиста.

Мы виноваты в этой злой одышке,
в бескровной бледности, в немом укор, —
он обращен на Запад и Восток.

Мы виноваты в том, что душно ей
и что она навек забыла детство.

Одно слово

Перевод О. Савича

Застряло в горле слово, — на свободу
не выпущу его, себе оставлю,
хотя оно во мне как сгусток крови.
А выпустить — сожжет живое поле,
убьет ягненка, птицу кинет наземь.

Я выплюнуть его должна и спрятать;
найти дыру, прорытую бобрами;
и белой известью залить его,
чтоб, как душа, оно не полетело.

Я не хочу, чтоб знали, что живу я,
пока оно в крови отравой бродит
то вверх, то вниз — с моим дыханьем диким.
Хотя его, сказал отец мой Иов,
мой бедный рот сказать его не должен:
оно покатится и у реки
запутается в косах женщин или
согнет и подожжет кустарник бедный.

Я брошу на него такие зерна,
чтоб за ночь выросли и задушили
и не оставили ни букв, ни звуков.
А может быть, прикончу, как гадюку,
когда ей надвое хребет ломают.

Потом вернуться в дом, войти, заснуть
и знать: оно отрезано бесследно.
Проснуться через много сотен дней,
во сне, в забвеньи наново родившись.

Не знать, что было на губах моих
из йода и квасцов такое слово,
забыть ту ночь, единственную ночь,
забыть тот дом, тот дом в чужой стране,
забыть, как я ждала луча у двери,
не знать, что без души осталось тело!

Руки рабочих
Перевод О. Савича

Руки твердые похожи
на моллюсков оголенных;
цвета перегноя, цвета
саламандры опаленной,

руки чуткие взлетают
или никнут утомленно.

Месят глину, тешут камни,
разрыхляют почву сада,
медно-красны в белом хлопке,
треплют лен и гонят стадо,
и никто на них не смотрит,
лишь одна земля им рада.

То на молоты похожи,
то, как заступы, бесстрастны;
сумасшедшие колеса
иногда их рвут на части,
и рука, что уцелела,
узнает вдовы несчастье.
Слышу, как стучат кувалдой,
вижу — у печей пылают,
и летят над наковальней,
и зерно перебирают.

Я их видела на шахтах,
в голубых каменоломнях,
за меня гребли на лодках
по воде коварной, темной,
гроб мне сделают по мерке,
хоть меня и не припомнят...

Каждым летом ткут холстину
свежую, как вздох прибоа,
и прядут они и чешут
хлопок, шерсть — добро чужое,
и поют потом в одеждах
у ребенка и героя.

Засыпают в ранах, в шрамах,
испещренные металлом.
Свет созвездий в окна льется,
чтобы силу дать усталым.
Но во сне копать и строить,
мыть и сеять продолжают;
и Христос берет их в руки
и к груди их прижимает.

Двери

Перевод О. Савича

Много я гримас видала,
в том числе — дверей гримасы.
Долго я на них смотрела:
голые, как кость без мяса,
мне показывали спину
цвета волка и лисицы.

Стоило ли двери делать,
чтоб в плену у них томиться?

Дом с закрытыми дверями —
плод, покрытый скорлупою;
дом не делится с дорогой
внутреннею теплотою;
двери учат нашу песню
от прохожих запираяться,
к радости не приглашают,
выпустить ее боятся.
Молодыми не бывают,
и старухами рождаются.

Двери — грустные ракушки
без песка и без прилива.
Двери — грозовая туча
над большой землей счастливой.
Прямизной они похожи
на прямые складки смерти,
я склоняюсь перед ними,
как тростник, дрожащий в ветре.
«Нет!» — они твердят рассвету,
что над ними нежно блещет.
«Нет!» — твердят морскому ветру,
что над ними рукоплещет,
и дыханью свежих сосен,
и реке, что рядом плещет.

И, как древняя Кассандра,
не спасут, хотя все знают:
потому вошла свободно
в дверь судьба моя больная.

Я стучу, и вот как будто
ловит дверь меня на слове,
а просвет, сухой и жадный,
словно шпага наготове,
и взлетают створки, словно
настороженные брови.
Я вхожу и будто пятна
на лице своем скрываю;
что мой дом, как плод невскрытый,
мне готовит, я не знаю
и гадаю: избавленье
ждет меня иль гибель злая.

Я хочу уйти, оставить
все, что землю закрывает,
горизонт, что от печали,
как газели, умирает,
и людские двери — втулки
бочек, где вода — чужая;
чтоб руками не касаться
их ключей, холодно-жгучих,
звона их вовек не слышать,
он как треск змеи гремучей.

Я в последний раз оставлю
двери за собой без стога,
и умчусь я, торжествуя,
птицею освобожденной
следом за родной толпою
мертвецов моих бессонных.
Наверху они, конечно,
не разделены дверями,
не оскорблены стенами,
слово раненый — бинтами.

В вечном свете, как при жизни,
будут ласковы со мною.
Вместе запоем мы песню
между небом и землею.
Этой песней дверь за дверью
расшатаем, словно ветер.
Выйдут люди в мир открытый,
как проснувшиеся дети,
услышав, как злые двери
падают на целом свете.

ВИСЕНТЕ УИДОБРО[280]

С экватора

(Фрагмент)

Перевод А. Гелескула

Пабло Пикассо

То было когда распахнул я бескрылые веки
и впервые запел разрывая силки расстояний

Из гнезд вылетали
трескучие флаги
и люди
границы искали в бурьяне

На серых полях умирала Европа
В мозгах скороспелых горящие крылья кипели
Под тенью биплана в изодранных клочьях окопа
солдаты продрогшие пели

Тонули в потемках потухшие грады и веси
Последний правитель поплелся в обитель
погасшую лампу на грудь повесив

Нетопырями
звезды свисали с крыши
Болтались под фонарями

удавленные афиши
Темнота обступала вершину
где седой органист заглушал батареи

Ветер трепал горизонты
вздернутые на рее

На радуге пела птица
Раздвиньте горы

И снова я шел по крыльям
растерзанных птиц и снова
Христос упорхнул
а миру
оставил венец терновый

Что ж Присядем на край параллели
оглядим наше время
ВЕК РАСПЯТЫЙ НА СТЫКЕ МИРОВ

По струящейся амальгаме
корабли идут под мостами
и почтовые ангелы греются дымом линкоров

Паровоз распаленный
бежит задыхаясь от гари
и гудит его след
парой струн на разбитой гитаре
Голый глаз
фитилек горизонта
мотается в танце
Диоген с носогрежкой
бродящий меж чисел и станций

Рвутся звезды летя по орбитам

Греет перья мой голос
на солнце с крылом перебитым

А из божьего рая
самолетик летит
ветвь оливы с борта простирая
Безуспешно
На запад багряный
дни плывут и плывут
вместо якоря крест деревянный
плывут капитаны
на айсберге вместо шезлонга

Все новые копыя вонзаются в Конго

И подобно расклеванной смокке
сердце Африки в розовом соке

Птахи певчие

только сменившие песни
И снуют гидропланы вокруг маяка
чья агония длится века

Кто-то грустный

с пустыми зрачками
в воду будни швырнул точно камни
и поднялся по трапу

Уплыть

И далеко отсюда
слоняться в ночном запустенье
и смотреть на горящие окна
и скользящие в зеркале тени
Как чайки шумят эмигранты
носясь по волнам искривленным

ЗЕЛЕНОЕ МАРЕВО МОРЕ

от скольких надежд потонувших
ты стало зеленым

Я любил это море
я доныне тоскую смертельно
по соленым кудрям
по морской старине корабельной
Там мой мир сокровенный
под шипучкою горькой и пенной
где утопленник синий
сплетает венок из актиний

Позапрошлого ночью
серп луны швартовался в Марселе
изодранный в клочья
И морские бродяги у рубок
оживающий жемчуг
ловили в дыму своих трубок

Капитан субмарины
потерял гороскоп при аврале
а всплывая узнал что звезду его
с неба украли

Бродят беженцы старой планеты
вслепую с орбиты
зенитными пушками сбитой

Три ученые льва за слепцом

ковыляют жуя
Кто-то снес в лазарет
потерявшего слух соловья

А далёко
далёко
где эхо киркою расколото
на плечах Калифорнию тащат
искатели золота

Застыли прося Христа ради
немые скелеты
Склоняет деревья молящийся шепот
Уходит за море лето

Что я только не видел

Растущий в тумане Лондон
где нищие на перекрестке
по стенам как объявленья
лепились к сырой известке

Я помню
Это я помню

Весенний вечер и море
Больная девочка крылья
сняла входя в санаторий

Тот вечер казался длинным
По удлинённому небу
шли на Париж цеппелины
Охотники на дельфинов
к утру семерых добили
Дышала заря деревней
по городу тучи плыли

На зеленых часах
стрелка двигалась к цифре
1917

Шли дожди
Мертвецов
хоронили в воде

Высоколёнок
Песнь пятая
(Фрагмент)
Перевод А. Гелескула

Здесь шелестит
как раскрытая в классе грамматика
дикое поле
темней чем душевная смута
полное влажных сапфиров
упавших с ладони лунатика
полное облачных плачей
бредовых как сон лилипута
поле где ливни
подобны цветам небывалым
которые чайка срывает
скользя над лазоревым валом.
Ненаселенное поле
и населить его надо
голосами сошедшими с неба
и зернами взглядов
смычками играющих радуг
грозой с ее музыкой медной
и топотом стад
перепуганных новой кометой
Ты знаешь волшебный родник посреди медуницы
где вновь оживают погибшие встарь мореходы?
Ты знаешь цветок именуемый вздохом черницы
который ушел лепестками в подземные воды?
Тебе не встречался ребенок
поющий во мраке
ребенок печальноголосый
который прильнул к безутешной собаке
и смотрит в зеркальные слезы?

Скажи не сквозят в поднебесье
видения радуг
чудовищно старых
отцветших еще при Рамзесе?

Цветы от испуга меняются в красках
В предчувствии божьей кары
выбрасываются звезды с балконов на тротуары
Лишь море лениво влезает на дамбы
уютно ложится и спит на пороге столярной
Мудрое море еще со времен Адама
верить привыкло только звезде Полярной

Еще ни один из кормчих не встретил морскую розу
на долю которой вся память веков досталась
которая ждать устала
которая жить устала
и в каждом своем изгибе таит усталость
Я знаю цветок рожденный от дочерей Нерея[281]
в тот час долгожданный
когда засыпают недра
на дне начинает смеркаться
вода вечереет
и слышно как волны хрустят
под ногами ветра
У ветра пчелиный голос девушки бледной
девушки бледной словно ее надгробье
которую я любил в той дали заветной

где юность моя бродила в матросской робе
где юность моя в надежде достигнуть неба
бросалась от риска к риску
от дали к дали
Тогда-то и видел я розу
которой вы не видали

Помнишь как гнали волны мертвого альбатроса
с дальних архипелагов к нашему изголовью?
Знаешь как сердце с сердцем
сводит кольцо гипноза
звезду со звездой
вражду с враждой
любовь с любовью?
Видишь в осеннем небе заторопилась чайка
силясь настигнуть время в ужасе безрассудном?
Взгляд ее полон прошлым
а на душе молчанье
траурное как море над потонувшим судном
.....

Небо страшится ночи
Когда засыпают мачты и реют совы
и смерть пропитанья ищет
и полон вампирами зев тишины свинцовой
тогда среди страхов ночи
перед оракулом мы раздуваем пламя
и молим удар отсрочить

и птиц одиночества кормим своими телами
Тогда на глухих погостах
таинственных как затмения
благоухает воздух
и дикие розы цветут на границе тления
О древние страхи ночи
Где снежные склоны
пещеры в алмазных кладах?
Где мир отраженный
большими глазами радуг?
Разверзлась могила
и в ней колыхнулось море
Застыло дыханье и рухнула вмиг опора
и вихрем паденья в растущую глубь провала
глаза распахнуло шире
вмещенного в них простора
и рану пространства криком зарубцевало
Разверзлась могила
и в ней запестрело стадо
загнувшее в утесах
Считая следы господни
пастушка поет устало
лоскут ледяного ветра дрожит на косах
Разверзлась могила
и в ней штормовое небо
скользнуло по айсбергам тусклыми прожекторами
В торжественном дрейфе льды проплывают немо
и в их белизне сквозит голубое пламя
Разверзлась могила
и осень на дне могилы

дымна и золотиста
Медленно-медленно небо к земле поплыло
отсветом аметиста

Разверзлась могила
и в ней как в огромной ране
весеннее эхо тонет
все глубже и все багряней
Разверзлась могила
и лес зашумел в могиле
где феи лесные укрыты зеленой тенью
Завороженные птицы на верхних ветвях застыли
и все цепенеет в магическом круге пенья
и можно найти поляну где слезы свивают гнезда
и кружат по небу дорогами зодиака
Разверзлась могила
и в ней закипают звезды
туманных галактик
и стынут кусками мрака
Аэролит дороги не разбирает
Над пустотою светятся ореолом
головы звезд казненных
и догорает
пляс фейерверка на эшафоте голом
Разверзлась могила и встала девятым валом
и вечная тьма обрызгала черной пеной
Разверзлась могила
и хлынули слезы вселенной
В воронках кораблекрушений кружатся снасти

колокола созвездий исходят звоном
и над полями затопленными ненастьем
хрипит ураган затравленный вечным гоном
Разверзлась могила
и роза во власянице
взошла на костер и страстью дохнуло пламя
Ощупью ищет солнце где бы захорониться
и по лесам мистерий прячется за стволами
Разверзлась могила и в ней колыхалось море
и песня ушедших в море плыла над нею
но застывали рыбы
медленно каменя

Долго ли ему править
персту молчанья
этой великой бессонницей в мире горнем?
Не пробуждайтесь ночами
нас только сон из земли вырывает с корнем

Празднуйте утро звоном оконных створок
Чествуйте солнце Шляпой махните гостю
Небо стряхнуло страх
и любой пригорок
птичьи ватаги в лица швыряет горстью
Реют надежды
планерами взмывая
В сердце долготерпенье забитой сваи

Небо как древний купол над мавзолеем
старое солнце цедит через стекло
Мы окунаем руки и веселеем
Мы омываем веки и нам светло

Элегия на смерть Ленина

Перевод С. Гончаренко

Громче песни

у жизни плещущей в горле
тяжелей чем беды навалившийся груз
даже явственной памяти жгучей и горькой
бьется в жилах планеты твой огненный пульс
Пламя сердца зажавший в кулак твердой воли
ты вступил в свою смерть
как внезапное солнце в промерзшую полночь
как зеленое лето в пустыню могилы
И приняв тебя
смерть
поднялась выше жизни
Отступают века пред твоим саркофагом
как паломники реки струятся к нему
перед ним преклоняют колена державы
и проходят парадом знамен города
салютуют деревни и дальние села
А заря выстилает твой путь лепестками
ибо это дорога на праздник людей

Набирают разбег океанские волны
чтоб скорее тебе передать благодарность
от далеких земель
И грохочет прибой и вливается в хор
миллионноголосый
Даже смерть твоя стала великою датой
достигнувшей до самых высоких созвездий
Ты ее победил Победил Ведь пока
в человеческих сердцах дату глубже чем эта
не смогла ни одна еще высечь рука
Ты врата новой эры открыл
и громадой
будто залп расколовший историю надвое
над планетой своей вознесен на века

Очень просто — прошел человек по земле
и согрел эту землю на вечные годы
Даже смерть
принимая тебя поднялась выше жизни
С тебя вновь начался человеческий род
началась родословная истинной знати
И как жизнь твоя стала рождением жизни
так кончиною смерти твоя станет смерть
Очень просто — прошел человек по планете
и поверг неприступные горы и стены
Слышишь звон кандалов в подземелье времен
То шагают колонны рабов
но уже замирает их тягостный стон
за хребтами минувших веков

Зерна слов твоих ветер разнес и они
проросли сочленя враждебные земли
И сплотив их в единую Землю Людей
ты пришел как прообраз обещанных весен
как предтеча еще не родившихся лет
Ты инстинкты земли подчинил своей воле
Ты открыл нам биенье вселенского ритма
и у веры твоей в человечество
нет иноверцев
Очень просто — прошел человек по земле
и оставил потомкам горящее сердце
Ты возник словно будущего провозвестник
ты посеял грядущее зернами слов
И вот тысячи рук поднимают серпы
и вот молоты тысячи рук поднимают
и скрещенье их светится над головами
И мы слышим твой голос И слышим как гулко
бьется сердце твое по ту сторону Смерти
как в аорте планеты клокочет твой пульс
И мы знаем ты в грохоте тяжелой страды
и в неслышной заре над росистым покосом
и в победном полете багряной звезды
озаряющей космос
Чьи слова потрясают холодный гранит
чье дыханье колышет пшеничные нивы
и чей голос зажег непроглядную мглу
и чье сердце стучит по ту сторону Смерти
Мы твои собираем слова
чтобы все стало истинным и человеческим
чтобы сделать людьми всех людей на планете

И когда прозвучит во всем мире твой голос
то исчезнут рабы горемыки бродяги
и на все перекрестки дорог выйдут люди

Чьи слова одевают теплом и надеждой
гасят жажду и голода жгучее пламя
и сбивают оковы со страждущих тел
Вымирает убогое племя покорных и нищих
на просящих ладонях которых покоилась наша земля
и клоочет в аорте планеты твой огненный пульс
человек высекающий стон из своей наковальни
человек выжимающий слезы из мертвого камня
человек опускающий в борозду теплые зерна
человек воздвигающий город и мост возводящий
человек что заслушался свадебным пением птицы
и который считает созвездья в полуночном небе
человек создающий машины подковы и гвозди
изменяющий облик привычных вещей
и планеты своей очертанья
и месяцев хлеба
так что даже глаза его духом пшеничным пропахли
и пасущий отары на горных лугах и в долинах
и в безбрежной как память пустыне ведущий вперед караван
Каждый каждый внимает тебе и прислушавшись слышит
как колотится сердце твое по ту сторону Смерти
Человек на пирушке смеющийся вместе с друзьями
человек одинокий как час что пробил ночные куранты
каждый каждый в аорте планеты твой пульс ощущает
Отступают века перед вечным твоим Мавзолеем

преклоняют колена державы у этой святыни
а заря лепестками твою выстилает дорогу
и текут к тебе реки и люди
И долг наш отныне
убережь тебя от превращения в бога

ПАБЛО ДЕ РОКА[282]

Перевод В. Резниченко

Автопортрет в отрочестве

Лев, укрощенный под домашним кровом,
среди травы, змеящейся, зеленой,
я — как пчелиный звон в смешенье с ревом
морской волны, седой, испепеленной.

В плену химер, приученный к оковам,
я — сгнивший идол, царь, венца лишенный,
я — замок с именем твоим, со словом,
начертанным зубцами башни звонной.

Кровь, яростного солнца цвет и запах,
раскаты грома в орудийных залпах,
лязг дрогнувших мечей на поле боя

звучат во мне, в обугленных руинах
моей души, а там, в ее глубинах, —

большой поэт, кончающий с собою.

Обвинительная речь против мрака

(Фрагмент)

Нет, не женщины, небеса и вино,
не солнца скала высоченная,
не город громадный, горящий,
как грудь обнаженной красавицы-истины,
неприкаянной в хаосе башен стандартных,
не скорбь, не любовь и не сладкий ужас
искусства, карабкающегося
по космическим высям, нет, никогда,
но прежде всего, но выше, краше
и ярче всего — пролетарская революция
общество равных людей, сияющее лучезарно.

Оно рождается из глубин,
диалектикой вспоротых,
словно младенец из материнского чрева,
как семя, кровоточащего в давяльне граната —
когда кожура разрывается с треском,
сок вытекает и слетаются пчелы.
Оно — всеобъемлюще и грандиозно:
неисчислимы легионы борцов,
большевиков, восставших рабочих;
Власть Советов — как плодоносное дерево,
на ветках которого спеют миры и планеты,
звнящее, полное радости дерево,

вращенное волей природы самой,
корнями своими сцепившее все потрясения
истории (каштан, померанец и яблоня, —
они расцвели в Октябре).

Плечом к плечу — рабочие и интеллигенты,
все, кто угнетен, унижен и иссечен плетьюми,
голодные батраки, отважные люди —
поднимайтесь на бой с буржуа-палачами
за ЗЕМЛЮ, за ХЛЕБ, за СВОБОДУ,
за коммунизм, марксизм-ленинизм и Советы,
рвитесь вперед, подобно красным быкам,
направляя движенье времен.

Океаны и армии диалектически слиты,
сердце и разум, сплавленные воедино,
вздымают окрашенный кровью флаг,
наша судьба, наша жизнь повседневная — подвиг;
правда в каждом из нас полыхает огнем
неукротимым и светлым
и в дыму баррикад пробуждает
достоинство человека;
и над этой землей человеческой встает
в ослепительном блеске —
словно меч из чистого золота,
разящий фашизм и войну, —
высшая из вершин: СССР, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ,
ПАРТИЯ, ИНТЕРНАЦИОНАЛ;

товарищ Ленин приветствует нас,
наперекор молчанию смерти и мрака.

Вы, изможденные возрастом,
горестями и заботами,
все, кто обременен семьей и хозяйством,
обманут химерами,
кто, согнувшись от страха, тащит ярмо
унылого жалкого бога, —
становитесь в ряды солдат
диктатуры пролетариата,
будьте свободными, стойкими и сплоченными,
вперед на борьбу с последними ключьями тьмы,
стройтесь в боевые порядки!

ПАБЛО НЕРУДА[283]

Осенняя бабочка

Перевод А. Гелескула

Кружится бабочка на солнце,
вся загораясь временами.

Листа коснется, застывая,
частица пламени живая —

и лист колышет это пламя.

Мне говорили: — Ты не болен.

Все это бред. Тебе приснилось.

Я тоже что-то говорил им.

И лето жатвою сменилось.

Печальных рук сухие кисти

на горизонт роняет Осень.

И сердце сбрасывает листья.

Мне говорили: — Ты не болен.

Все это бред. Тебе приснилось.

И время хлеба миновало.

И снова небо

прояснилось.

Все на земле, друзья, проходит.

Все покидает и минует.

И та рука, что нас водила,

нас покидает и минует.

И те цветы, что мы срываем.

И губы той, что нас целует.

Вода, и тень, и звон стакана.

Все покидает и минует.

И время хлеба миновало.

И снова небо

прояснилось.

А солнце лижет мои руки

и говорит: — Тебе приснилось.

И ты не болен. Это бредни.

Взлетает бабочка и чертит

круг огнецветный

и последний.

Аромат полей Лонкоче[284]

Перевод Л. Мартынова

Злой дух здесь овладел землею омраченной,
сгреб нивы нежные, кривые горы сдвинул;
когтями он изрыл поверхность защищенной
прямолинейными аллеями равнины.

И насыпь поднялась, стряхнув свою усталость;
ладонью скорбною раскрылся холм; и, точно
хмельные всадники, галопом тучи мчались
в отрыве от небес, от бога и от почвы.

И землю взрыл поток; земля от наводнения
бежала с мокрым лбом, утробу раскрывая.
В проклятых сумерках в различных направленьях
катились поезда, как тигры, завывая.

Я — слово этого пейзажа неживого,
я — сердце этого пустого небосвода;
когда иду в полях с душой, открытой ветру,
в моих артериях шумят речные воды.

А ты куда идешь? Как глина голубая,
пространство под рукой ваятельницы-ночи.
И не зажгут звезду. Глаза мне застилая,
медовый аромат плывет с полей Лонкоче.

Это утро набухло бурей...

Перевод М. Ваксмахера

Это утро набухло бурей,
рвущейся из жаркого сердца лета.

Колышутся, словно прощальные платочки,
белые тучи в руках бродячего ветра.

О наше влюбленное молчанье бьется
огромное сердце тревожного ветра.

Чудесным оркестром гудит в деревьях
колокол ветра, полный бурь и песен.

Ветер крадет опавшие листья,
швыряет птиц, как живые стрелы.

Листва взлетает, как желтое пламя,
как металл невесомый, как волна без пены.

И тонет в буре корабль поцелуев,
сраженный неистовым ветром весенним.

Я люблю тебя...

Перевод М. Ваксмахера

Я люблю тебя здесь,

Где в темных соснах запутался ветер,

Где мерцает луна над волной бродячей

И тянутся дни, похожие друг на друга.

Танцуют в тумане неясные тени.

Чайка горит серебром на фоне заката.

И парус порой. И высокие-высокие звезды.

Черный крест корабля.

Одинокий,

Прихожу на заре и даже в душе своей чувствую влажность.

Шумит и снова шумит далекое море.

Это гавань.

Здесь я люблю тебя.

Здесь я люблю тебя, и напрасно тебя горизонт скрывает.

Я люблю тебя даже среди этого холода.

Порою плывут поцелуи мои на тяжелых больших кораблях.

Корабли эти рвутся туда, куда им вовек не доплыть.
Мне кажется, я так же забыт, как этот проржавленный якорь.
Как печалей причал. К нему пришвартован лишь вечер.

Как устала моя бесполезно голодная жизнь!
Нет у меня того, что люблю я. Ты так далеко.
С горечью вижу, как лениво спускаются сумерки.
Но тут надвигается ночь и петь для меня начинает.
Луна заставляет кружиться и сны и мечты.

На меня твоими глазами смотрят огромные звезды.
Я люблю тебя — и поэтому темные сосны
Пюют на ветру твое имя бубенцами иголок.

Я могу написать этой ночью стихи...

Перевод О. Савича

Я могу написать этой ночью стихи бесконечной печали.

Написать, например: «Этой звездною ночью
лихорадит далекие синие звезды».

Ветер ночи кружит в небесах и поет.

Я могу написать этой ночью стихи бесконечной печали.

Я любил ее: по временам и она меня тоже любила.

Вот такую же ночью, как эта, ее обнимал я.

Сколько раз я ее целовал под открытым для вечности небом.

Любила она меня; по временам я любил ее тоже.

Да и как не любить было эти большие прямые глаза?

Я могу написать этой ночью стихи бесконечной печали.

Подумать — она не со мной. Ощутить, что ее потерял я.

Слышать эту огромную ночь — без нее она стала огромней,

И росую на пастбище падает на душу стих.

Ну и что ж, что любовью не мог я ее удержать?

Этой звездною ночью она не со мною.

Это все. Чей-то голос поет вдалеке. Вдалеке.

Но душа не смиряется с тем, что ее потерял я.

Я ищу ее взглядом, как будто хочу подойти к ней.

Сердце ищет ее, а она не со мною.

Такая же ночь, и белеют под нею все те же деревья.

Мы тоже ведь были тогда, но уже мы — не те.

Не люблю ее, нет, но, быть может, люблю.

Так любовь коротка, так огромно забвенье.

Потому что в такую же ночь я ее обнимал,
душа не смиряется с тем, что ее потерял я.

Хоть это последнее горе, которое мне причиняет она,
и это последние строчки, которые я ей пишу.

Walking around[285]

Перевод В. Столбова

Так случилось, что я устал быть человеком.

Я захожу в ателье и в кино

скучный, непроницаемый, как тряпочный лебедь,

плавающий в луже мочи и пепла.

Ароматы парикмахерских вызывают у меня потоки слез.

Я хочу одного — отдохнуть, словно камень.

Я хочу одного — не видеть ни учреждений, ни аптек,

ни парков, ни магазинов, ни лифтов.

Так случилось, что у меня устали ноги и ногти,
и моя кожа и моя тень устали.

Так случилось, что я устал быть человеком.

И все же я был бы рад

до смерти напугать нотариуса сорванной лилией
или прихлопнуть монашку своим собственным ухом.

Было бы просто прекрасно

бродить по улицам, размахивая зеленым ножом,
и кричать, кричать, пока не замерзнешь.

Я не хочу прозябать корневищем в потемках,
которое дрожит, и тянется, и дергается во сне,
ползет вниз, в мокрые недра земли,
все впитывая, обо всем думая и обедая каждый день.

Зачем мне столько несчастий?

Я не хочу больше быть могилой и корнем,
подземельем, мертвецами набитым подвалом,
не хочу леденеть о тоски, умирать от горя.

Я прохожу спокойно, глазастый, обутый в ботинки,
гневный и забывающий про свой гнев,
прохожу, пересекаю конторы и ортопедические кабинеты.
И дворы, где на проволоке болтается просыхающее белье —
рубашки, кальсоны и полотенца, и все они плачут
медленными грязными слезами.

Т. ду Амарал. «Бразилия». XX в.

Возвращается осень

Перевод Л. Мартынова

День омраченный падает с колоколен,

будто бы вдовье трепещущее покрывало.

Этот цвет, эта дрема

уходящих в землю черешен,

это струенье дыма, наплывающего бесконечно

и меняющего окраску влаги и поцелуев.

Я не знаю, понятно вам это?

Ночь нисходит, поэт одинокий

слышит осени конский топот;

и, растоптаны, листья страха шелестят в глубине артерий.

В небе — что-то густое, точно язык воловий,

некоторая неясность в небе и в атмосфере.

Все возвращается на свое место:

неизбежные адвокаты,

руки, бутылки с маслом,

словом — все признаки жизни и прежде всего кровати,

полные влаги кровавой;

грязные уши подслушивают сокровенные тайны людские,

убийцы по лестницам сходят,

но дело не в этом, а в старом галопе осени старой;

осени старая лошадь скачет своей дорогой.

Осени старая лошадь с красною бородою,

на губах — пена,

а за осенью — дух океана

и блуждающий запах могильного тлена.

Эти дни, что с небес ниспадают, как пепел,
этот пепел, который должны разнести по земле голубки,
это нити, сплетенные забытьем и слезами,
это время, дремавшее долгие годы под колоколами,
эти ветхие платья,
эти женщины, видящие, как падают снежные хлопья,
эти черные маки, взглянув на которые, люди прощаются с жизнью, —
все мне падает в руки, которые я подымаю
к дождливому небу.

Объяснение

Перевод И. Эренбурга

Вы спросите: где же сирень,
где метафизика, усыпанная маками,
где дождь, что выстукивал слова,
полные пауз и птиц?
Я вам расскажу, что со мною случилось.

Я жил в Мадриде, в квартале, где много колоколен,
много башенных часов и деревьев.

Оттуда я видел
сухое лицо Кастилии:
океан из кожи.

Мой дом называли «домом цветов».

Повсюду цвела герань.
Это был веселый дом
с собаками и с детьми.

Помнишь, Рауль?[286]

Помнишь, Рафаэль?

Федерико, ты под землей, ты помнишь балкон?

Июнь метал цветы в твой рот.

Все окрест било громким:

горы взволнованных хлебов,

базар Аргуэльес и памятник,

как чернильница, среди рыбин.

Оливковое масло текло в жбаны.

Сердцебиение ног заполняло улицы.

Метры, литры. Острый настой жизни.

Груды судаков. Крыши

и усталая стрелка на холодном солнце.

Слоновая кость картошки,

а помидоры — до самого моря.

В одно утро все загорелось.

Из-под земли вышел огонь,

он пожирал живых.

С тех пор — огонь,

с тех пор — порох,

с тех пор — кровь.

Разбойники с марокканцами[287] и самолетами,
разбойники с перстнями и герцогинями,
разбойники с монахами, благославлявшими убийц,
пришли,
и по улицам кровь детей
текла просто, как кровь детей.

Шакалы, от которых отступятся шакалы,
гадюки — их возненавидят гадюки,
камни — их выплюнет репейник.
Я видел, как в ответ поднялась кровь Испании,
чтобы потопить вас
в одной волне
гордости и ножей.

Ода Народной армии
Перевод И. Эренбурга

Армия народа,
тебя приветствуют все матери мира,
все школы,
все старые плотники.

Тебя приветствуют колосьями,

молоком, лимоном, лавром —
всем, что дает земля.
Тебе и ожерелье рук,
и гром упрямый,
день железа,
крепкая лазурь!

Братья, вперед
по распаханной земле,
по пустырям,
среди сухой ночи без сна!
Бойцы, острее, чем голос зимы,
проворней, чем веко,
точнее, чем алмаз шлифовщика,
вы пришли из недр,
как цветы или вино, как корни всех стволов,
как душистое добро земли.
Привет тебе, распаханная целина,
клевер и деревни, замершие в свете молний!
Вперед, вперед
по шахтам, по кладбищам —
смерти наперекор!
Народ, теперь ты — сердце и винтовка.
Вперед!
Фотографы, шахтеры, машинисты,
братья угля и камня,
друзья серпа,
на праздник ружей
вперед!

Бойцы, майоры, сержанты, комиссары,
летчики и партизаны,
солдаты ночи и солдаты моря,
вперед!

Пред вами гниль, болота с кровавым гноем — ничто.

Испания, край яблонь, знамена флагов,
пропись огня, вперед!

В бою, на море,
среди гор, среди сумерек, среди терпких запахов земли
рождается та нить,
что не порвется.

Все жаждут, армия народа,
уйти с тобой:

любой топор или пила,
любой кусок руды, любая капля крови.

Твоя звезда лучами пригвоздила смерть
и новые дала глаза — надежды.

Песнь любви Сталинграду

Перевод П. Грушко

Пахарь, спавший в ночи, пробудился и тянет
руку свою в потемки — спрашивает зарю:
«Зорька, юное солнце, свет спешащего утра,
все ли еще под силу самым чистым рукам
драться за гордый замок славы? Скажи, заря,
все ли еще железо грудь тебе решетит?
А человек — стоит там, где должен стоять?»

А молния — не умерла?»

Спрашивает у зари

пахарь: «Скажи, заря, разве земля не слышит,

как струится во мглу кровь багряных героев —

в необъятную мглу полуночного простора?

Все ли еще небеса опираются на деревья?

Все ли еще грохочут взрывы над Сталинградом?»

И на крутых волнах — в море хмуром — моряк,

вглядываясь во тьму, среди влажных созвездий

красную ищет звезду дальнего огнеграда

и ощущает сердцем, как она обжигает, —

он хотел бы потрогать гордую эту звезду,

скорбной этой звезде слезы свои отдать.

Люди и волны кричат городу, алой звезде:

«Город, сомкни лучи, закрой стальные врата

и ощетинься славным окровавленным лавром,

пусть за морем штыков, перед грозным сияньем

твоих воспаленных глаз, съежится в страхе ночь».

Вспомнив Мадрид, испанец

молит: «Брат, не сдавайся,

не сдавайся, столица, слышишь, город, держись!»

Из земли проступает вся пролитая кровь

Испании, — проступает во имя Испании снова.

Спрашивает испанец, привставая с земли

возле стены расстрелов: жив ли еще Сталинград?

Черных глаз вереница из глубины застенков

стены камер буравит именем славным твоим.
Кровь героев твоих Испанию пробуждает:
ты душу ей отдал в год, когда она порождала
своих героев, как ты сегодня их порождаешь.
Испания знает, что значит быть одинокой, — лишь ты
поймешь ее, Сталинград, бьющийся в одиночку.
Испания рыла ногтями твердую землю свою,
когда Париж был красив, как никогда прежде.
С испанского дерева кровь текла ручьями, а Лондон
(как поведал об этом Педро Гарфиас[288], поэт)
ухаживал за лебедями и подстригал газоны.

Этот удел сегодня выпал девушке стойкой —
стужа и одиночество осаждают Россию.
Тысячи гаубиц рвут сердце твое на куски,
жадной стаей к тебе сползаются скорпионы,
чтоб ядовито ужалить сердце твое, Сталинград.
Пляшет Нью-Йорк, в раздумье Лондон, а я
чертыхаюсь, кричу — сердце устало терпеть,
и ваши сердца устали
терпеть, уже мы устали жить, дышать в этом мире,
который своих героев оставил одних умирать.
Вы покинули их? Что же — придут и за вами!
Вы покинули их?
Вы хотите, чтоб жизнь
скрылась во мглу могил, чтобы улыбку людей
перечеркнула навеки смертная мука и грязь?
Почему вы молчите?
Ждете, пока на Востоке станет побольше мертвых?

Пока они не закроют полностью ваше небо?
Но тогда и для вас останется только ад.
Миру осточертели маленькие геройства,
когда на Мадагаскаре полчище генералов
храбро уничтожает пятьдесят пять обезьян.

Миру осточертели осенние ассамблеи,
где председателем зонтик.
Сталинград, мы не можем к стенам твоим пробиться,
город, мы далеко!
Мы — это мексиканцы, арауканы, мы —
патагонцы, гуарани,
уругвайцы, чилийцы —
нас миллионы людей.

К счастью, в семье людей есть отважный сородич,
но до сих пор, отец, мы не пришли на помощь.
Огненный город, держись, пока мы сможем прийти —
тонущие индейцы, чтобы на стенах твоих
запечатлеть поцелуй сынов, спешивших к тебе.
Пусть еще не открыли второго фронта, но ты
не сдаешься, хотя железо и пламя будут тебя
терзать и ночью и днем.

Хотя ты и умираешь, ты не умрешь, Сталинград!
Люди твои не знают смерти: они продолжают
драться там, где упали замертво, — это будет,

пока победа не дастся в руки тебе, Сталинград.
Пусть эти руки устали, изранены и мертвы, —
новые алые руки, когда эти руки падут,
посеют на пашнях мира кости твоих героев,
чтобы твое зерно покрыло всходами землю.

Из поэмы «Всеобщая песня»

Гимн возвращения

Перевод Л. Мартынова

Родина, родина, плотью и кровью я снова с тобою.

Встреть же меня, как сына. Слышишь: я полон
песен и плача!

Прими же

эту слепую гитару,

этот разум, блуждавший по миру!

Я уходил, чтоб с сынами земли повстречаться,
вышел я павших искать с именем твоим снежным,
вышел я дом построить из твоей древесины свежей,
раненых героев твоей озарить звездой!

Нынче в твоём существе я хочу позабыться.

Дай же мне светлую ночь струн своих проникновенных,

дай твою ночь корабля, дай твое звездное небо.

Родина, хочется мне тень поменять. И хочу я
новую розой владеть. И хочу положить я
руку на тонкий твой стан. И на выжженных морем
скалах сидеть я хочу. Колебание пшеницы
остановить я хочу и в колосья вглядеться.
Флору я изберу, высохшую от селитры,
нить ледяную спряду из колокольного звона.
В честь твоей красоты сотку я венец прибрежный
из одинокой твоей и прославленной пены.
Родина моя, окружена ты
сонмом воинственных вод. Соединились
сера в тебе и орел.
В горностаينو-сапфирной
южнополярной руке твоей искрится капля
чистого света людского, чтоб им озарилось
и вспылало враждебное небо.

Родина, свет свой храни! Колос надежды
да не погибнет в слепой атмосфере смятенья,
ибо достался на долю земли твоей дальней
свет этот трудный —
судьба людская.
Ты защищаешь цветок небывалый,
что расцветает, загадками полон,
здесь, в необъятной Америке спящей!

Вершины Мачу-Пикчу

Перевод М. Зенкевича

XI

Сквозь блеск неясный и смутный,

сквозь каменный мрак дай мне протянуть руку,

пусть затрепещет во мне, как птица, плененная тысячу лет,

древнее сердце забытого человека!

Дай позабыть мне сегодня счастье, широкое, словно море,

ведь человек шире, чем море со всеми его островами,

нужно упасть в него, как в колодец, и кверху со дна подняться

с ветвью скрытой воды и затонувших истин.

Дай мне забыть широкий камень, мощность пропорций,

огромность размеров, гранитные соты,

квадраты и дай мне скользнуть рукою

по гипотенузе терпкой крови и кремнезема.

Когда словно подковой бурых надкрылий яростный кондор

бьет по вискам моим, налетая,

когда ураган хищных перьев взметает темную пыль

с диагональных лестниц — я не вижу быстрой птицы,

не вижу слепого цикла ее когтей.

Я вижу древнего раба, уснувшего в поле,

я вижу тело одно, тысячу тел, мужчину, тысячу женщин

под черным шквалом, черных от ливня и ночи,

окаменевших тяжело, как статуи:

Хуан Глотающий Холод, сын звезды зеленой,

Хуан Босоногий, внук бирюзового камня,

поднимись родиться со мною, брат мой.

XII

Восстань, о брат мой, к рождению со мною.

Протяни мне руку из зоны глубокой
твоего распыленного страданья.

Ты не вернешься из каменной глыбы.

Не вернешься ты из веков подземных.

Не вернется твой голос окаменелый.

Орбиты глаз твоих не вернутся.

Взгляни на меня сквозь толщу земную,
землепашец, ткач, пастух молчаливый,
укротитель ставшей ручной ламы,
каменщик на лесах строительства,
водонос тех слез, что пролили Анды,
ювелир с истертой на пальцах кожей,
земледелец, за свой посев дрожащий,
гончар, погрязший в месиве глины,
несите все к чаше новой жизни
погребенные старые скорби ваши.

Шрамы и кровь вашу мне откройте,
скажите: меня за то покарали,
что в камне нет драгоценного блеска,
что земля не дает ни камней, ни зерен.

Покажите тот камень, где вы упали,
то дерево, где вас распяли когда-то,
искрами древних кремней осветите
старинные ваши лампы и плети,
которыми вас стегали по ранам,
топоры покажите с кровавым их блеском.

Говорить я устами вашими буду.

Через землю всю ко мне протяните

умолкшие ваши, истлевшие губы,
всю долгую ночь говорите из бездны,
как будто к вам якорем я прикован,
обо всем расскажите мне — цепь за цепью,
звено за звеном и шаг за шагом,
наточите ножи, что вы сохранили,
вложите их в сердце мое и в руку,
как реку широкую желтых сверканий,
как реку истлевших давно ягуаров,
дайте оплакать часы, дни, годы,
века слепые, столетья созвездий.

Дайте молчанье мне, воду, надежду.

Дайте борьбу мне, железо, вулканы.

Прильните телами ко мне, как магниты.

Проникните в губы мои и вены.

Говорите моими словами и кровью.

Землю зовут Хуан

Освободители, за вами шел Хуан,
за вами шел народ, трудился и боролся,
ловил он рыбу, и пахал он землю,
и опускался он в сырые шахты,
и версты всех дорог шагами мерил.
Во всех концах его зарыты кости,
но он живет, вернулся он на землю,
он снова родился растением вечным.
Вся ночь нечистая вокруг него сгустилась,
чтоб поглотить его, но вновь сияет
своей непобедимую улыбкой
его лицо сквозь зарево зари.
Его связали — разорвал он путы,
солдат-народ, решительный и смелый.
Его убить хотели — он здоров,
как яблоко налит румяным соком.
Ему рубили руки — больше силы
в руке его, карающей врагов.
Его зарыли — но опять шагает
он рядом с нами с песней на устах.

Хуан, перед тобою все дороги,
Хуан, тебе открыты все ворота,
земля твоя, и рождена тобою,
твоею кровью, правда на земле.
Враги тебя не могут уничтожить,
ты — древо человеческой свободы,

ты — древо вечности, твоим корням
защитою послужит сталь сегодня,
защитою твое величье ныне
в Советской Родине; ей не страшны
укусы издыхающего волка.

Ведь из страданья новый строй родился,
а из него свобода родилась.

Так поднимай, народ, свободы знамя,
держи его руками всех погибших,
неси его руками всех живых,
соединенными в одно пожатье,
иди вперед, в решительный, последний,
единый бой, к своей звезде лучистой,
пускай единым светом засияет
лицо непобедимое твое.

Ода надежде

Перевод О. Савича

Над морем сумерки...

Вот середина жизни.

На виноградины

похожи волны;

небо одиноко.

Меня все это наполняет,

переполняет:

и море — целиком,
и небо — целиком,
движение,
пространство,
валов отряды
в белых шапках пены,
земля оранжевого цвета,
горящий пояс
умирающего солнца,
все, все
подарки жизни,
и птицы,
летающие поспешно к снам своим,
и море, море,
и запах
изумительный,
и соли звучный голос...
Мы,
люди,
у воды живим
в борьбе,
в надежде;
у моря мы живем
надеждой.
И волны суше повторяют:
«Все, все свершится».

Перевод О. Савича

Почти полвека по дорогам

с тобой, Поэзия, иду.

Вначале

ты мне опутывала ноги,

и падал я ничком на землю

иль в лужу, как в могилу;

тогда глаза я опускал,

чтоб видеть звезды.

Позднее обнимала ты меня

руками женщины влюбленной

и проникала в кровь мою.

Потом

ты превратилась в кубок.

Великолепно было

идти и расточать тебя

(а ты все неразменна),

идти и одарять водой неистощимой,

идти и видеть, как срывалась капля

и падала в сгорающее сердце,

и возрождалась вновь из пепла.

Но этого мне тоже было мало:

так много я прошел с тобою,

что уваженье потерял к тебе.

Ты больше не была

туманною наядой,

заставил я тебя работать прачкой

и в хлебной лавке хлебом торговать,
и ткать с ткачихами простыми,
и на заводе по металлу бить.
И ты все шла со мной по миру,
но больше не была
цветущей статуей, как в детстве.
Железным голосом
теперь ты говорила,
а руки стали тверже камня,
и сердце стало колоколом звонким.
Ты хлеб пекла и раздавала,
ты помогала мне ничком не падать,
ты мне товарищей искала —
не женщину одну,
не одного мужчину,
а тысячи, миллионы душ.
Поэзия, мы вместе были
в бою и в стачке,
на демонстрациях, и в гаванях, и в шахтах,
и я смеялся,
когда твой лоб был вымазан в угле
или пахучими опилками увенчан.
И больше мы не спали на дорогах.
Нас поджидали группы
рабочих в свежесмытых рубашках
и с красными знаменами.

Поэзия,
была ты раньше робкой до отчаянья,

теперь

идешь ты во главе процессий.

Привыкли все к тому, что ты одета,

как еженощная звезда.

Хоть молния порою выдавала

твое высокое происхождение,

но ты свои задачи выполняла,

шагая вровень с шагом всех людей.

Я попросил тебя, чтоб стала ты

полезной и пригодной,

как все металлы, как мука;

чтоб ты была готова плугом стать,

станком и инструментом,

и хлебом, и вином;

чтоб ты была готова

сражаться врукопашную

и обескровленную пасть.

И вот теперь

благодарю тебя, Поэзия,

жена, сестра, невеста или мать.

Благодарю, волна морская,

цвет апельсиновый и знамя,

рождение музыки,

мой золотой, мой длинный лепесток,

подводный колокол,

неисчерпаемая житница.

Благодарю тебя,

земля всех дней моих,

головокружительное небо,
кровь моя,
за то, что ты меня сопровождала
от самой разреженной высоты
до бедняков за бедными столами;
за то, что в душу мне вложила
железо и огонь холодный;
за то, что подняла меня
до незначительных и самых трудных
высот простых людей;
за то, что раздаю себя,
а ты по-прежнему неистощима:
ты разливаешь в мире свежесть крепкую
и пылкость чистую свою,
как будто время
меня за шагом шаг уводит в землю,
но позволяет вечно течь потоку
Поэзии моей.

Ода желтому цветку

Перевод В. Столбова

На фоне лазурного неба

волнуется синее море...

На фоне лазурного неба

горсточка желтых цветов.

НАСТУПАЕТ ОКТЯБРЬ

И как грозно бы ни было море,
море — миф, воплощенный в пространство,
с его назначением высоким
и закваской его штормовой.

Все равно

на земле золотится
маленькое растение,
и мы уже глаз не отводим
от матери нашей земли.

Прах мы есмь и останемся прахом.

Пламя, вода или ветер
не наша судьба.

Только землей мы станем,
только сырой землею,
а может быть,
желтым
цветком
на земле.

Прошу тишины

Перевод П. Грушко

Сейчас я хочу покоя.

Считайте, что я отсутствую.

Я глаза на миг закрываю...

Пять вещей сейчас мне нужны,
пять особо важных корней.

Во-первых, безбрежность любви.

Во-вторых, любоваться осенью:

мне не жить, если листья не будут
слетать, сливаться с землей.

В-третьих, зимние дни,

ливень любимый и нежность
костра на свирепом холоде.

В-четвертых, спокойное лето,

круглое, как арбуз.

В-пятых, твои глаза.

Матильда[289] моя, желанная,

не заснуть мне без глаз твоих,

без взглядов твоих мне не жить,
я с легким сердцем сменяю
весну на взгляды твои.

Друзья, это все, что мне нужно:
ничто — и почти что все.

А теперь я вас не держу...

Я столько прожил, что вскоре
забудут меня поневоле,
стерев с доски мое сердце,
желавшее жить бесконечно.

Но то, что прошу тишины я,
не значит, что я умру.
Со мною все это иначе:
я буду и дальше жить.

Я есть и быть продолжаю.

Просто внутри меня
будет силы копить пшеница,
чтобы зерна, раздвинув землю,

над землей увидели свет,
но земля-праматерь темна,
вот так же темно и во мне:
я похож на колодец, в чьи воды
ночь роняет звезды свои,
чтобы в поле уйти налегке.
Понимаете, прожил я столько,
что хочу прожить еще столько же.

Никогда я не был так звонок,
так богат поцелуями.

Как прежде — все еще утро.
Свет летит со своими пчелами.

Оставьте меня с рассветом.
Позвольте мне снова родиться.

Скатерть для всех
Перевод П. Грушко

Лишь только позвали к столу,
как сорвались с места тираны
и случайные их кокотки,
и было смешно смотреть

на этих ос пышногрудых,
спешащих в компании бледных,
несчастных общественных тигров...

Черствого хлеба кусок

съел пахарь в открытом поле,
в одиночестве, поздним вечером.

Вокруг колосилась пшеница,
но не было больше хлеба,
он ртом голодным смолот его,
глазами голодными съел.

В синюю пору завтрака,

в час ленивой жаровни
поэт, отстраняя лиру,
нож достает и вилку,
и ставит на стол стакан,
и рыбаков созывает
к мелкому морю тарелки.

В языках горящего масла
картофелины негодуют,
ягненок на углях как золото.

Снимает одежды лук...

Тягостно есть во фраке —
ощущенье, что ешь в гробу.

А есть в монастырских стенах —
все равно что есть под землей.

В одиночестве горько есть,

но не есть — словно в бездну упасть,
словно рухнуть в зеленую пропасть:
будто цепь из крючков рыболовных
протянулась от сердца к желудку,
разрывая тебя изнутри.

Голод похож на клещи,
на клешни разъяренных крабов.
Он сжигает, но без огня:
голод — пожар холодный.
Так давайте же сядем за стол
со всеми, кто голодает,
и расстелим длинные скатерти,
поставим солонки озер,
и хлебы размером с небо,
и горы клубники со льда,
и лунообразное блюдо,
за которым всем хватит места.

Я сейчас одного лишь прошу:
справедливости завтрака.

Опасность

Перевод П. Грушко

Предупредили: осторожней,

не поскользнитесь на паркете,
на мокрой глине, на снегу.

Ну что ж, сказали мы, на льду
мы постараемся не падать.
Но вышло так, что под ногами
все начало внезапно плыть,
и все мы стали кувыркаться.

А это кровь была.

Она
текла из секретариатов,
с постов, захваченных разбоем,
текла по мраморным ступеням
и затопила поле, город,
редакции газет, театры,
хранилища людского пепла,
полковничьи застенки.

Кровь
окопы с верхом залила,
струилась из войны в войну,
по миллионам мертвых глаз,
которые лишь кровь видали.

Так было — я могу поклясться.
Возможно, в жизни вы скользили
лишь на снегу или на льду.

Мне выпала другая доля —
оскальзываться на крови.

Ленивый

Перевод П. Грушко

Металлические предметы
будут летать между звездами.
Изможденные люди взлетят,
чтобы луну обесчестить
и построить на ней аптеки.

В пору спелого винограда
между морем и Кордильерами
оживает внезапно вино.

В Чили пляшут черешни,
распевают смуглые девушки,
на гитарах блестит роса.

Солнце стучится в двери
и творит чудеса с пшеницей.

Первое вино — розовое,

словно новорожденный,
второе вино — крепкое,
как словцо моряка,
а третье вино похоже
на топаз, на мак, на пожар.

Есть земля у меня и море.
У жены большие глаза —
два диких лесных ореха.
Под вечер волна облачается
в зеленый и белый наряд,
и на пене прибоя луна
спит, как морская невеста...

Я планету менять не хочу.

Минута песни в честь Сьерра-Маэстры
Перевод С. Кирсанова

Как просят тишины, прощаясь с нами,
когда пора нам возвратиться в землю, —
так я прошу одной минуты, чтобы
все голоса Америки звучали.
Одной минуты задушевной песни
прошу у вас я — в честь Сьерра-Маэстры.
На этот раз забудемте о людях,

на этот раз прославим эту землю,
что в тайнике горы хранит ту искру,
что на лугах пожаром разгорелась.
Я воспеваю заросли густые,
и жесткость твердой каменной постели,
и ночь тревожных и неясных шумов
с дрожанием мерцающих созвездий,
гор тишину нагую и загадку
своих знамен лишенного народа,
пока борьба не вспыхнула повсюду
одним костром всеобщего восстания.
Спустились бородатые солдаты,
чтоб мир на их отчизне утвердился.
Сейчас все прояснилось, но в то время
туманною была Сьерра-Маэстра[290].
И я прошу минуты общей песни
о Подвиге — единодушным хором.
И вот какими я начну словами,
чтоб вся Америка их повторила:
«Глаза откройте, братские народы,
есть и у вас своя Сьерра-Маэстра!»

Из цикла «Сто сонетов о любви»

Перевод М. Алигер

Утро

Имя растенья, вина или камня — Матильда.

Имя того, что рождается и существует.

Слово, в чьем росте внезапно рассвет наступает,
слово, в чьем лете взрывается пламя лимонов.

В имени этом бегут деревянные шхуны
в синем сигнальном огне беспредельного моря,
буквы его — это светлые струи речные,
те, что впадают в мое обызвествленное сердце.

Имя, которое я под вьюнками нашарил,
словно бы двери подземного тайного хода,
хода, ведущего к благоуханию мира!

О, затопи меня, ртом обжигающим рухни,
высмотри душу своими ночными глазами,
но разреши в твоём имени плавать и сном забываться.

Полдень

Могу ли я забыть, что эти руки
сухие корни розы оживили,
что каждый след твой вспыхнул ноготками,
с природой в полном мире и согласье?

Мотыга и вода, твои ручные звери,
кусают и облизывают землю,
и с ними ты трудом высвобождаешь
гвоздик обильных пламенную свежесть.

Любовь и честь рукам твоим, как пчелам!
Землею рождены такие руки,
они мое возделывают сердце,

и вышло так, что, обожженный камень,
с тобою рядом я пою, вспоенный
лесной водой, — я, дело рук твоих!

Вечер

От горя до горя идет островами любовь,
и корни пускает, и их орошает слезами,
и тихое хищное сердце бежит,
и этого бега никто никогда не избегнет.

Мы ищем с тобою пространства, пристанища, новых планет,
где белая соль на косы твои не легла бы,
где б не был виновен я в том, что печали растут,
где хлебу жилось бы свободно и без агонии.

Мы ищем планету в далекой дали и в листве,
суровую степь и необитаемый камень,
где можно построить своими руками гнездо.

Мы просто любили, без слова, без раны, без зла,
и это была не любовь — обезумевший город,
и жители этого города на старых балконах бледнели.

Ночь

Думаю, эта эпоха, когда ты любила меня,
минет и сменится новой синей эрой,
новой кожей на этих же самых костях,
новой весной, открывшейся новому взгляду.

Те, что случайно связаны вместе сейчас,
между собою беседуя высокомерно, —
члены правительств, прохожие и торгаши, —
больше никто их за ниточки дергать не станет.

Сгинут куда-то жестокие боги в очках,
все лохмачи плотоядные с книгой под мышкой,
всякая-разная мелкая мошка и тля.

Чтобы увидеть только что вымытый мир,
новые очи откроются, омытые новой водою,
и без страдания новые нивы взойдут.

Колокола России

Перевод П. Грушко

Однажды я брел по безмолвной заснеженной шире,
и вот что случилось —
послушай, родная, про случай туманный:
мороз над пустынной степью
развесил ледышки своих ожерелий,
и шкура планеты блестела,
покрыв обнаженное тело России,
а я, раздвигая скелеты берез,
в предвечерье огромном
шагаю, вдыхаю пространство
и слушаю пульс одинокого мира.

Тогда-то и взмыл

из безмолвия голос земли полуночной,
за голосом голос,
вернее, всемирное многоголосье:
глубокий басовый удар,
неумолчный металл непроглядного мрака,

поток этот медленный — голос таинственный неба.

В округлые выси

взмывал этот вызвон небесного камня

и падал во мглу водопадом серебряной скорби,

вот так я в дороге

и встретился с колоколами России,

с глубинным ознобом их звона

во тьме поднебесной.

Набаты, набаты огромной вселенной, далекие гулы

в глухом безмятежье зимы,

что трепещет, как знамя,

как белое рваное знамя, вонзенное в полюс.

Набаты сражений, поющие хрипло о битвах,

о крови, сожженных домах, поражениях горьких,

а позже — о стягах победных, увенчанных светом.

И вот я сказал, обращаясь к метели, к зарницам,

к себе самому, к переулку,

где слякоть припудрена снегом:

война отступила,

похитила нашу любовь, — обгоревшие кости

устлали поля на исходе безжалостной жатвы...

Ответом мне древние были набаты,

гудевшие в сумрачном свете,

как в зеркале мутном,

как в городе, канувшем в озеро, —

так колокол яростный в грозных своих перегибах

вызванивал если не месть,
то печаль обо всех бездыханных героях.

Был колокол каждый
как ветка, ронявшая гром и напевы,
певучие всплески железа
летели к сиянью луны белоснежной,
мели омертвелые чащи,
где спящие сном беспробудным деревья
вздымали вселявшие страх неподвижные копыя.
Над полночью колокол тек,
как река, уносившая корни, молитвы,
невест и могилы, солдат и святых, урожая,
пожары и улы, и крики младенцев.
А с царской главы,
с одинокой короны, отлитой в тумане
в кровавых и огненных кузницах
средневековыми мастерами,
слетала пыльца изумрудно-кровавого звона;
и как испаренье
над стадом промокшим, дыханье и запах
молящихся в церкви холопов
окутали золотую корону под звон погребальный.

Но в даях за сиплыми колоколами
уже громяют раскаты:
пожар революции ало окрасил
березовый саван, облитый росой,

взрывается мак,
лепестками багряными землю усыпав,
и армия молний вторгается в спящие степи.
Внемлите заре, распустившейся в небе,
как роза, и общему гимну
очнувшихся колоколов,
возвестивших Ноябрьское солнце.

Подруга моя, я бродячий поэт,
воспевающий радость земную,
науку цветенья и хлеб на столе,
необъезженный ветер и мед добросердый,
в напеве своем я приветствую
дом человека, жену человека, мечтаю
о том, чтобы терпкая радость
проникла в сердца всех живущих.
Я все, что творится, вбираю,
как колокол полый, и возвращаю планете
горластыми благовестами колоколен весенних.

Прости меня, если порою набат невеселый,
который сорвался с души моей мрачной,
колотит руками полночными
в двери пшеничного полдня, — не бойся:
есть время у колокола,
есть веселый напев, ожидающий часа,
когда голубей своих
выпустит в небо и радость, как веер,

раскроет над миром —
всемирную громкую радость.

Набаты былого, грядущего, горла басовые
в глуби людских сновидений.
набаты пожара и бури, набаты баталий и злобы,
набаты пшеницы и сельских собраний,
набаты всех свадеб на свете и мира на свете,
заплачем, набаты, запляшем, набаты,
споемте, набаты, — восславим
бессмертье любви,
это солнце, луну, океаны и землю, —
осанну споем человеку!

Город

Перевод Л. Осповата

Городские предместья с гнилыми зубами
и голодными стенами,
заваленные отбросами:
раскиданный мусор,
мертвое тело
облеплено зимними мухами,
и нечистоты.
Сантьяго,
столица родины,
прильнувшая к горной цепи,

к снежной флотилии,
злое наследие
целого века сеньор в корсетах
и кавалеров с холеными бородками
(трости, серебряные брелоки,
когтистые лапы в перчатках).

Сантьяго, доставшийся нам в наследство,
грязный, кровоточащий, заплеванный,
горький и бездыханный,
таким мы тебя унаследовали
у господ после их господства.

Как умыть тебя,
город, сердце наше,
проклятый сын,
как
возвратить тебе истинный облик, весну,
благоухание,
жить с тобою живым,
пламенеть твоим пламенем,
зажмурившись, вымести твою смерть,
чтобы ты воскрес и расцвел,
и дать тебе новые руки и новые очи,
человечьи дома, цветы в рассветных лучах!

Заключение

Перевод Л. Осповата

Матильда, дни или годы

во сне, в лихорадке,

здесь или там,

пригвожденный,

с перебитым хребтом

я истекал доподлинной кровью,

то погружаясь в небытие,

то пробуждаясь:

больничные койки, чужеземные окна,

белые халаты сиделок,

ноги словно в цепях.

Потом — эти странствия

и вновь мое море:

твоя голова в изголовье,

твои руки, как птицы,

в лучах моего света

над моей землей.

Как это было прекрасно: жить,

когда ты живешь!

Мир становится самым лазурным и самым земным
по ночам, когда сплю,
огромный, в кольце твоих быстротечных рук.

ХУВЕНСИО ВАЛЬЕ[291]

«Я руки окунаю в воду моей земли...»

Перевод М. Дубина

Я руки окунаю в воду моей земли.
Вода моих корней железом пахнет, серой,
чтоб борода моя росла густой и твердой,
чтоб грудь моя, как колокол зеленый,
гудела бронзой, гулко и светло.

Я — капитан полуденного неба.
Внутри меня земля. А я — пастух
деревьев и животных. Навожу я
порядок в красках дня и ароматах
и, вдохновенный, воду поднимаю,
как радуге достойный монумент.

Меня сжигают золотые сны. И тайна
моих времен во мне пылает жарко,
кипит, цветет, как сейбы древесина,

и корни в ребрах у меня растут.
Меня венчает солнце теплой дланью,
пронизывая радостным стеклом.

Да, я приду. Хотя мои ступни
еще завязли в глине, из которой
я сотворен. Бежит еще по жилам,
пульсируя, земное молоко.
Я выхожу из глины. У меня
еще болит и ноет пуповина,
меня соединяя с бороздой.
Я выхожу из глубины, как колос.
И в глубине моя любовь и мука.
Я вверх ползу, как чистый виноград.
Вино поет в моей крови. И в корне
я утверждаю самого себя.
Он — Библия моя. Я слышу
его, к своей земле припав.

Песнь воде

Перевод Риммы Казаковой

Вода, голубая, прозрачная, хрустальная,
рождается вместе с потоком твоих волос
и, падая вниз, у ног твоих ищет пристанища.

Я воду пью, и запах воды, и тень ее,
ту светлую воду, ту свежую воду, что вверх
бессонною ниточкой тянется, словно растение.

Воду пью, гимн глубине ее вырос
из темных моих глубин, которыми я предчувствую
воду-небо, воду-бокал, воду-ирис.

Пей, Мария, холод ее слез.
Отдай свой рот прохладному рту воды,
отдай свою жизнь этой дороге из роз.

От теплых ног на теплой сонной земле
до буйных прядей волос — все погрузи в воду,
живою слезой растворишься в ее хрустале.

Наклонись и, когда твой лоб коснется камня,
встав на колени, ищи корень воды в земле,
плача, жаждущим ртом и руками.

НИКАНОР ПАРРА[292]

Перевод М. Алигер

Каталина Парра

Город странный и большой,
Край земного шара...
Бродит в нем единственная
Каталина Парра.

Целый год миновал,
О тебе я не слыхал,
Но тебя не забывал,
Каталина Парра.

Дождевая пелена
На землю упала.
Куда ты бедная, одна,
Каталина Парра?

Ах, если б мог я знать!
Ничего не знаю!
Как живешь ты, бедная,
Каталина, бледная?

Что бы я не говорил,
Лишь одно я знаю:
Твердо верю, что тебя
Снова увидаю.

Даже если издали
Я тебя увижу,
Буду рад, дитя мое,
Каталина Парра!

Сколько раз в стихах моих
Ты была воспета,
Девочка — сияние
Утреннего света.

Ах, погасшая любовь,
Тусклая лампада,
Ароматный твой цветок —
Вся моя отрада!

Есть один счастливый день

Я посвятил этот вечер одинокой прогулке
По забытым улочкам моей деревни,
Провожаемый сумерками — добрым другом,
Пожалуй, единственным, что со мной остался.
Все совсем как тогда. На улицах осень,
И светильник тумана рассеянно светит,
Только время вторглось и все захлестнуло

Поблекшим плащом своего унынья.
Никогда я не думал, ни на минуту, поверьте,
Возвратиться на эту дорожную мне землю,
Но сейчас, возвратившись, не понимаю,
Как я мог от ворот ее так удалиться.
Но ничто не меняется, ни белые стены,
Ни деревянные старые двери.
Все на месте; как прежде, ласточки вьются
Над самой высокой колокольней;
Улитки в саду, и мхом зеленеют
Старых камней сырые ладошки.
Никакого сомненья, это — царство
Облетевшей листвы и синего неба,
Где каждый предмет отмечен своею
Неповторимой и кроткой легендой.
И я узнаю даже в сумерках ранних
Покойной бабушки взор небесный.
Все это трепетно и незабвенно
Пришло ко мне в юности первоначальной:

Почта на площади с самого краю,
Старые камни, сырые стены.
Боже мой, право, никто не умеет
Дорожить хоть минутным, но истинным счастьем,
И когда оно чудится страшно далеким,
Вот тут-то оно и стоит с нами рядом.
Ах, бедняк я, опять мне твердит словно кто-то,
Что жизнь — это только всего химера,
Сновиденье, не знающее предела,

Мимолетное облачко над вселенной.
Но давай по порядку, болтаю без толку,
От волненья моя голова закружилась.
Так как я пустился в свое предприятие
С наступлением сумерек и покоя,
Как бесшумный прибой, одна за другую
Возвращаются овцы в свои загоны.
Я приветствовал каждую персонально
На тропинке, ведущей к знакомой роще.
А когда я встал перед этой рощей,
Что прохожих щедро поила шумом,
Сокровенной музыкой неизъяснимой,
Я припомнил о море, считая листья
В честь сестер моих, умерших в раннем детстве.
Превосходно! Дорогу свою продолжаю,
Словно тот, кто живет, ни на что не надеясь;
Прохожу не спеша мимо мельницы нашей,
Замедляю шаги перед входом в лавку:
Запах кофе всегда остается тот же,
И луна все та же над головою;
Меж рекою прошлого и настоящим
Никакого различия я не вижу.
Узнаю это дерево без ошибки,
Мой отец посадил его у калитки.

(Дорогой мой отец, когда был он счастлив,
Он был лучше окна, открытого настежь.)
На высотах этих я ощущаю,
Обнимает меня хрупкий запах фиалок —

Мать моя их растила с такой любовью,
Чтоб излечивать ими печаль и кашель.
Сколько времени в мире с тех пор миновало,
Я не мог бы ответить даже примерно.
Все такое же точно: всенепременно
Соловей и вино на столе накрытом.
Мои младшие братья об эту пору
Возвращаться должны бы домой из школы.
Только время смело это все бесследно,
Словно белая буря, песчаная буря!

Вольные стихи

Белый глаз мне ни о чем не говорит.
Долго ль, что ли, умным притворяться?
Завершенья мысли? Для чего?!
Мысли надо выпускать на волю!
В хаосе — свое очарованье.
У летучей мыши схватка с солнцем.
Никому поэзия не в тягость.
А фуксия парит, как балерина.

Грозы без величья надоедают.
Я пресыщен дьяволом и богом.
Дорого ли стоят эти брюки?
Рад жених отшить свою невесту.
Ничего противней неба нету.

Не вступают в спор о том, что ценят.

А фуксия парит, как балерина.

Кто на скрипке плавает — потонет.

Девочка венчается со старцем.

Бедные не знают, что болтают.

Ничего не вымолишь любовью.

Грудь полна не молоком, а кровью.

Пение для птицы — развлечение.

А фуксия парит, как балерина.

Раз я был готов с собой покончить.

Соловей сам над собой смеется.

Совершенство — что туннель бездонный.

Все прозрачное нас привлекает.

Сколько высшей радости в чиханье.

А фуксия парит, как балерина.

Нет девиц и некого бесчестить.

В искренности есть своя опасность.

Жизнь я побеждаю лишь пинками.

Между грудью и спиной — бездна.

Дайте умереть тому, кто умирает.

Ванная — мой сокровенный храм.

А фуксия парит, как балерина.

Окорок домашний нарезают.

Венчики цветов показывают время.

Продают по случаю распятые.

Есть у старости свои награды.

Похороны лишь в долги вгоняют.

Бог Юпитер страсть изверг на Леду.

А фуксия парит, как балерина.

Все еще в лесу мы существуем —

Разве вам не слышен шелест листьев?

Мне никто не говорит: ты бредишь,

Значит, все что говорю я, верно.

Кажется мне: правота за мною,

Я ведь тоже бог в какой-то мере,

Я творец, что ничего не создал,

Раззевавшийся, что было мочи.

А фуксия парит, как балерина.

Виго. «За хлеб и свободу». Линогравюра. 1952 г.

ХОРХЕ ТЕЙЛЬЕР[293]

Перевод С. Гончаренко

Ключ

Так доверься осеннему ветру. Откройся без слов
этой тихой реке в берегах, желтизной обоймленных,

где по илу придонному в сонных свинцовых затонах
бродят ощупью призраки смытых когда-то мостов.

Знаю: руки твои — это ключ, отмыкающий лето
в старой мельнице той, где душа моя долго спала,
где невнятные тени бормочут в пыли полусвета,
где разбойничьим посвистом
черные всадники ветра,
в деревнях с колоколен сорвавшие колокола,
свищут, плещут плащами, над ветхою крышею рея...
Пусть же дни облаками
плывут в небесах твоих глаз...

Мы не будем будить наше чутко уснувшее время.
Ты услышишь, как счастье
крылами касается нас.

Моему отцу, коммунисту

В час, когда, захлебнувшись закатом,
осеннее сонное солнце
ищет ощупью запах забытых весенних ветвей,
мой отец в дряхлом «додже»
по горной дороге трясется
к деревушке, похожей
с обрыва на птицу в траве.

Или, может, бредет через ржавую топь
в резервацию арауканцев[294],
чья поля тихо тают,
как будто чернеющий снег,
чтобы им рассказать про тот день,
когда земли начнут размножаться,
как хлеба или рыбы, —
и правды им хватит на всех.
Вот уже тридцать лет
об аграрной реформе твердит он
и поет «Интернационал» —
и хоть голос не бог весть какой,
с голосами крестьян, рыбаков, с голосами рабочими слитый,
он могучим мотивом плывет надо всею землей.
Окруженный друзьями
на фабрике, дома и в поле,
в профсоюзе, в подполье и на площадях городов,
он — лишь горстка семян,
у которых завидная доля:
прорасти прямо к солнцу лесами весенних миров.
Его вера прекрасна —
как будто сиренью настоящий ветер.
И хочу я, чтоб сам он дожил до зари над страной,
когда улицы станут носить имена
Рекабаррена или Лаферте
(в тридцать первом он с ним подружился — поверьте,
что тогда коммунистом был только герой).

Я хочу, чтобы внукам по яблоне
руки его посадили,
чтоб входил он в свой собственный,
пахнувший деревом дом,
чтоб еще много лет
«Марсельезу» он пел в годовщину Бастилии
в честь отца своего:
тот ведь был уроженцем Бордо.

Чтобы смог, наконец,
он спокойно с друзьями собраться:
не на митинг — а просто за щедрым
крестьянским столом,
чтоб, заботы забыв, от души он сумел рассмеяться,
запивая жаркое студеным и терпким вином.

В этот час, когда тонет в закате
осеннее сонное солнце,
мой отец,
чтобы проще про рай на земле объяснить —
и живей,
знаю, вновь через горы на стареньком «додже» трясется
к деревушке, похожей
с обрыва на птицу в траве.

ЭКВАДОР

ХОРХЕ КАРРЕРА АНДРАДЕ[295]

Перевод О. Савича

Одиночество и чайка

Моря белый блокнот —

чайка, весть или птица,

разворачивает полет

на две путевых страницы.

Чайки сестра морская —

одиночество без границ,

чего-то еще ожидая,

вздыхает и смотрит на птиц.

Насекомые и растенья

изрыли всюду пески:

сигнальные искаженья

подземной страстной тоски.

Здесь, в центре всего, как ленник,

живу среди птиц морских,

сам свой собственный пленник,

товарищ развалин немых.

И вижу и слышу невольно,
как дождь в доспехах идет
и по одиночеству больно
жидкою шпагой бьет.

Сигналы

Как дверца узенькая, зеркало
ведет в загадочность кристалла:
за светом ледяным немеркнущим
внимательные ждут сигнала.

Послание из другой вселенной
в глуби зеркальной открывается,
блеснет кометою мгновенной,
и глаз, ослепнув, сомневается.

Брильянтами сияет черными,
купаясь в свете неизвестном,
сигнал живущих по ту сторону
от нашей жизни в мире тесном.

И ловит неводом лучистым
фигуры, символы и линии
то зеркало со светом чистым,
хранилище предметов синее.

Глаз караулит, глаз впивается,
за перспективой ждет движенья;
но в цвет дневной он упирается
лишь в ироничном отраженье.

И слух охотничьею сукой
подстерегает дичь украдкою,
но ловит только призрак звука,
скрепленный, как пером, догадкою.

Душа, расстанься с оболочкою,
и глубь зеркальную мгновенно
прочертит лопнувшей почкою
послание другой вселенной.

Апрель-водяной хмель

Время, когда сердце хотело б скакать разутым,
как у девочки, грудь вырастает у дерева,
а нас охватывает страсть писать наши вещи

ласточкиными перьями.

Эти лужи — будто бокалы с чистой водою,
ее взмах крыла или травинка морщинит,
и как синий прилив этот воздух стеклянный,
где лодочка насекомого медленно стынет.

Вода с удовольствием сандалями шлепает,
москиты просеивают молчанье природы,
и воробьи подбирают клювом жемчужину
хорошей погоды.

Портрет испанца Сант-Яго Карреры

Глаза за нами следуют, блистая,
из-под бровей, как хищных два зверька,
и в них мерцает нежность золотая
под отблеском смертельного клинка.

Луна и зеркало — броня простая —
сраженья отражали, как река;
и о любви и храбрости сухая
и длинная нам говорит рука.

Друг вице-короля и капитан Кастильи,
индейцев защищал он шпагой боевой,
но в жизни, прожитой в колониальном стиле,

стал эшафот последнею главой,
и клетку целый день по площади носили
с его отрубленною головой.

Вечнозеленый Кито

Идет на пользу свежесть горных кряжей
поющим пленникам-колоколам,
индейцам с овощами для продажи,
дрова несущим на спине ослам.

На лицах кротость, благодушие даже,
хотя б спешили люди по делам,
и башни светлые стоят на страже:
надменность с благородством пополам.

Здесь солнце доброе, как хлеб горячий,
струится жидким золотом, пока
не хлынет дождь иль ночь его не спрячет.

Под сенью дождевого колпака
мечтает Кито, что плывет к удаче,
что он — ковчег, а море — облака.

Хуан Безнебесный

Зовусь Хуан, Хуан любой. Я — житель
земли, вернее, пленник я с пеленок,
тень в платье, прах бродячий, прародитель,
я тот же, что и все, — Хуан Ягненок.

Моя рука любую вещь освоит —
толкать ли колесо, тушить пожары;
она мне служит, чтоб цветок построить
и повернуть ключи земного шара.

Я распахал удел свой в чистом небе,
где проходили облака любые, —
он приносил полет, и мирный жребий,
и брызги неба — росы голубые.

Мое имя — меж межей пространство —
голубизну повсюду отражало;
сияло мне маиса постоянство,
мне стадо облаков принадлежало.

Моими пекарями были птицы,
а день был житницей с открытым входом,
где радость, расцветая, колосится,
где Запад созревает огородом.

И вот пришли торговцы зеркалами,
охотники на ангелов с винтовкой
и выменяли облачное пламя
мое на бусы, дым и голодовку.

Убийцы лебедей и свинопасы,
чеканчики фальшивых слов уныло
раскрали звездные мои запасы,
и, как морозом, сор луной схватило.

я потерял свой хутор синий, милый,
и высь, и новь, и свет, что сам посеял;
мои небесные поля — могилы,
в пустом пространстве ветер их развеял.

План золота зари уж мне неведом,
зовусь Хуан Лишенный даже клетки,
и не роса, червяк мне стал соседом, —
я потерял сокровище столетий!

Лишь синий груз, как раньше, давит плечи,
теперь он — купол ледяной, отвесный.
Хуан, всемирный инвалид, без речи,
я — безземельный, я и — безнебесный.

Одиночество городов

Не зная своего номера,
Окруженный стенами и границами.
Под каторжной луной,
с привязанной к щиколодке вечной тенью.

Живые границы встают
на расстоянии одного шага от моих шагов.

Нет севера, нет запада, нет юга и востока,
есть только размноженное одиночество,
одиночество, разделенное на число людей.
Бег времени по часовой арене,
трамваев сияющая пуповина,
церкви с атлетическими плечами,
стены, читающие по складам два-три цветных
слова, — все это сделано из одинокого вещества.

Образ одиночества:

каменщик, поющий на лесах,
неподвижная небесная лужа.

Образы одиночества:

пассажир, погрузившийся в газету,
лакей, прячущий портрет на груди.

как та, которую мы учили в школе.

Треугольник, яйцо, кубическая сахарная голова
просветили нас на празднике форм.

Только потом появилась окружность:
первая женщина и первая луна.

Где было ты, одиночество,
что я не знал тебя до двадцатилетнего возраста?
В поездах, в зеркалах и на фотографиях
ты всегда рядом со мною.

Крестьяне не так одиноки,
потому что составляют одно с землею.
Деревья — их дети,
смену времен года они чувствуют собственным телом,
и примером им служат жития святых маленьких животных.

Это одиночество питается книгами,

прогулками, роялями и осколками толпы,
городами и небесами, завоеванными машинами,
листами пены,
разворачивающимися до границ моря.

Все изобретено.

Но нет ничего, что могло бы освободить нас от одиночества.

Карты хранят тайну чердаков.

Слезы сделаны для того, чтобы их выкурить в трубке.

Старались похоронить одиночество в гитаре.

Известно, что оно проходит по неоплаченным квартирам,

что оно торгует платьем самоубийц

и что оно опутывает посланья, бегущие по телеграфной проволоке.

Безымянный район

В моем районе группами стоят дома и скот

и сыплют кучи из мешков серебряным маисом град;

свои витрины открывает, запирает небо вдруг,

и тыквы спят тяжелым сном вдоль всех дорог;

а из пещеры фальшивомонетчика бежит поток;

на муле утренние овощи в село спешат;

все насекомые с таблицы умножения спаслись,

и воздух непрерывно фрукты щупает рукой.

В моем районе держат все цветы

на маленьких ладошках или в сжатых кулачках
эссенцию молчания земли.

И водопад так ловко прячет зеркала свои,
и гонит он толпой своих овечек водяных,
как стадо, сквозь овраг.

В моем районе с лошадьми соседи говорят,
подковы подражают голосу колоколов,
предупреждают жабы, стоя на часах,
когда бегом проходит на ходулях дождь.
Звучит небесный, в красках весь, орган,
колени преклоняет перед ним ячмень,
а горизонт склоняющийся — это вол,
который медленно разжевывает даль.

Современная история

С шести утра просыпается дым
и без перерыва показывает рукой направление ветра.

Скамейки консервируют замороженный сон бродяг,
витрины магазинов берут улицу в плен
и продают ее вместе с фруктами, бутылками и морскими ракушками.
Дети делают сложение из хлебов и звезд на своих траурных аспидных досках,
и автомобили несутся, не зная,
что камень на крутом повороте ждет знака судьбы.

Словесный пулемет,
пишущая машинка, стреляет по невидимому часовому звоночку.
Наковальни делят на части звонкий сон подков,
а швейные машинки ускоряют сердцебиение незамужних женщин
среди крутящегося прибоа материй.

Вечер увозит большой узел солнца в трамвае.

Безработные смотрят на небо, как на корзину с яблоками.

Полки? холода
рассеивают группы нищих и бродяг.

Продавец рыбы, продавцы газет
и человек, который размалывает небо на своей шарманке,
подают друг другу руки в час ужина
в клоаках и под мышками у мостов,
где отбросы изображают сад
и консервные банки высовывают язык.
Их тени растут выше островерхих черепичных крыш
и мало-помалу покрывают город, дороги и ближние поля,
пока не задушат в своей груди образ вселенной.

Чертеж человека

Мир покрыт колыбелями,
они поют по ночам.

Человек живет, нагромождая кубы камней
для домов грядущих людей.

Согнутый климатом и средою,
ориентируясь по башням, дымовым трубам и
антеннам, ежедневный путник в своем городе,
терпящий крушение, начиная с пяти,
среди электрической растительности уведомлений, объявлений, реклам.

Дрессировщик машин,
обитатель небоскребов,
ты на Севере и на Юге, на Западе и на Востоке —
белый человек, желтый человек, черный человек.

Цветут в его руках
маршруты поездов и пароходов.

В его глазах складываются
утра, накормленные газетами.

Железная дорога шлифует землю,
волоча за собою стружки пейзажей,
а самолет восстает на географию,
ведомый человеком с совершенными руками.

Человек кричит
в Мехико, в Берлине, в Москве и в Буэнос-Айресе.

Вот он, пейзаж нашей ночи:
город опоясывается поясом поездов,
прожекторы высовывают рожки улитки,
и опускается самолет, потерпевший крушение в небе.

И поднимается человек, изобретатель грядущего,
окруженный машинами,
воззваниями Ленина, планами Нью-Йорка
и панорамами вселенной.

АДАЛЬБЕРТО ОРТИС[296]

Всегда пыль

Перевод Ю. Петрова

Пылью густой покрыта черного дерева мебель,

старая мебель, стоящая возле семейных портретов.

Пылью покрыт задумчивый,
тихий рояль в гостиной,
где анемичная девочка
грезит о синих принцах.

В пыльные окна солнце еле-еле сочится;
дремлет хозяин дома —
в эру колоний живет он:
он — благородный испанец,
все неизменным пребудет...

Пылью покрыты книги,
не читанные ни разу;
невыводимыми пятнами
пыль на глаза легла.

Пыль от машин, бегущих мимо домов по асфальту,
к стеклам окон прилипает
маленькими облаками.
Серая пыль на черном
костюме одетого в траур.
Пыль оседает на лицах
идущих по тротуару.
И ТБЦ — соратник
пыли от старых зданий,
ластится к человеку, ставшему, как скелет.
Узкие полосы света
кажутся дымом от пыли;
предпочитаю пылицу знойного летнего поля,
пыли убогих тропинок — пыль многолюдных дорог.

Пыль эта тучей клубится,
пятнами нас покрывает,
но отстирать эти пятна,
право, не так уж и трудно.
Пыли неметеных улиц
пыль рудников предпочли мы,
вызванная взрывчаткой,
воздухом набухая,
ляжет она на лужи;
но ненавидим пыль мы, ставшую липкой грязью, —
она еще хуже пыли, ставшей унылым камнем!
Пыль отрезает дольку солнца и сквозь решетку
в черные комнаты входит,
свет на себе неся.

Мы не боимся пыли, пачкающей одежду,
у нас от напасти этой новая щетка есть.

Мы не боимся пыли, пачкающей одежду, у нас от напасти этой новая щетка есть.

Напротив, ее мы любим, она — как душа народа,
она создает, сгущаясь, кровь оживающей расы.

Свежая пыль Америки, будь же благословенна!

Ты опускаешься медленно с горных вершин, с отрогов,
чтобы коснуться ласково рук наших, медной кожи
и указать, обозначить, вычертить новый путь!

Яркая пыль столетий, прожитых и ушедших,
даже тебе не сравняться с пылью сегодняшних дней!

АЛЕХАНДРО КАРРИОН[297]

Засуха

Перевод Б. Дубина

Улыбка у поля разом скатилась с губ.
День за днем истощались реки.
Всходы желтели уже задолго до жатвы,
и казалось, на днях от жажды умрут ключи.
Птицы больше не пели,
устроив отчаянное переселенье
в края, где цветы не перевелись и было вдоволь воды.
Глаза полыхали в горячке.
Никто теперь и не помнил, какими бывают дожди.
Пылью, казалось, засыпало все сердца.
Люди, кровавая руки,
рыли и рыли землю.
У них от изнеможенья уже темнело в глазах.
Воды и следа не встречалось,
и лопалась под ногами запекшаяся земля.
Такая стояла засуха!
Сначала умрут растенья: на них уже ни цветка.
Следом — зверье, все бессловесные твари.

За ними — люди с изглоданным ртом

и смертной мукой в глазницах.

Во рту будет корчиться стиснутый крик —

все, что осталось от жизни:

— Дайте воды!

Воды!

Воды!

Тем временем высохло все

вплоть до сердец.

Женщины

тщетно искали ласку

хоть в чьем-то взгляде.

Дети

тщетно искали хоть малость воды,

чтобы пустить кораблик.

И первой от жажды погибла

радость.

Наверно, такой и была земля

лютой порой накануне рождения любви.

Все живое томилось тоской пустого кувшина,

не в силах даже помыслить о чем-нибудь слаще

считанных капель, только бы губы смочить.

И куда ни ступи —

миллионы бабочек мертвых.

Резало веки:

так синело небо,

так сияло солнце,

так горели камни.

Снялись уже и последние птицы.

О песнях не вспоминали.

С каждой зарей воскресала надежда высмотреть тучу,
и за стакан воды предлагали жизнь.
Умирали люди — в глазницах зола,
а во рту — закушенный крик:
— Дайте воды!
Воды!
Воды! —
Такая стояла засуха!

ХОРХЕ ЭНРИКЕ АДОУМ[298]

Золото Атауальпы[299]

Перевод С. Гончаренко

Золото, как злоба, никогда не бывает в избытке.
И что хуже всего — оно заражено одиночеством.
Его хозяин всегда одинок: потому ли, что он
в одиночку добыл это золото, или
потому, что захотел остаться один —
одиношенок, в одиночестве, наедине...

В бешеном пламени плавилен[300]

таяло ремесло чеканщиков и ювелиров.
Золото неприкосновенных тронов,
золото чаши, о которой молили пересохшие
губы; золото идолов, у которого в печи

расправлялись морщины и плавилась
уши и веки; золото,
выпестованное нежными пальцами
золотых дел мастеров; золото
обруча, которым украшал себя воин;
золото золотых початков маиса,
без которых немислимо всякое торжество;
золото, золото... Золото, словно
расплавившее себя своими лучами
солнце; золото, струящееся
желтым ручьем; ливень каратов...

Из-за этого стоило потрудиться
вам, нищие Старого Света.
Окупились ваши мытарства. Кто же
не отдал бы себя опять на растерзание
голоду и москитам, кто же
не согласился бы снова
потерять один глаз, лишь бы только
другим увидеть хоть половину этого блеска?
О, ваша награда — особого толка!
Что значит в сравнении с нею
урожай удачливого огородника
и стада свинопаса? Что значат
культяпка вместо руки и таинство чуда?
Плещет и льется ручьем
упругое тело звезды, струится
из тигля светлый дух божества...
«Итак, вынесем ему приговор.

Поделим добычу. Без него
нам достанется больше. Еще больше.
Золото, как злоба, никогда не бывает
в избытке. К тому же,
он мог стать во главе мятежа».

Корни родины

Перевод Т. Глушковой

Родина, истерзанная родина, вставшая
у океана, я люблю
твои неизменные формы:
бродячую статую облака пыли,
чашу твоей руки,
упоительно юной, когда прикасается к нам.
И вдруг
с влажного дна,
где крестьяне добывают себе пропитанье,
я достаю
следы босоногих детишек,
след сандалии инки, вмятину от ноги
конкистадора на сере.
Ведь, воскресший, опутанный
бородами растений и временем,
я всего лишь — твой наряд из кожи и слова всего лишь —
оттиск того, кто первым пал за тебя
от монашеского металла пришельцев.
Я выпрашиваю о твоём прошлом у кувшинов,

у гербов, у разрушенных стен — у эха,
эха всего, чем был твой индеец до вторженья креста и коней,
до молчанья;
по я узнаю? тебя в сухих шпагах пи?ты: я ведь слышал,
как дрожит под рукой лесоруба бедро твоего леса;
я вспоминаю имена погребенных вместе с одеждой и утварью —
и мне ясна глубина неторопливых трав.

Когда утро льет свою пену в полдень,
когда в лапах мангрового побережья увязают
лапы пумы, а волна риса катится
по гранитным и глинистым ступеням плантаций,
то на берегу нефти и вечности — в твоём море,
измученном,
вздыбленном кровью стольких племен, затопленными
селеньями, — вот где следует славить тебя,
твой язык, затерянный в древних твоих корнях, славить,
не снимая шляпы, без чопорности.

Как не любить твои горизонты, огороженные
влажными деревьями и океаном; как не любить
исстрадавшийся твой народ, мяту его герба,
шелестящую на ветру; как не вернуться к лохмотьям
твоего побережья, к переплетению каналов,
прозрачных от соли и солнца, — если август
бьет мне в лицо пылью и ветром отчизны — то справа,
то слева, — если я иду, целую ее песчаную
рубаху, целую сквозь дыры...

Примечания

1

Хосе Марти-и-Перес (1853–1895) — национальный герой кубинского народа, революционный демократ, борец с империализмом США, организатор и вдохновитель национально-освободительной войны на Кубе 1895–1898 годов. 14 мая 1895 года пал в бою под Дос Риос.

Поэт, прозаик, журналист, критик и педагог. Литературой занимался в основном в 80-е годы, живя в эмиграции в США. Новатор, искавший новые средства поэтического выражения и во многом предугадавший пути развития латиноамериканской поэзии в XX веке. Его сборник «Исмаэлильо» (1880) положил начало латиноамериканскому модернизму. «Простые стихи» (1890) предварили поэзию «постмодернизма». Последнее издание на русском языке: Х. Марти. Избранное (ИХЛ, 1974).

2

Маленький принц . — Это стихотворение, входящее в сборник «Исмаэлильо», посвящено двухлетнему сыну поэта, которого он называет уменьшительным именем от Исмаэль. По Библии Иегова обещал сделать Исмаэля, незаконнорожденного сына Авраама от рабыни Сарры, родоначальником нового народа.

3

...подушка, // И шпора, и корона... — Поэтика Марти опирается на систему символических образов, в данном случае подразумеваются отдых, воля к борьбе, победа.

4

Pollice verso — пальцем вниз

(лат.). — Жест, которым в древнем Риме зрители обрекали на смерть побежденных гладиаторов.

5

Воспоминания о тюрьме. — Имеется в виду испанская каторжная тюрьма на Кубе, где гаванский школьник Хосе Марти в 1871 г. отбывал наказание за революционную деятельность.

6

...Процессия виновных. — Марти считал рабовладение «первородным грехом» кубинского общества, за который должны расплачиваться новые поколения.

7

...из первого бокала... — бокал, чаша, сосуд символизирует женщину.

8

«Я чувствую: время настало...» — В 1876 году, когда Х. Марти преподавал философию в Гватемале, в него влюбилась юная Мария Гранадос, дочь бывшего президента страны. Поэт питал к девушке только дружеские чувства и вскоре привез из Мексики молодую жену. Мария, страдавшая болезнью легких, простудилась, купаясь в реке, и умерла. Молва истолковала эту смерть как самоубийство.

9

...

Мраморные статуи героев. — Имеются в виду герои национально-освободительной войны кубинского народа 1868–1878 гг.

10

Рубен Дарио (настоящее имя Феликс Рубен Гарсиа-и-Сармиенто, 1867–1916), никарагуанец, крупнейший поэт Латинской Америки, известен также как эссеист и журналист. Признанный вождь и организатор модернистского движения в испаноязычных литературах. Реформатор

латиноамериканской поэзии, внес в нее ряд новых размеров и обновил язык. Замечательный мастер стиха.

Первый поэтический сборник «Послания и поэмы» вышел на родине поэта (1885). Мировую известность ему принесли сборник стихов и прозы «Лазурь» (Чили, 1888) и, в особенности, книга стихов «Языческие псалмы» (Аргентина, 1896), в которых ярчайшим образом проявились основные черты поэтики модернизма. В 90-е годы в Буэнос-Айресе вокруг Дарио собирается кружок талантливых поэтов из разных стран Латинской Америки, его друзей и последователей (Л. Лугонес, Х. Фрейре, Х. Сантос Чокано и др.). С выходом «Песен жизни и надежды» (1905) в творчестве Р. Дарио начался этап антиимпериалистической поэзии, связанной с национальной латиноамериканской тематикой.

Последнее издание на русском языке: Р. Дарио. Лирика. Серия «Сокровища лирической поэзии» (ИХЛ, 1967).

11

Эолия — область античной Греции.

12

бог Термин — бог-охранитель границ

(рим. миф.) , в честь которого ежегодно 22 февраля устраивались пышные пиршества.

13

Джованни Болонский — итальянский скульптор Джованни да Болонья (Жан де Булонь, 1529–1608), прославившийся бронзовой статуей Дианы.

14

Павана — старинный испанский танец.

15

Прялка Омфалы. — Омфала — царица Лидии, которая заставила Геракла прясть у ее ног, прежде чем согласилась выйти за него замуж. Прялка Омфалы символизирует власть

женщины над влюбленным мужчиной

(греч. миф.) .

16

Филомела — поэтическое название соловья, идущее из греческой мифологии.

17

Тирсы и

Хлои — распространенные имена персонажей пастушеских романов и пасторалей XVIII в.

18

Адонис — красивый юноша, превращенный Афродитой в цветок

(греч. миф.).

19

Буше Франсуа (1702–1770) — известный французский живописец, автор картины «Галантные празднества».

20

Надпись Бомарше... — На одной из статуй Люксембургского сада в Париже есть надпись, по преданию, сделанная Бомарше.

21

Клодион — псевдоним французского скульптора Мишеля Клода (1738–1814).

22

Прюдомы и Оме — персонажи, воплощающие мещанскую тупость и ограниченность. Прюдом — карикатурный образ, созданный в 30-е годы XIX в. французским писателем и художником Анри Монье, Оме — герой романа Г. Флобера «Мадам Бовари».

23

Панфило — один из рассказчиков в «Декамероне».

24

Саади — знаменитый ирано-таджикский поэт-лирик XIII в.

25

...я китайнок, как Готье, люблю. — Готье Теофиль — французский поэт (1811–1872), воспевший красоту китайнок в стихотворении «Китайское».

26

Ли Тайбо — китайский поэт VIII в., мастер любовной лирики.

27

Ямагата Аристомо (1838–1927) — японский реакционный политический и военный деятель. Реформировал японскую армию.

28

...той, что воспел иерусалимский царь... — Речь идет о «Песни песней» царя Соломона.

29

Царица Савская — правительница древней Аравии, посетившая царя Соломона в Иерусалиме, привлеченная славой о его мудрости.

30

Голконда — древнее государство в Индии, в столице которого, по легендам, хранились несметные сокровища.

31

Ормуз — остров в Персидском заливе, богатый жемчугом.

32

Сегидилья — испанский народный танец.

33

Руэда Сальвадор (1857–1933) — испанский художник, яркий колорист.

34

Пинд — горный хребет в западной Греции, одна из вершин которого принадлежала Аполлону и музам.

35

Рузвельт Теодор — президент США (1901–1909), вдохновитель агрессивной политики «большой дубинки» в отношении Латинской Америки. В годы его президентства США захватили зону Панамского канала и оккупировали Никарагуа.

36

Зверолов — Т. Рузвельт, выдавая себя за «сильного человека», всячески рекламировал свои охотничьи «подвиги».

37

Грант Улисс (1822–1895) — президент США, главнокомандующий войсками северян в Гражданской войне 1861–1865 гг.

38

Нетцауалькойотль — поэт, глава государства атцегов в XV в.; законодатель и покровитель искусств и наук.

39

...Атлантиду , //

это имя донес нам... Платон... — Первые упоминания об Атлантиде содержались в «Диалогах» древнегреческого философа Платона.

40

Инка — верховный правитель государства Инков завоеванного в XVI в. испанскими конкистадорами.

Моктесума — глава государства ацтеков с 1440 по 1469 г. Значительно расширил пределы государства, построил акведук Чапультапек.

41

Гватемок (Куаутемок) — вождь инков, которого испанские завоеватели пытали, положив на раскаленные угли. В ответ на жалобы одного из пытаемых индейцев он сказал: «И я лежу не на розах».

42

...пусть Диоскуров славу... — Диоскурами («сыновьями Зевса») звали близнецов Кастора и Полидевка, рожденных Ледой от Зевса

(греч. миф.).

43

Хуан Рамон Хименес (1881–1958) — известный испанский поэт-лирик.

44

Гарсиласо де ла Вега (1501–1536) — классик испанской поэзии

45

Кеведо-и-Вильегас Франсиско (1580–1645) — знаменитый испанский поэт и писатель-сатирик, одно время был близок ко двору короля Филиппа IV, находившемуся в Аранхуэсе.

46

Альфонсо и

Нуньесы — Альфонсо — имя нескольких испанских королей. Нуньес — вероятно, Васко Нуньес де Бальбоа — испанский конкистадор, первым достигший берега Тихого океана (1513).

47

Антонио Мачадо (1875–1939) — испанский поэт. Р. Дарио познакомился с ним в Париже в 1902 г. и затем поддерживал дружеские отношения.

48

Я люблю, ты любишь

(лат.).

49

Вечерняя звезда

(лат.).

50

Маргарита Дебайль — дочь аргентинского врача Дебайля, друга Р. Дарио.

51

Офир — легендарная страна Древнего Востока, богатая золотом.

52

Леопольдо Лугонес (1874–1938) — видный поэт, прозаик, ученый. Зрелый период его творчества отличается приверженностью к национальной тематике и фольклорным интонациям. В эти годы он создал свои лучшие реалистические книги: «Оды веку» (1910), «Книга пейзажей» (1917) и «Родовые стихи» (1928). Лугонес представлял свою страну в Комиссии Лиги наций по интеллектуальному сотрудничеству и исполнял обязанности президента Национального совета по образованию.

53

Антифоны — отрывки из Священного писания, которые читаются во время богослужения.

54

Эваристо Карриего (1883–1912) — прогрессивный поэт постмодернистской школы, автор многочисленных стихотворений, посвященных жизни трудового Буэнос-Айреса. Основные книги: «Еретические мессы» (1908), «Песня моего квартала» (1911), «Душа предместья» (1913). На русском языке печатается впервые.

55

Бальдомеро Фернандес Морено (1886–1950) — поэт-постмодернист. Как и другие представители этого течения, Морено стремился к реалистическому изображению будничной жизни. Он стал основателем литературной школы «сенсильизма», которую также отличает тяга к простоте и безыскусности, явившаяся реакцией на экзотическую поэзию модернизма. Автор почти двух десятков поэтических сборников, среди которых — «Стихи о негрityнчке» (1920), «Сонеты» (1929), «Множество» (1949) и др.

56

Пампа — южноамериканская степь.

57

Пульперия — мелочная лавка и кабачок.

58

Альфонсина Сторни (1892–1938) — известная поэтесса, запечатлевшая в стихах горькую повесть своей неудавшейся судьбы, судьбы человека, раздавленного холодным равнодушием капиталистического общества. Основные поэтические сборники: «Сладкая боль» (1918), «Непоправимое» (1919), «Охра» (1925).

59

Педро Мигель Облигадо (1892–1967) — поэт и журналист, ученый. Был редактором газеты «Ла Насьон», президентом Аргентинской ассоциации лингвистов и действительным членом Аргентинской литературной академии. Лауреат Национальной премии по литературе. В своих книгах — «Остров песен» (1931), «Меланхолия» (1943) — Облигадо стремится с помощью сложной поэтической символики выразить неуловимые состояния души. Его поэзия, большей

частью традиционная по своей форме, проникнута настроениями мягкой грусти и неизбывной ностальгии.

60

Эзекиель Мартинес Эстрада (1895–1970) — поэт и прозаик, известный виртуозным искусством словотворчества и меткой афористичностью. Широко использует аргументы и диалектизмы. Основные книги: «Золото и камень» (1918), «Аргентина» (1927), «Юмореска» (1929). Лауреат национальной премии по литературе и премии «Каса де лас Америкас». На русском языке печатается впервые.

61

Рикардо Молинари (р. 1898) — поэт-лирик, тонко владеющий пластикой поэтического образа. Автор сборников «Рыба и яблоко» (1929), «Харчевня розы и гвоздики» (1933), «Дни, когда вечер становится птицей» (1955). На русском языке его стихи публикуются впервые.

62

Хорхе Луис Борхес (р. 1899) — поэт и рассказчик. Утонченный стилист. Глава аргентинских ультраистов, считавших метафору самодовлеющей художественной ценностью и проповедовавших поэтику верлибра. Основатель литературной группы «Флорида». Главные книги: «Жар Буэнос-Айреса» (1923), «Луна напротив» (1925), «Стихотворения» (1943). На русском языке печатается впервые.

63

Рауль Гонсалес Туньон (1905–1974) — поэт-коммунист, начинавший свою литературную деятельность в рядах ультраистов, а позднее пришедший к поэзии борьбы и протеста. Лучшие его стихи собраны в двухтомнике «Луна с курком» (1957). На русском языке опубликована его антология «Розы в броне» (1962).

64

Фрегат в стекле бутылочном... — Имеется в виду игрушечный кораблик, собранный внутри пустой бутылки; сувениры подобного рода, часто кустарного производства, широко распространены в портовых городах Латинской Америки.

65

Трастьенда — помещение позади лавки.

66

Пятый полк. — Имеется в виду прославившийся во время Гражданской войны в Испании «Пятый полк народной милиции» — крупное воинское соединение, созданное коммунистами в августе 1936 г.; впоследствии оно послужило основой регулярной армии республиканцев.

67

На смерть Федерико Гарсиа Лорки . — Крупнейший испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936) был расстрелян фашистами в самом начале национально-революционной войны.

68

Наваха — испанский складной нож.

69

Элегия на смерть Мигеля Эрнандеса. — Выдающийся испанский поэт Мигель Эрнандес (1910–1942), замученный фашистами, умер в тюремном лазарете.

70

Альфредо Варела (р. 1914) — писатель-коммунист, член ЦК Коммунистической партии Аргентины, секретарь Всемирного Совета Мира, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Самое известное произведение — роман «Темная река» (1943). И проза и стихи А. Варелы неоднократно публиковались в Советском Союзе.

71

Нестор Гроппа (р. 1928) — поэт, автор сборников «Цех вывесок» (1928), «Роман наборщика» (1954), «Рабочее время» (1966). Хорошо усвоив достижения современной техники стиха, он в то же время большое внимание уделяет разработке традиционных и фольклорных поэтических мотивов. Многие стихи Н. Гроппы носят социально-обличительный характер.

72

Армандо Техада Гомес (р. 1932) — прогрессивный аргентинский поэт. Его стихи и песни, демократичные по содержанию и форме, пользуются широкой популярностью среди рабочих, студентов, крестьян. Автор девяти поэтических книг. Последняя из них, «Пророк в своем отечестве» (1973), вобрала в себя лучшие стихи разных лет. Лауреат Национальной премии по литературе и премии «Каса де лас Америкас».

73

Рикардо Хаймес Фрейре (1868–1933) — один из виднейших латиноамериканских модернистов. Стиховед («Законы испанского стихосложения», 1912). В своей первой книге стихов «Варварская Касталия» (1897) использует мотивы скандинавской мифологии, вторая книга стихов «Сны — это жизнь» в основном посвящена философско-религиозной лирике. В стихотворении «Россия» приветствовал русскую революцию 1905 года. Один из первых пропагандистов верлибра. Переводится впервые.

74

Франц Тамайо (1880–1956) — поэт-модернист, сочетал в стихах античную и индейскую тематику (отсюда прозвище «античный индеец»). Сборники: «Прометеида» (1917), «Скерцо» (1932) и др. Переводится впервые.

75

Адела Самудьо (1854–1928) — поэтесса и романистка. По профессии учительница. В стихах боролась за женское равноправие, разоблачала мещанскую ханжескую мораль. Сборники: «Интимное» (1913), «В пути» (1943). Переводится впервые.

76

Эктор Борда (год рождения неизвестен) — один из виднейших социальных поэтов Боливии. Особенно популярен его цикл стихов «Шахтеры», посвященный каторжному труду индейцев-горняков. Переводится впервые.

77

Гильермо Вискаarra Фабре (р. 1901) — поэт-авангардист. Певец боливийских пейзажей. На его творчестве отразилось влияние Р.-М. Рильке. Сборники: «Создание зари» (1949) и др.

78

Викунья — разновидность ламы.

79

Оскар Серруто (р. 1912) — один из наиболее известных поэтов Боливии, журналист, дипломат. Стихи отличаются яркой метафоричностью. Сборники: «Число роз и семь песен» (1954) и др. Переводится впервые.

80

Киркинчо — пушной зверек, обитающий в Андах.

81

Аймарэ — индейская народность, обитающая на территории Боливии и Перу, в районе озера Титикака.

82

Пуна — андское плоскогорье.

83

...а моря нет... — Боливия потеряла выход к тихоокеанскому побережью в результате так называемой Тихоокеанской войны с Чили (1879–1883).

84

Иоланда Бедрегаль (р. 1916) — поэтесса, эссеист, занимается фольклором. Виднейшая представительница современной поэзии Боливии. Тяготеет к философской тематике.

85

Оскар Альфаро (1921–1963) — социальный поэт, романист. Один из наиболее известных детских писателей Латинской Америки.

86

Кечуа — язык индейцев Боливии, Перу, Эквадора.

87

Олаво Билак — родился в 1865 году в Рио-де-Жанейро. Изучал медицину в университете Рио-де-Жанейро, занимался на юридическом факультете университета Сан-Пауло. Блестящий оратор и журналист, принимал деятельное участие в аболиционистском и республиканском движениях, сотрудничал в многочисленных газетах и журналах. В качестве школьного инспектора уделял много времени и сил ликвидации неграмотности в стране. Был одним из основателей Бразильской академии словесности. После опубликования сборника «Стихи» (1888) Олаво Билак стал признанным главой отечественной парнасской школы, возникшей под влиянием французской поэзии. Умер 28 декабря 1918 года. Прозаические сочинения его собраны в книге «Хроники и новеллы» (Рио-де-Жанейро, 1894). Посмертно издан сборник стихотворений «Вечер» (1919). Поэзия Олаво Билака отличается пластичностью и совершенством формы, своеобразием образной системы.

Сонет «Слушать звезды» взят из книги Артуро Торреса Риосеки «Большая латиноамериканская литература» («Прогресс», 1972).

88

Мануэл Бандейра — родился в 1886 году в Ресифе, штат Пернамбуко. Получил образование в колледже Педро II, Рио-де-Жанейро, и в Политехнической школе Сан-Пауло. Преподавал латиноамериканскую литературу на Национальном факультете университета в Сан-Пауло, с 1940 года — член Бразильской академии словесности. В 1946 году Мануэлу Бандейре была присуждена Большая национальная премия литературы. М. Бандейра — автор многочисленных сборников стихов, исследований и литературной критики, мемуаров («Путь в Пазаргаду», 1954), составитель антологий бразильской поэзии — критического исследования и антологии «Панорама бразильской поэзии» (1957), «Антологии бразильских поэтов-романтиков» (1937), «Антологии бразильских поэтов-парнасцев» (1938), и др. Умер в 1968 году.

Поэзия Мануэла Бандейры характеризуется широтой охвата действительности и многогранностью — от увлечения поэтикой парнасцев до конкретистских опытов, от сонета до самых современных форм художественного выражения. Именно Мануэлу Бандейре обязана бразильская поэзия введением свободного стиха, хотя в то же время он пытался разрабатывать применительно к новой тематике и традиционную метрику. Принадлежа к поколению символистов и постпарнасцев, М. Бандейра отказался от академической торжественности стиля, обратившись к повседневной реальности. Бразильские критики называют его «крестным отцом модернизма», хотя впоследствии дороги его с отечественным модернизмом разошлись.

Все стихи Мануэла Бандейры переведены впервые. Они опубликованы в «Поэтической антологии» Мануэла Бандейры (Рио-де-Жанейро, 1961).

89

Освалд де Андраде — родился в 1890 году в Сан-Пауло. В 1919 году окончил юридической факультет университета в Сан-Пауло, с 1945 года преподавал в этом университете бразильскую литературу. Освалд де Андраде активно занимался журналистикой, основал ряд газет и журналов сатирической, антиправительственной направленности. Он содействовал подготовке и проведению в 1922 году «Недели современного искусства» в Сан-Пауло, ознаменовавшей рождение модернизма, и явился одним из инициаторов движения авангардистов. Стремясь создать новую, национальную поэзию, О. де Андраде обратился к истории страны, представив ее в несколько идеализированном виде («Паубразил», 1925). Умер в 1954 году.

Поэт, романист, журналист-сатирик, Освалд де Андраде ратовал за обновление художественных методов, за свободное использование в литературе бразильской разновидности португальского языка, близкого к разговорной речи и не стесненного канонами и ограничениями. В поисках новых средств художественной выразительности он нередко прибегал к формалистическим экспериментам, однако со временем тема окружающей конкретной действительности все явственнее звучит в его творчестве и интерес к социальной проблематике усиливается.

Оба стихотворения Освалда де Андраде, переведенные впервые, взяты из сборника Марио да Силвы Брито «Поэзия модернизма» (Рио-де-Жанейро, 1968).

90

Раул Бопп — родился в 1898 году в Санта-Мария, штат Рио-Гранде-до-Сул. Поэт, дипломат и путешественник, Раул Бопп был бразильским послом в Австрии и Боливии. Он принимал активное участие в движении модернизма начального периода, войдя в группы авангардистов «Зелено-желтые» и «Антропофаги». В 1928 году основывает вместе с Освалдом де Андраде «Журнал антропофагов» близкой сюрреалистам тенденции. В поисках нового стиля обращается к фольклору и издает в 1931 году сборник стихов «Кобра Норато», «самую бразильскую из всех написанных бразильцами книг», по словам К. Друммонда де Андраде.

Творчество Р. Боппа привлекает эмоциональной насыщенностью и лиризмом образов, безыскусственной простотой интонации, народностью.

Стихотворение «Негр» взято из сборника Рауля Бонна «Путирум» (Рио-де-Жанейро, 1968).

91

Марио де Андраде — родился в 1893 году в Сан-Пауло. Окончил Драматическую и музыкальную консерваторию, где впоследствии преподавал историю музыки. Давал уроки игры на фортепьяно, сотрудничал в газетах, позднее стал государственным служащим. Играл важную роль в подготовке «Недели современного искусства» в Сан-Пауло и с тех пор, после выхода в свет сборника стихов «Паулисейа, сбившаяся с пути» (1922), сделался идейным и эстетическим вождем бразильских модернистов. С 1936 года руководил департаментом культуры в префектуре Сан-Пауло, с 1938 по 1940 годы был преподавателем эстетики в университете Рио-де-Жанейро. Умер в 1945 году.

Все творчество и общественная деятельность Марио де Андраде пронизывают чувство гражданственности, мысль об ответственности писателя перед обществом. М. де Андраде — экспериментатор в области поэтической формы и языка, который он стремился приблизить к разговорному, несколько злоупотребляя порой диалектизмами и просторечьем.

Марио де Андраде автор поэтических сборников, романов «Любить, непереходный глагол» (1927), «Макунаима» (1928), хроник и очерков по фольклору и истории бразильской музыки.

Все стихотворения Марио де Андраде переведены впервые, они опубликованы в сборнике Марио де Андраде «Стихи» (Рио-де-Жанейро, 1961).

92

Луис Карлос Престес (род. 3 января 1898 г.) — видный деятель бразильского и международного рабочего движения, генеральный секретарь Коммунистической партии Бразилии.

93

Роналд де Карвальо — родился в 1893 году в Сан-Пауло. Поэт, очеркист, литературный критик. Опубликованные в 1922 году «иронические и сентиментальные эпиграммы»

свидетельствуют об увлечении чисто формальными экспериментами, что сближает поэта с модернистами начального периода. Лучшая книга Роналда де Карвальо — «Вся Бразилия» (1926), воспевающая родину, ее народ, величие и красоту пейзажа, напоминает по стилистическим особенностям и манере изложения У. Уитмена; эта книга стала программной в поэзии авангарда. Роналд де Карвальо был связан с европейским литературным движением, непосредственное влияние на него оказала идейно-эстетическая платформа «Орфея», первой модернистской группы в Португалии. Умер в 1935 году.

Стихотворение Роналда де Карвальо «Бразилия» взято из антологии Мануэла Бандейры «Панорама бразильской поэзии» (Рио-де-Жанейро, 1957).

94

Касиано Рикардо — родился в 1895 году в Сан-Пауло. Классический представитель начального этапа модернизма — участник группы «Зелено-желтых». Занимался политической деятельностью и журналистикой, культивируя жанр критико-социологического очерка. Состоял членом Бразильской академии словесности. Умер в январе 1974 года.

Наряду с изысканной отделкой и совершенством формы, поэзия Касиано Рикардо привлекает своим гуманизмом, умением затронуть наиболее серьезные проблемы бразильской действительности. Особое значение имеют опубликованные в 50—60-х годах сборники стихов: «Потерянное лицо» (1950), «25 сонетов» (1952), «Мой путь до вчерашнего дня» (1955), «Стеклянный паук» (1956), «Американская горка» (1960), «Трудное утро» (1961).

Стихотворение «Дама, пьющая кофе» впервые опубликовано на русском языке в журнале «Иностранная литература», 1963, № 10.

95

Жоржи де Лима — родился в 1895 году в Униао, штат Алагоас. Получил медицинское образование в Рио-де-Жанейро. Был депутатом от штата Алагоас. В 1930 году окончательно переселился в Рио-де-Жанейро, где преподавал в университете литературу. Умер в Рио-де-Жанейро в 1953 году.

С появлением сборника стихов «Эта черная Фул?» (1928), напоенных образами и ритмами народной поэзии, Жоржи де Лима стал считаться представителем поэзии бразильского северо-востока. Жоржи де Лима не был непосредственным участником движения модернистов, его эстетическая программа несколько эклектична, она включает элементы самых различных направлений: поздней парнасской школы, регионализма, религиозной поэзии негров. Большое влияние на развитие бразильской поэзии оказал поэтический сборник Жоржи де Лимы «Открытие Орфея» (1952). Писатель много сделал для изучения и распространения отечественного фольклора. Он был не только поэтом, но и романистом сюрреалистического направления.

Стихотворение «Эта черная Фул?» взято из сборника Жоржи де Лимы «Поэтические произведения» (Рио-де-Жанейро, 1950).

Рибейро Коуто — родился в 1898 году в Сан-Пауло. Изучал право в университетах Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро, получив в 1919 году ученую степень. С 1932 года пятнадцать лет занимает пост бразильского посла в Югославии. В 1946 году как член бразильской делегации принимает участие в Конгрессе в защиту мира. Через два года ему присуждают в Париже премию за поэзию, а в 1956 году в Сиене премию как лучшему латиноамериканскому писателю. Умер в 1963 году в Париже.

Рибейро Коуто — поэт и прозаик, автор романа «Кабокла» (1931). В начале творческого пути он был близок к бразильскому символизму, но после опубликования книги «Сад признаний» (1921) превратился в одного из вдохновителей модернизма в Сан-Пауло, пропагандируя идеи приверженцев «Недели современного искусства». С модернизмом Рибейро Коуто связывает обращение к верлибру (начиная со сборника «Человек в толпе», 1926). Отличительные черты его поэзии — любовь к повседневному, сочетание лиризма и тонкой иронии, кажущаяся простота и гармоничность формы.

Сесилия Мейрелес — родилась в 1901 году в Рио-де-Жанейро. Окончила в 1917 году Институт образования. Занималась преподавательской и литературной деятельностью и журналистикой. Читала на родине, в университете Рио-де-Жанейро, и за рубежом курсы португальской и бразильской литературы и литературной критики. Сотрудничала в Национальной комиссии по фольклору. Сесилия Мейрелес откликнулась на движение модернистов, опубликовав в 1938 году книгу «Путешествие», хотя и не присоединилась окончательно к авангардистам, порвавшим с художественными традициями прошлого. Лауреат Бразильской академии словесности (1948). Умерла в 1964 году.

Творчеству С. Мейрелес свойственны универсализм и космический характер тем — океан, воздушное пространство, мировая тоска. В грустных проникнутых смутным ощущением тревоги стихах поэтесса воспеваает мечты о несбыточном, о недостижимой красоте, об утраченной любви. Смягченные полутона, нежные, словно размытые краски напоминают поздних символистов бразильской поэзии.

Стихотворение «В деревне осенью» напечатано в журнале «Иностранная литература», 1963, № 10.

Карлос Друммонд де Андраде — родился в 1902 году в Итабире, штат Минас-Жерайс. Окончил курс фармакологии, однако посвятил себя журналистике и общественной деятельности. Принимал участие в модернистской группе штата Минас-Жерайс. Впоследствии переселился в Рио-де-Жанейро. Дарование Друммонда де Андраде раскрылось уже в первой книге «Некоторые стихи» (1930). Большое влияние на молодое поколение бразильских поэтов оказала его «Роза народа» (1945). Поэзия Друммонда де Андраде, проникнутая пессимизмом, иногда превращающимся в иронию, отличается тонким

интроспективным анализом внутреннего мира и в то же время многообразием тем и мотивов, отражающих повседневную реальность во всей ее трагической противоречивости и общество социального угнетения, лишённого гуманизма. Формальное совершенство, постоянные поиски новых средств художественной выразительности, богатство и точность языка — характерные особенности творчества Друммонда де Андраде.

Стихи его, публикуемые впервые, взяты из «Поэтической антологии» Карлоса Друммонда де Андраде (Рио-де-Жанейро, 1963).

99

Аугусто Фредерико Шмидт — родился в 1906 году в Рио-де-Жанейро. Получил начальное образование в Швейцарии, среднее — в Бразилии. Работал в области торговли и финансов. В 30-х годах основал в Рио-де-Жанейро издательство, опубликовавшее первые книги многих выдающихся писателей Бразилии (в том числе Грасилиано Рамоса). Умер в 1965 году.

А.-Ф. Шмидт — представитель второго периода бразильского модернизма. В ранних произведениях он использует поэзию как оружие борьбы против сторонников декадентствующей парнасской школы («Песнь бразильца Аугусто Фредерико Шмидта»). В более зрелой поэзии тяготеет к романтической традиции, воспевая в мелодическом верлибре, с частыми повторами и параллелизмами, трагическое одиночество, тоску и смерть, избавляющую от земных страданий.

А.-Ф. Шмидт — автор многочисленных сборников стихов. Его воспоминания «Белый петух» высоко оцениваются отечественной критикой.

Стихотворение «Удел», переведенное впервые, взято из антологии М. Бандейры «Панорама бразильской поэзии» (Рио-де-Жанейро, 1957).

100

Винисиус де Мораис — родился в 1913 году в Рио-де-Жанейро. Получил образование в Бразилии (юридический факультет университета в Рио-де-Жанейро), потом учился в Англии (Оксфорд). Поступил на дипломатическую службу, жил в США, Франции и Уругвае. Со студенческих лет увлекался искусством кино, был кинокритиком и цензором. Винисиус де Мораис — автор лирико-философской драмы «Орфей», обошедшей многие театры мира. В поэтическом творчестве В. де Мораиса отчетливо выделяются два этапа: вначале, под влиянием французской католической поэзии и стихов А.-Ф. Шмидта, преобладает тенденция к мистицизму, но потом, когда начинает проявляться его художественная индивидуальность, обнаруживается склонность поэта к социальной проблематике, к проникновенному лиризму, к более свободному использованию разнообразных поэтических форм и лексики, порой самой обыденной.

Основные поэтические произведения Винисиуса де Мораиса: «Новые стихи» (1938), «Пять элегий» (1943), «Стихи — сонеты и баллады» (1946), «Моя родина» (1949), «Книга сонетов» (1957), «Новые стихи II» (1959), «Чтобы жить большой любовью» (1962).

Стихотворение «От родины вдали» опубликовано в журнале «Иностранная литература», 1963, № 10, стихотворение «Женщине, которая проходит мимо», напечатанное впервые,

взято из книги Винисиуса де Мораиса «Поэтическая антология» (Рио-де-Жанейро, 1954).

101

Жоан Кабрал де Мело Нето — родился в 1920 году в Ресифе, штат Пернамбуко. Получил образование в Ресифе. Став дипломатом, в 1947 году едет в Испанию (Барселона), где публикует два сборника своих стихов — «Психология сочинительства» (1947) и «Собака без перьев» (1950), позднее находится на дипломатической службе в Швейцарии.

Кабрал де Мело Нето — наиболее колоритная фигура так называемого «поколения 1945 года». Он противник «чистого искусства» для избранных, в центре его стихотворений — народ и суровая природа северо-востока Бразилии. Весь поэтический материал Кабрал де Мело Нето подвергает тщательному отбору, отказываясь от случайных эффектов и «озарений» подсознательного. Высшая красота для него — в соразмерности и геометрической четкости построений, в изысканной строгости языка.

Поэзия Кабрала де Мело Нето оказывает большое влияние на литературную молодежь не только Бразилии, но и других стран мира.

Все стихотворения переведены впервые, они взяты из «Поэтической антологии» Кабрала де Мело Нето (Рио-де-Жанейро, 1969).

102

Эмилио Каррера Герра (годы жизни не установлены). Стихотворение «Ноктюрн Копакабаны» публикуется впервые.

103

Жеир Кампос — родился в 1924 году в Сан-Жозе-до-Калсадо, штат Эспирито-Санто. За двадцать лет литературной деятельности Жеир Кампос сумел стать видной фигурой среди бразильских неомодернистов. Стремясь создать новую идейно-эстетическую платформу, он выступает против нарочитой усложненности художественной формы, постоянно подчеркивает активную, созидательную роль поэта, преобразователя общества, необходимость его вмешательства в жизнь. Перу Ж. Кампоса принадлежат сборники стихов: «Роза дорог» (1950), «Архипелаг» (1952), «Венок сонетов» (1953), «О профессии поэта» (1956), «Ясная песнь» (1957), «Рабочий из песни» (1958), «Песни пробуждения женщины» (1964), «Песнь человеку из ООН» (1968), «Метанавтика» (1970).

Стихотворение «О профессии поэта» опубликовано в сборнике «Слушайте!» Стихи молодых поэтов Латинской Америки (М., 1961).

104

Тьяго де Мелло — родился в 1926 году, в Манаусе, штат Амазония. С 1959 по 1964 годы занимал должность атташе по вопросам культуры в Боливии и затем в Чили. Тьяго де Мелло — характерный представитель бразильского «поколения 1945 года». Творчество его с отчетливо выраженной социальной проблематикой насыщено чувством времени, ответственности художника перед обществом. Он пишет преимущественно свободным стихом, обогащая его различными ритмическими конструкциями. Тьяго де Мелло призывает к «рассвету» общечеловеческого братства. В 1963 году его стихи были переведены Пабло Нерудой на испанский язык.

Основные поэтические сборники Тьяго де Мелло — «Молчание и слово» (1951), «Слепой Нарцисс» (1952), «Легенда о розе» (1957), «Утро крестьянина» (1962), «Темно, но я пою» (1966).

«Стихи о безлюдной площади», переведенные впервые, опубликованы в «Поэтической антологии. Темно, но я пою. Песнь вооруженной любви» Тьяго де Мелло (Рио-де-Жанейро, 1966).

105

Солано Триндаде — родился в 1920 году, дата смерти неизвестна. Поэт и театровед, создатель экспериментального негритянского театра в Бразилии. Опубликовал в 1944 году «Стихи о простой жизни», повествующие о страданиях негритянского населения фавелл в Рио-де-Жанейро, о всех презираемых и обездоленных людях негроидной расы. Солано Триндаде был также организатором ансамбля бразильского танца и неоднократно выезжал с этим ансамблем в Европу, Азию и Северную Америку, пропагандируя искусство негров Бразилии. Ему принадлежат две театральные пьесы «Ошумарэ» и «Черный ангел» (последняя — в соавторстве с Нелсоном Родригесом).

Стихотворения Солано Триндаде «Предостережение», «Есть у моря жена», «Цветной галстук», переведенные впервые, взяты из сборника «Песни моего народа» (Сан-Пауло, 1961).

106

Фернандо Пас Кастильо (р. 1895) — принадлежит к так называемому «поколению 18-го года». Поэт-лирик, поэзия окрашена в меланхолические тона. Сборники: «Голос четырех ветров», «Знаки». Переводится впервые.

107

Андрес Элой Бланко (1897–1955) — по профессии адвокат. Народный поэт Венесуэлы, виднейший представитель «поколения 18-го года». Политический деятель. Принимал активное участие в борьбе с диктатурой Гомеса, несколько лет провел в тюрьме, где им был

написан сборник стихов «Каменный корабль» (1937). В период прогрессивного правительства Р. Гальегоса (1938–1948 гг.) председатель Конституционной ассамблеи, министр иностранных дел. После прихода к власти новой диктатуры политический эмигрант.

Поэзии А.-Э. Бланко свойственна многожанровость, патриотичность, демократизм, широкое использование фольклорных мотивов. Сборники: «Время стрижки деревьев» (1928), «Хиралуна» и «Хуанбимбада» (вышли посмертно в 1954 и 1966 гг.). На русском языке издан сборник «Зеркало в черной раме» (ИХЛ, 1974).

108

Барловенто — группа Малых Антильских островов.

109

Фалькон — северо-восточный штат Венесуэлы.

110

Антонио Арраис (1903–1969) — прозаик, поэт, фольклорист. Участвовал в борьбе с диктатурой Гомеса, прошел через тюрьму и ссылку. Открывает в венесуэльской поэзии авангардистское «поколение 28-го года». Зачинатель индейской тематики (сборник «Резко», 1924). Стихи Арраиса переводятся впервые.

111

Мигель Отеро Сильва (р. 1908) — романист, поэт. Участник студенческого движения, в 1930–1941 годы политический эмигрант. В поэзии разрабатывает национальные темы. Сборник «Вода и русло».

112

Хабильо — дерево тропических лесов.

113

Хуан Лискано (р. 1915) — один из ведущих поэтов так называемого «поколения 42-го года». Наряду с философской и любовной лирикой, обращается и к национальным проблемам. Переводится впервые.

114

Луис Пастори (р. 1921) — социальный и лирический поэт. Один из инициаторов характерного для венесуэльской поэзии 50-х годов возвращения к традиционным формам стиха. Переводится впервые.

115

Ида Грамко (р. 1925) — поэтесса, прозаик, драматург. Одна из виднейших представительниц поэзии Венесуэлы. В ее творчестве преобладает философская и любовная лирика. Переводится впервые.

116

Педро Лайа (р. 1912) — поэт-демократ, участник борьбы за мир, автор поэмы «Послание мира» (1955).

117

Каньяу — родовое имя индейских племен гуахирос, обитающих на северо-востоке Венесуэлы.

118

Жак Румен (1907–1944) — выдающийся общественный деятель Гаити, романист, поэт, публицист, этнограф. Играл руководящую роль в антиимпериалистическом движении конца 20-х — начала 30-х годов. Один из основателей компартии Гаити. Автор романов «Зачарованная гора» (1931), «Марионетки» (1931), «Хозяева росы» (1944), сборника стихов «Черное дерево» (посмертно, 1945), «Избранное» (М., 1964, на франц. яз.). На русском языке «Черное дерево» и стихи в сб. «Время пламенеющих деревьев» (1961), «Хозяева росы» (журнал «Иностранная литература», 1965, № 1).

119

Жан Бриер (р. 1909) — поэт, драматург, романист, крупный прогрессивный общественный деятель. Автор ряда драм в стихах: «В сердце цитадели» (1930), «Знамя грядущего» (1931), «Прощание с Марсельезой» (1955) и др., романа «Горизонты без неба» (1954) и др. Как поэт Бриер выступил с поэмами «Black soul» (1947), «Истоки» (1956), «Ночь» (1957) и др. Неоднократно приезжал в СССР, посвятил советским людям ряд стихотворений; ленинская тема проходит через многие поэтические произведения Бриера. В настоящее время живет в Сенегале. На русском языке «Black soul» в сб. «Время пламенеющих деревьев» (1961).

120

Рене Депестр (р. 1926) — известный революционный поэт. Первые сборники стихов — «Искры» (1945) и «Сноп крови» (1946) — связаны с демократическим подъемом в Гаити, в котором Депестр играл активную роль. В 1946–1957 годы поэт учился в Сорбонне и жил в Париже как политический эмигрант. Автор сборников публицистической поэзии «Ростки света» (1950), «С открытого моря» (1952) и «Черная руда» (1956), «Дневник морского животного» (1964), а также сб. рассказов «Аллилуйя женщине» (1973) и др. Последние годы живет на Кубе. На русском языке «Черная руда» в переводе П. Антокольского (М., 1961); стихи в сб. «Время пламенеющих деревьев» (1961) и «Взорванное молчание» (1968).

121

Антони Фелпс (р. 1928) — известный гаитянский литератор. Учился в США и Канаде. На Гаити изданы его сборники стихов «Присутствие» (1949, второе изд. 1961), «Лето» (1960), «Сиянье тишины» (1962). Был участником группы «Литературный Гаити» и сотрудником журнала молодых прогрессивных литераторов «Сеятель». После нескольких месяцев тюрьмы Фелпс в 1964 году эмигрировал в Канаду; живет в Монреале. В 60-е годы им написаны поэмы «Паутина вечера», «Камни и мох», «Поэма горы», «Ты, страна моя» в сб. «Ты, страна моя» (1968), а также «Четыре страны света» (1967).

В 1973 году Фелпс издал в Париже роман «Минус бесконечность» о революционной борьбе на Гаити в начале 60-х годов. На русском языке поэмы и стихи в сб. «Взорванное молчание» (1968).

122

Мигель Анхель Астуриас (1899–1974) — выдающийся латиноамериканский писатель, крупнейший романист и поэт Гватемалы, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1966) и Нобелевской премии (1967). Реалистическое творчество Астуриаса прочно вошло в золотой фонд мировой литературы XX века. Наряду с широко известными романами — «Сеньор Президент» (1946), «Зеленый Папа» (1954), «Глаза погребенных» (1960) и др. — перу М.-А. Астуриаса принадлежат великолепные поэтические книги: «Жаворонок» (1948) и «Поэтические упражнения» (1950). Стихи Астуриаса на русском языке печатаются впервые.

123

Сесар Браньяс (р. 1900) — поэт, романист, эссеист. Его книга «Слепой мальчик» (1962) была удостоена литературной премии «Золотой кетсаль».

124

Луис Кардоса-и-Арагон (р. 1904) — поэт авангардистской школы, искусствовед, публицист, общественный деятель, участник движения сторонников мира. Автор сборников «Луна-Парк» (1923), «Стихи» (1948) и др.

125

Отто Рене Кастильо (1936–1967) — поэт-революционер, погибший в борьбе с диктатурой. Автор сборника «Родина, отправимся в путь» (1965). В 1971 году на Кубе издана книга его избранных стихов.

126

Рафаэль Элиодоро Валье (1891–1959) — поэт, прозаик, журналист, историк. Занимался дипломатической деятельностью. Автор книг «Как солнечный день» (1913), «Аромат родной земли» (1914), «Жажущая амфора» (1922). Стихи на русском языке печатаются впервые.

127

Клаудиа Баррера (р. 1911) — поэтесса; автор сборников «Вечный вопрос» и «Образ в памяти». Стихи на русском языке печатаются впервые.

128

Помпейо дель Валье (р. 1930) — видный представитель молодой поэзии Гондураса, мастер социальной лирики.

Мануэль дель Кабраль (р. 1907) — крупный поэт, прозаик, дипломат. Один из зачинателей демократической негритянской темы («негризма») в антильской поэзии. Автор книг «Цвет воды» (1932), «Биография тишины» (1940), «Черные тропики» (1942), «История моего голоса» (1964).

Дон Рамон — имеется в виду выдающийся испанский поэт Хуан Рамон Хименес (1881–1958).

Антонио Фернандес Спенсер (р. 1923) — видный поэт-лирик, автор стихотворных сборников «Шквал изнутри» и «При солнечном свете» (1952). На русском языке печатается впервые.

Педро Мир (р. 1913) — известный поэт и историк. Его поэзия проникнута духом непримиримой борьбы за лучшую долю латиноамериканских народов. Автор книг: «Есть в мире страна» (1949), «Песнь о благой любви» (1968), «Путь к толпе» (1971).

Хосе Асунсьон Сильва (1865–1896) — крупнейшая фигура раннего латиноамериканского модернизма. Трагические обстоятельства судьбы — разорение и кончина отца, смерть любимой сестры, крах дипломатической карьеры, безвозвратная гибель лучших рукописей во время кораблекрушения — подорвали душевное равновесие поэта, и он на тридцать втором году жизни покончил с собой. Среди его поэтического наследия выделяется цикл «Ноктюрнов» и особенно «Ноктюрн третий», публикуемый в настоящей антологии. Это стихотворение, посвященное памяти безвременно умершей сестры Сильвы, поразило читателей неожиданным эффектом трагической лиричности, который достигается скупыми красками ночного пейзажа и нервной конвульсивностью «неправильного» размера.

Гильермо Валенсия (1873–1943) — крупнейший колумбийский модернист, преемник Сильвы. Выходец из аристократической семьи, он сделал блестящую политическую карьеру. В поэзии исповедовал культ камерной эстетичности, стремясь к абсолютному совершенству формы и изысканной музыкальности стиха. Автор книги «Стихотворения» (1898), Валенсия был также виртуозным мастером поэтической интерпретации. В сборниках «Обряды» (1914) и «Китай» (1928) собраны его лучшие переводы из европейских и китайских поэтов. На русском языке его стихи печатаются впервые.

135

Верблюды . — В поэме «Верблюды», которая принесла Валенсии континентальную славу, наиболее откровенно выражено его модернистское кредо. Здесь — замечает Дандэс Крейг — «за образами животных скрываются поэт и его друг, согласный с ним, — весьма возможно, что это Хосе Асунсьон Сильва... В конце концов они покинули мир и живут в пустыне».

136

Порфирио Барба Хакоб (1883–1942) — видный колумбийский поэт, настоящее его имя — Мигель Анхель Осорио. Много странствовал, жил на Кубе и Ямайке, в Коста-Рике, Гватемале, Гондурасе, Перу, США. Умер в Мексике. Автор сборников «Песни и элегии» (1932), «Черные розы» (1933), «Озаренное сердце» (1942). На русском языке публикуется впервые.

137

Луис Карлос Лопес (1883–1950) — яркий мастер социальной поэтической сатиры. Автор сборников «Из моего захолустья» (1908), «Затруднительные позы» (1909), «Кратчайшим путем» (1920). На русском языке дважды публиковалась книга его стихов «Грибы на кочке» (М., 1961 и 1966).

138

Сивилла — предсказательница у древних греков и римлян.

139

В мире (да покоится)

(лат.).

140

Леон де Грейфф (р. 1895) — оригинальный лирик, в творчестве которого сочетаются художественные принципы самых разнообразных литературных штудий. Его поэзию отличает подчеркнутая музыкальность, виртуозное словотворчество и язвительная ирония. Автор сборников «Книга знаков» (1930), «Вариации вокруг ничего» (1936), «Поэтическая антология» (1942) и др.

141

Зороастр — знаменитый мудрец и реформатор древнеперсидской религии (660–583 гг. до н. э.).

142

Луис Видалес (р. 1904) — поэт-авангардист; общественный деятель. Организовал одну из первых коммунистических групп в Колумбии. Культивирует жанр поэтического гротеска «грегерии», разработанный испанским писателем Гомесом де ла Серной. Автор сборника «Звенят звонки» (1926) и др. На русском языке публикуется впервые.

143

Эдуардо Карранса (р. 1915) — поэт, участник литературной группы «Камень и небо», названной так по аналогии с книгой выдающегося испанского поэта Хуана Рамона Хименеса, влияние которого чувствуется в творчестве Каррансы. Автор сборника «Песни, которыми начинают праздник» и др. На русском языке печатается впервые.

144

Карлос Кастро Сааведра (р. 1924) — один из лучших представителей социальной, революционной поэзии Колумбии. Автор книги «Судоходные реки» (1961).

145

Рафаэль Кардона (р. 1893) — поэт школы постмодернизма прозаик, журналист. Автор поэтической книги «Золото завтрашнего дня» и других поэтических сборников. Стихи на русском языке печатаются впервые.

146

Артуро Монтеро Вега (р. 1915) — поэт социальной тематики, один из видных представителей «поколения 50-х годов».

147

Альфредо Кардона Пенья (р. 1917) — племянник Рафаэля Кардоны; поэт и литературный критик. Первую книгу стихов «Ты — это мир» опубликовал в 1944 году. За ней последовали: «Мексиканская долина» (1949), «Бракосочетание моря с сушей» (1950) и др. На русском языке публикуется впервые.

148

Хулиан дель Касаль (1863–1893) — поэт и журналист. Один из зачинателей латиноамериканского модернизма. Его стихи, отличающиеся совершенством формы, проникнуты пессимизмом, стремлением уйти в экзотику. Сборники стихов: «Листья на ветру» (1888), «Снег» (1892), «Скульптуры и ритмы» (1893).

149

Помаре — королевская династия, правившая на Таити в XVIII–XIX вв.

150

Бонифасио Бирне (1861–1936) — поэт, публицист, драматург. Поэтическую известность ему принесли сборники патриотических стихов «Изображения» (1897) и «Лири и шпага» (1902).

151

Мое знамя . — В этом стихотворении, ставшем народной песней, выражен протест против

оккупации Кубы войсками США после национально-освободительной войны 1895–1898 гг. Возвращаясь на Кубу из эмиграции, поэт увидел над гаванской крепостью Эль Морро флаг США.

152

...одинокая наша звезда. — Имеется в виду звезда, которая изображена на государственном знамени Кубы.

153

Рехино Эладио Боти (1878–1934) — поэт, литературный критик, журналист. Мастер поэтической миниатюры. Основные сборники: «Море и гора» (1921), «Кодак-мечта» (стихи в прозе, 1902).

154

Агустин Акоста (р. 1886) — поэт и публицист. Участник борьбы против диктатуры Мачадо. Его поэма «Сафра» (1926) яркий образец антиимпериалистической поэзии.

155

Хосе Мануэль Поведа (1888–1926) — поэт, журналист, критик. Ввел социальную, урбанистическую тему в кубинскую поэзию. Единственный сборник — «Стихи-предвестники» (1917).

156

Хосе Сакариас Тальет (р. 1893) — поэт и журналист. В 20-х годах входил в «группу меньшинства», в которой объединилась революционная интеллигенция, выступавшая за политическое обновление страны. Стихотворение Тальета «Румба» отпосится к наиболее популярным произведениям афро-кубинской поэзии. Сборник стихов «Бесплодное семя» (1951).

157

Марака — народный музыкальный инструмент — высушенная тыква, наполненная камешками.

158

Мануэль Наварро Луна (1894–1964) — поэт-коммунист, один из крупнейших представителей социальной, революционной поэзии. Прозаик и публицист. Основные произведения: сборник «Биение сердца» (1932) и поэма «Раненая земля» (1936). Воспел героическую борьбу кубинского народа в книге «Мамбийские оды» (1961).

159

Рехино Педросо (р. 1896) — поэт-авангардист, прозаик, критик, журналист. Работал столяром и кузнецом. Зачинатель пролетарской поэзии на Кубе (стихотворение «Братское приветствие механической мастерской», 1927). Сборники: «Мы» (1933), «Боливар, симфония свободы» и др.

160

Рубен Мартинес Вильена (1899–1934) — выдающийся революционер-марксист, с 1930 года руководитель Коммунистической партии Кубы. Занимаясь в основном революционной борьбой, проявил себя и в поэзии как яркий самобытный талант. Мастер сонета. Стихи были опубликованы посмертно в книге «Бессонное око» (1936).

161

Николас Гильен (р. 1902) — народный поэт Кубы, выдающийся общественный деятель, борец против фашизма и империализма, член Всемирного Совета Мира. В 1955 году присуждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». Председатель Союза писателей и деятелей культуры Кубы.

Поэзия Гильена — незаурядное явление мировой культуры. В ней ритмы и мелодика негритянского фольклора органически сочетаются со словарем и художественными приемами поэзии XX века. Творчество кубинского поэта проникнуто духом социального протеста, насыщено острым политическим содержанием. Основные сборники: «Сонгоро Косонго» (1931), «Вест-Индия лимитед» (1934), «Песни для солдат и соны для туристов» (1937), «Народная голубка в полете» (1958), «Что есть у меня» (1964), «Зубчатое колесо» (1972). Последнее издание стихов на русском языке: Н. Гильен, «Третья молодость» (ИХЛ, 1972).

162

Монтеро — герой кубинского фольклора, отчаянный храбрец и весельчак.

163

Вест-Индия лимитед

(англ.). — название североамериканской сахарной компании.

164

Пока еще кроток этот народ...

Но будет от кротости поворот:

однажды он выпрямит спину

и кулаками пробьется к дороге просторной, —

вот так же древесные корни

взрывают асфальт ударом единым.

165

«Да»

(англ.).

166

«Все в порядке»

(англ.).

167

«Очень хорошо»

(англ.).

168

«Привет, моя крошка»

(англ.).

169

Майомбэ, бомбэ, сенсамаяя — обрядовые слова, употребляемые в негритянской поэзии.

170

Компаньеро (исп.) — товарищ.

171

Каунтри-клуб (англ.) — американский клуб на Кубе.

172

Эмилио Бальягас (1908–1954) — поэт, переводчик, литературовед. Один из крупнейших представителей афро-кубинской поэзии. Лауреат национальной премии. Основные сборники «Тетрадь черной поэзии» (1934), «Книга-залог» (1954), «Орбита Эмилио Бальягаса» (1965).

173

Элисео Диего (р. 1920) — лирический поэт, переводчик советской поэзии. Видный представитель группы «Орихинес». Активно участвует в творческой жизни социалистической Кубы. Основные сборники: «На пути Иисуса» (1949), «По неведомым краям» (1958).

Синтио Витиер (р. 1921) — поэт философского склада, писатель, литературовед. Один из создателей группы «Орихинес». Исследователь творчества Хосе Марти, организатор ежегодника «Аннуарио Мартиано». Автор фундаментальных трудов «Пятьдесят лет кубинской поэзии», «Кубинское начало в поэзии». Работает в Национальной библиотеке имени Хосе Марти. Основные сборники: «Субстанция» (1950), «Накануне» (1953), «Канто Льяно» (1956).

Роберто Фернандес Ретама р (р. 1930) — поэт, литературный критик, публицист, лауреат национальной премии. Участник студенческого движения против режима Батисты. Один из виднейших представителей поэтического поколения 50-х годов, которому революция открыла новые пути. Директор литературного журнала «Каса де лас Америкас». В переводе на русский язык вышел сборник «Теми же самыми руками» («Прогресс», 1970).

Файяд Хамис (р. 1930) — поэт, критик, художник. Несколько лет провел в эмиграции в Париже, после свержения диктатуры Батисты вернулся на родину и принял активное участие в творческой жизни страны. Сборник стихов «За эту свободу» (1962) удостоен премии латиноамериканского литературного конкурса «Каса де лас Америкас». В переводе на русский язык вышел сборник стихов «Мосты» (ИХЛ, 1968).

Сальвадор Диас Мирон (1853–1928) — поэт и журналист. Начиная свой литературный путь под знаменами романтизма, участвовал в политической борьбе против диктатуры Порфирио Диаса, в связи с чем подвергался преследованиям и четыре года провел в тюрьме. Впоследствии, однако, стал все больше склоняться к идеям «чистого искусства», которые нашли отражение в книге «Осколки» (1901), написанной под явным воздействием парнасской школы.

Ввысь

(лат.).

179

...с

исчадьем ада // Химерой... — Химера — чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом дракона

(миф.) .

180

Мемнон — согласно послегомеровским мифам, один из героев Троянской войны, царь эфиопов. Именем Мемнона греки называли статую египетского фараона Аменхотепа III, которая при восходе солнца издавала жалобный звук.

181

...кровью Несса плащ его пропитан... — По древнегреческому мифу, Геракл погиб, надев хитон, пропитанный кровью кентавра Несса.

182

Варавва — преступник, распятый вместе с Христом.

183

Актеон — мифический охотник, обращенный Артемидой в оленя и растерзанный собственными собаками.

184

Мануэль Гутьеррес Нагера (1859–1895) — поэт и прозаик, журналист. Один из крупнейших зачинателей латиноамериканского модернизма. Видную роль в становлении этой литературной школы сыграл основанный им в 1894 году журнал «Ревиста асуль». Мастер безукоризненного по форме, изысканно-мелодичного стиха. Наряду с «чистым» лиризмом,

его творчеству свойственны философские и патриотические мотивы. В 1960 году сборник его стихотворений был опубликован на русском языке.

185

Амадо Нерво (1870–1919) — крупнейший представитель мексиканского модернизма. Много и успешно занимался журналистикой. Первый его поэтический сборник «Черные жемчужины» увидел свет в 1898 году, Нерво был мастером прозрачной, вдумчиво-спокойной и даже меланхоличной лирики, проповедовавшей смирение, нередко окрашенной в религиозно-мистические тона. Автор книг: «Мистика» (1898), «Вполголоса» (1909), «Безмятежность» (1914) и др.

186

Хосе Хуан Таблада (1871–1945) — поэт, журналист, искусствовед. Первые книги Таблады — «Избранное» (1899), «Под солнцем и под луной» (1918) — выполнены в манере классического модернизма. Кризис этого литературного течения вынудил его искать новые темы и формы в результате чего он обратил свой взор к экзотической поэзии Востока; в частности — к японскому жанру хокку.

187

Энрике Гонсалес Мартинес (1871–1952) — известный поэт, отдавший в юности дань модернизму, но позднее выступивший с критикой формалистических начал этой школы, о чем свидетельствуют его книги «Смерть лебедя» (1915), «Слово ветра» (1921) и др. Со временем в его творчество все глубже проникают социальные мотивы. Гонсалес Мартинес в последние годы жизни исполнял обязанности председателя Мексиканского комитета защиты мира.

188

Рамон Лопес Веларде (1888–1921) — выдающийся лирик, один из основоположников современной поэзии Мексики. В молодости примыкал к сторонникам модернизма, но впоследствии преодолел идейно-художественную узость этой школы. Его перу принадлежат прекрасные образцы патриотической и пейзажной лирики, отмеченные печатью истинного народолюбия. Автор сборников «Священная кровь» (1916), «Тоска» (1919), «Биение сердца» (1932).

189

Альфонсо Рейес (1889–1959) — крупнейший мексиканский поэт, прозаик, критик, филолог. Переводчик ряда произведений А. П. Чехова на испанский язык. Его обширное поэтическое наследие включает в себя такие книги, как «Следы» (1922), «Мексиканский залив» (1935), «Кантата на смерть Федерико Гарсиа Лорки» (1937) и др.

190

Орфей — певец, очаровывавший своим пением диких зверей и приводивший в движение деревья и скалы.

191

Эвридика — жена Орфея, умершая от укуса змеи. По преданию, Орфей тщетно пытался вывести ее из Аида, царства теней

(греч. миф.).

192

Мануэль Маплес Арсе (р. 1898) — поэт, возглавивший в 20-е годы литературную школу «эстридентизма», которая была мексиканской разновидностью авангардизма. Дерзкий экспериментатор в области версификационной формы. С глубокой симпатией относился к революционной России, о чем, в частности, свидетельствует его «Город. Большевистская супер-поэма в пяти песнях» (1924).

193

Карлос Пельисер (р. 1899) — поэт, воспевший природу Латинской Америки. Тяготеет к яркому образотворчеству, иногда, однако, впадая в излишнюю риторичность. Автор сборников «Июньский час» (1937), «Сфера» (1948), «Искусство летать» (1956) и др.

194

Хосе Горостиса (р. 1901) — поэт, раннее творчество которого ориентировано на фольклорную традицию. Вместе с К. Пельисером входил в литературную группу «Контемпоранеос» («Современники», 1928–1931). Его перу принадлежат книги «Песни в лодках» (1925), «Бесконечная смерть» (1939).

195

Сальвадор Ново (р. 1904) — поэт, участник литературной группы «Контемпоранеос». Известен как автор остроумных поэтических юморесок. Основные книги: «Новая любовь» (1933), «Пролетарские стихи» (1934), «Стихи» (1961) и др.

196

Гачупин — так в Латинской Америке презрительно называли выходцев из Испании.

197

Эфраин Уэрта (р. 1914) — поэт, журналист, кинокритик. Главная тема творчества — жизнь современного города. Автор книг «Абсолютная любовь» (1935), «Стихи войны и надежды» (1943), «Горький корень» (1962) и др.

198

Али Чумасеро (р. 1918) — поэт, журналист, ученый. Автор книг «Пустыня снов» (1944), «Образы-изгнанники» (1948), «Слова в покое» (1956).

199

Октавио Пас (р. 1914) — один из наиболее ярких поэтов своего поколения, известный литературный критик. Искусный мастер метафоры и утонченной поэтической пластики. Автор книг «Человеческий корень» (1937), «Свобода под честное слово» (1949), «Дикая луна» (1953). Лауреат Международной поэтической премии (1963). Основатель поэтической группы «Тальер» (1938–1941). Редактор одноименного журнала.

200

Хайме Сабинес (р. 1925) — поэт, автор книг «Символ» (1951), «Еженедельный дневник и поэмы в прозе» (1961), «Стихи на поверке» (1962).

201

Хосе Коронель Уртечо (р. 1906) — поэт, новеллист, переводчик североамериканской поэзии. Зачинатель современной поэзии в Никарагуа. Поэт-экспериментатор; в его творчестве ярко выражено фольклорное начало. Переводится на русский язык впервые.

202

Дядюшка Койот — животное, герой народных сказок.

203

Пабло Антонио Куадра (р. 1912) — поэт, прозаик, журналист, литературный критик, драматург. Редактор ряда литературных журналов. Один из крупнейших деятелей никарагуанской культуры. Принадлежит к зачинателям национальной поэзии. Сборники: «Обетованная земля» (1952), «Ягуар и луна» (1959) и др. Переводится на русский язык впервые.

204

Жарким августом . — Никарагуанский диктатор Анастасио Сомоса был убит в августе 1956 г.

205

Фра Анжелико — известный флорентийский живописец эпохи Кватроченто фра Джованни ди Фьезоле (1387–1455).

206

Тинаха — большой глиняный кувшин для воды.

207

Комаль — диск из обожженной глины, на котором пекут лепешки.

208

Архипелаг. — Имеется в виду архипелаг Солентинам на озере Никарагуа.

209

Эрнесто Карденаль (р. 1925) — один из наиболее значительных современных поэтов Латинской Америки. Принимал участие в подпольной борьбе против диктатуры Сомосы. С 1965 года — священник на архипелаге Солентинам на озере Никарагуа. Поэзии Карденалья присущи монументальность, разнообразие интонаций, богатство лексики. Она тяготеет к документальности.

210

Убико — генерал Хорхе Убико — реакционный диктатор Гватемалы, свергнутый в 1944 г.

211

Кариас — генерал Кариас Андино, диктатор Гондураса (1933–1949).

212

Адольфо Баэс Боне — руководитель подготовки к восстанию против Сомосы. Однако диктатор, предупрежденный провокатором, опередил патриотов. Восстание было разгромлено. Баэс Боне был схвачен и после зверских пыток убит (1954).

213

Сандино — Агусто Сесар Сандино (1893–1934) — народный герой Никарагуа, руководил партизанской борьбой против североамериканских интервентов. Был приглашен для переговоров в столицу Никарагуа и там предательски убит Сомосой.

214

Тачито — Анастасио Сомоса-младший, нынешний диктатор Никарагуа (сын Анастасио Сомосы, убитого в 1956 г.).

215

Умансор, Эстрада — генералы Хуан Пабло Умансор и Франсиско Эстрада, соратники Сандино, расстрелянные вместе с ним.

216

Сократес Сандино — брат А.-С. Сандино, убитый почти одновременно с ним.

217

«

Ходидо » — испанское ругательство, здесь звукоподражание.

218

Каскаль — полевая птица.

219

Рикардо Миро (1863–1940) — крупный поэт-модернист. В отличие от многих представителей этой литературной школы, Миро, при всем утонченном субъективизме его творческой манеры, всегда стремился к прозрачной пластичности образного строя, что сделало его поэзию доступной широкому читателю и обеспечило ему славу национального поэта. Автор поэтических сборников «Прелюдии» (1908), «Легенда Тихого океана» (1919), «Патриотическая лирика» (1925). На русский язык переводится впервые.

220

Портобело — портовый город в Панаме; старинная испанская крепость, через которую перуанское золото направлялось в Испанию.

221

Деметрио Корси (р. 1899) — поэт, которого относят ко «второму поколению модернистов». В последние годы патриотическая и антиимпериалистическая тематика находит в его творчестве все более отчетливое выражение. Многим стихам Д. Корси присущи разговорные и иронические интонации, он смело использует просторечную лексику, добиваясь удивительного эффекта реалистичности. На русском языке печатается впервые.

222

Тимба — род барабана.

223

Киломбо — разновидность музыкального инструмента.

224

Кумбия — негритянский танец.

225

Гринго — презрительная кличка, которой называют англичан и американцев в Латинской Америке.

226

Чола — метиска.

Деметрио Эррера Севильяно (1902–1950) — литератор реалистической школы, поэт городских окраин. Его стихотворения, каждое из которых запечатлевает состояние «души народной», разворачивают перед читателем сложную панораму панамской действительности. На русском языке печатается впервые.

Карлос Франсиско Чангмарин (р. 1922) — поэт, рассказчик, живописец, композитор. Член руководства компартии Панамы. Его творчество повествует о тяготах и чаяньях простого люда; при этом Чангмарин избегает всякой вычурности и искусственной красоты. Автор книги «Телесные стихи» (1956).

Эриб Кампос Сервера (1908–1953) — поэт, возглавлявший авангардистское направление парагвайской литературы. С годами изысканная усложненность его стиля проясняется. Лучшие произведения Кампоса Серверы отмечены искренним сочувствием к судьбе простого человека и глубоким патриотизмом. Главная книга стихов — «Искупленный пепел» (1950). На русском языке публикуется впервые.

Хосефина Пла (р. 1909) — поэтесса, известность которой принесла книга «Цена мечты» (1934), проникновенно воспевающая любовь. На русском языке ее стихи печатаются впервые.

Аугусто Роа Бастос (р. 1917) — поэт, романист, рассказчик. Сын батрака, он стал крупнейшим литератором Парагвая. В молодости строго следовал образцам классической испанской поэзии. Позднее испытал глубокое влияние современной европейской литературы, что не пометало ему однако, стать истинно национальным писателем. Его творчеству свойственны мотивы революционного романтизма; он широко использует индейский фольклор. Стихи на русском языке печатаются впервые.

Эльвио Ромеро (р. 1926) — поэт-революционер. Первое его стихотворение, посвященное знамени Победы над рейхстагом, было опубликовано в 1945 году. В 1947 году Ромеро принял участие в восстании против диктатуры Мориньиго. После разгрома повстанцев вынужден жить на чужбине. Автор многих стихотворных сборников: «Вспаханные дни» (1948), «Эта гитара сурова» (1961) и др. На русском языке опубликованы его поэтические книги: «Стихи» (М., 1961) и «Земной зной» (М., 1966), «С этой суровой гитарой», (М., 1968).

233

Кармен Солер (год рождения неизвестен) — парагвайская поэтесса, посвятившая свое творчество боевой социальной тематике.

234

Хосе Сантос Чокано (1875–1934) — один из виднейших и наиболее плодовитых поэтов-модернистов. Был назван «Поэтом Америки». Основные сборники: «Песни Тихого океана» (1904), «Душа Америки» (1906), «Да будет свет» (1908) и др. Переводится на русский язык впервые.

235

Хосе Эгурен (1882–1942) — поэт, живописец-миниатюрист. Первый представитель «чистого искусства» в перуанской поэзии. Близок к символистам, для его стихов характерна импрессионистская цветовая гамма. Сборники: «Стихи» (1929) и др. Переводится на русский язык впервые.

236

Сапсаны — хищные птицы.

237

Альберто Урета (1885–1966) — поэт-лирик, стихи проникнуты меланхолическим тоном. Сборники: «Шум душ» (1911), «Палатки пустыни» (1933) и др. Переводится на русский язык впервые.

Сесар Вальехо (1892–1938) — один из крупнейших поэтов Латинской Америки. Прозаик (автор первого пролетарского романа «Вольфрам», 1931), литературный критик, журналист (книга очерков о Советской России — «Россия», 1931). По словам К. Мариатеги, внес в поэзию «индейское мироощущение». В первом сборнике стихов — «Черные герольды» (1918) — чувствуется влияние модернистов, хотя ведущее место занимают мотивы социального протеста, второй сборник — «Трильсе» (1922) — смелая попытка словом передать подсознание, поэзия-эксперимент. В 1923 году Вальехо уезжает из Перу. Живет в Париже, вступает в общество друзей СССР, затем в компартию. В годы национально-революционной войны в Испании организует помощь республиканцам, участвует в Международном конгрессе в защиту культуры. Незадолго до смерти создает две свои лучшие книги «Человечьи стихи» — одну из вершин мировой социальной лирики XX века и «Испания, да минует меня чаша сия» — призыв к международной солидарности и проклятье фашизму. На русском языке вышел сборник избранных стихов «Черные герольды». Библиотека латиноамериканской поэзии (ИХЛ, 1966).

«Одиночка в четыре стены...» — это стихотворение написано в тюрьме города Трухильо, куда Вальехо был заключен в 1926 г. по ложному обвинению в подстрекательстве к беспорядкам.

Сантьяго — церковь в Лиме.

Альберто Идальго (1897–1967) — поэт-авангардист. Изобрел свое течение «симплизм», суть которого в эгоцентризме и культе метафор. Основные сборники: «Симплизм» (1925), «Измерение человека» (1938), «Письмо Перу» (1953) и др. Переводится на русский язык впервые.

Алехандро Перальта (р. 1899) — поэт-авангардист, представитель «нативистского» течения в перуанской поэзии. Сборник «Анды» (1926) и др. Переводится на русский язык впервые.

243

Хавьер Авриль (р. 1905) — социальный поэт, применял в стихах сюрреалистические приемы. Основные сборники: «Трудная работа» (1935), «Открытие зари» (1937). На русский язык переводится впервые.

244

Густаво Валькарсель (р. 1921) — поэт-революционер, член Коммунистической партии Перу, прозаик и публицист. В 40-х годах входил в группу «Поэты народа». Сборники: «Куба — да, янки — нет!» (1961), «Революционные стихи» (1962); поэма «Ленин» (1967).

245

Себастьян Саласар Бонди (р. 1924) — драматург, поэт, прозаик. Сборник «Признание громким голосом» (1960). Переводится на русский язык впервые.

246

Вашингтон Дельгадо (р. 1926) — поэт и эссеист, один из наиболее значительных представителей современной перуанской поэзии.

247

Алехандро Ромуальдо (р. 1926) — лауреат Национальной премии Хосе Сантоса Чокано, видный представитель современной, революционной поэзии. Сборники: «Поэзия» (1954) и др.

248

Тупак Амару — национальный герой Перу, индейский касик возглавивший в 1780 г. восстание индейцев и креолов. Был подвергнут жесточайшим пыткам казнен на центральной площади Куско.

249

Микаэла Бастидес — жена Тупака Амару, которую также казнили вместе с ним, на глазах у ее детей.

250

Хавьер Эро (1940–1961) — молодой поэт, подававший большие надежды. Участник партизанского движения. Убит в стычке с полицией. Сборник «Река» (1960).

251

Луис Палес Матос (1899–1959) — один из первых представителей афро-антильской поэзии. Он ввел в обиход литературного «негризма» множество негритянских слов, символов, звукоподражаний; успешно разрабатывал причудливую ритмику негрестского стиха. При этом, однако, его поэтике не чужда и некоторая декоративная изысканность. Основная книга — «Негритянские импровизации» (1937).

252

Кандомбе — негритянский танец.

253

Кока — кустарник, из плодов которого добывается кокаин.

254

Клаудиа Ларс (р. 1899) — поэтесса, автор сборников «Звезды в колодце» (1934), «Круглая песенка» (1937), «Куда приводят шаги» (1953) и др. Ее стихи отличаются изобретательной музыкальностью и утонченной чувственностью. К. Ларс работает также в области детской поэзии. На русском языке печатается впервые.

255

Магей — род агавы.

256

Роке Дальтон Гарсиа — поэт и прозаик. Принадлежит к поколению сальвадорских писателей 1956 года. Основные книги: «Окно в лице» (1961), «Море» (1962), «Свидетельства» (1964) и др. Лауреат литературной премии «Каса де лас Америкас».

257

Хулио Эррера-и-Рейссиг (1875–1910) — видный поэт модернистской школы. Отпрыск знатного и влиятельного рода, он с юности отказался от политической карьеры и полностью посвятил себя поэзии. При всей иллюзорности его поэтического мира в нем часто просвечивают элементы самого будничного пейзажа. Автор книг «Ночные рассветы» (1902), «Фиалковые стихи» (1906), «Сумеречные рояли» (1910) и др. Полное собрание его сочинений насчитывает пять томов.

258

Маримба — индейский музыкальный инструмент, напоминающий ксилофон.

259

Дельмира Агустини (1886–1914) — одна из крупнейших уругвайских поэтесс, прославившаяся уже первым своим сборником «Белая книга» (1907). Рубен Дарио предсказывал ей самое блистательное будущее, однако жизнь ее трагически оборвалась в 1914 году. До этого времени Агустини опубликовала «Утренние песни» (1910) и «Пустую чашу» (1913). Обе эти книги интимной лирики имели шумный успех.

260

Фернан Сильва Вальдес (р. 1887) — поэт и драматург. Печататься начал рано; в молодости отдал дань ультраизму. Его перу принадлежат такие сборники, как «Вода времен» (1921), «Поэмы родины» (1925), «Южный романсеро» (1938). Опубликовал и несколько книг детской поэзии. По замечанию уругвайского поэта и критика Цум Фельде, для него характерен «степенно-доверительный тон, шероховатый стиль с типично креольской надрывной

грустью».

261

Серафин Хосе Гарсиа (р. 1908) — народный поэт, продолжатель традиций поэзии гаучо. Основные книги: «Горькая земля» (1938), «Грязь и солнце» (1941).

262

Карлос Сабат Эркасти (р. 1887) — поэт, драматург, философ, литературовед. Темы его поэзии всегда величественны: это Земля, Человек, Слово, Космос... Монументальны и сами его стихи, насыщенные сложными образами, нередко восходящими к символике индуизма и античности. В юности отдал дань идеям анархизма. Основные книги: «Человечьи стихи» (1922), «Морские эклоги и поэмы» (1922), «Гимны сущему» (1949) и др. Опубликовал также ряд работ, посвященных творчеству Максима Горького, которого считал «величайшей фигурой на рубеже столетий».

263

Хуана де Ибарбуру (Хуана Фернандес, р. 1895) — одна из ярких представительниц «женской» поэзии Латинской Америки. Первые ее книги — «Язык бриллиантов» (1919), «Холодный кувшин» (1920), «Дикий корень» (1922), — исполненные мягкой лиричностью и любовью к родной земле, принесли ей широкую известность; Ибарбуру была даже провозглашена «Хуаной Американской». Однако более поздний этап ее творчества отмечен печатью религиозного мистицизма и экзальтированной скорби.

264

Хуан Кунья (р. 1910) — Крупнейший лирический поэт Уругвая, автор пятнадцати стихотворных книг. Основное содержание поэзии — философская и пейзажная лирика. Последний сборник — «От вещи к вещи» (1967).

265

Марио Бенедетти (р. 1920) — поэт и прозаик, активный боец антиимпериалистического фронта. Его стихи тесно связаны с сегодняшним днем Латинской Америки. В настоящее время живет на Кубе. Основные книги: «Стихи за конторкой» (1956), «Стихи день за днем» (1961), «Что такое родина» (1963) и др. На русском языке напечатан его роман «Спасибо за огонек».

266

Ангелус — колокольный звон, сопровождающий католическое богослужение.

267

Аманда Беренгер (р. 1922) — известная уругвайская поэтесса. Первую книгу «Река» опубликовала в 1952 году. За ней последовали сборники: «Приглашение» (1957), «Антипесня» (1961), «Совместное заявление» (1964) и др. В ее поэзии показан современный буржуазный мир.

268

Идеа Вилариньо (р. 1918) — известная поэтесса, в творчестве которой нашли яркое выражение мотивы разлада между духовным миром личности и бездушной философией общества потребителей. Основные книги: «Мольба» (1945), «Небо, небо» (1947), «Бедный мир» (1966) и др.

269

Ида Витале (р. 1924) — поэтесса. Родилась в Монтевидео, училась на факультете права, но предпочла профессию педагога.

270

Ариадна — здесь: звезда в созвездии Короны.

271

Вашингтон Бенавидес (р. 1930) — поэт, работающий в области социальной лирики. Автор сборников «Грозы разума» (1967), «Стихи незрячей» (1968) и др.

272

Карлос Песоа Велис (1879–1908) — поэт, журналист, педагог. Настоящее имя — Карлос Энрике Мойано Янья. Усвоив лучшие формальные достижения модернизма, он сумел, однако, преодолеть оторванность этой школы от реальной действительности, осознав, что поэт обязан «вложить в свои стихи окровавленную душу». Именно мотивы социальной критики, искреннее народолюбие и подлинный патриотизм, которыми пронизано творчество Песоа Велиса, сделали его родоначальником современной чилийской поэзии. Велис с малых лет вынужден был зарабатывать хлеб собственным трудом. Он служил мелким чиновником, был учителем, сотрудничал в различных газетах и журналах. Был ранен во время землетрясения 1906 года и заболел туберкулезом, который безвременно оборвал его жизнь. Основные книги Песоа Велиса были изданы после смерти поэта: «Чилийская душа» (1911), «Золотые колокола» (1920), «Стихи, рассказы и статьи» (1927) и др.

273

Педро Прадо (1886–1952) — видный представитель чилийской литературы первой половины века; поэт, романист, художник, ученый, дипломат. В 1949 году был удостоен Национальной литературной премии. Основные книги: «Цветы чертополоха» (1908), «Дорога времени» (1934), «Одна лишь роза» (1946).

274

Габриэла Мистраль (настоящее имя — Люсила Алькайага Годой, 1889–1957) — крупнейшая латиноамериканская поэтесса, снискавшая себе мировую славу. Лауреат Нобелевской премии (1949). Родилась в семье бедного учителя. В юности преподавала в провинциальной школе, проявив редкостный педагогический талант. Однако ее бескомпромиссная демократичность, неприятие всякой социальной несправедливости вызывали озлобленность консервативных властей, которые чинили всяческие препятствия ее деятельности. Правда, позднее, став всемирно известной поэтессой, Мистраль была назначена директором женского лицея столицы, а также получила должность «пожизненного консула Чили» с правом выбирать по своему усмотрению страну пребывания. В 1961 году она была удостоена Национальной литературной премии.

Первые книги Мистраль — «Отчаянье» (1922) и «Нежность» (1924) — это проникновенная исповедь поэтессы, тяжело переживавшей утрату дорогого ей человека, гимн любви, реквием по несостоявшему счастью. Опубликованные позднее «Рубка леса» (1938) и «Давильня» (1954), в которых воспета величественная природа Латинской Америки, закрепили за Г. Мистраль славу выдающегося лирика.

С 1922 года поэтесса жила за границей — в Мексике, Италии, Испании, Франции. Умерла она в США.

На русском языке ее стихи издавались дважды: «Стихи» (М., 1959) и «Лирика» (М., 1965).

275

Инки, майя, кечуа, аймара — индейские племена.

276

Майяб — индейское название полуострова Юкатан.

277

Кетсалькоатль — божество мексиканских индейцев, отождествляемое с планетой Венера.

278

Рок — сказочная птица.

279

Юкка — съедобное растение.

280

Висенте Уидобро (1893–1948) — поэт, романист, драматург, крупнейший представитель современной чилийской литературы. Он был основателем и главой «креасьонизма», принципы которого воплотил в сборнике «Водяное зеркало» (1916). Долгое время жил в Париже, а когда в Испании вспыхнула Гражданская война, вновь вернулся в Европу, чтобы сражаться с фашизмом. Основные поэтические книги: «Эхо души» (1912), «Песни в ночи» (1912), «Грот молчания» (1913), «Высоколёнок» (1931) и др. Его перу принадлежит ряд стихотворений, в которых он воспел всемирно-историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции.

281

Нерей — морское божество, отец пятидесяти дочерей — nereид.

Пабло де Рока (1894–1968) — поэт и общественный деятель. Настоящее имя — Карлос Диас Лойола. Лауреат Национальной премии по литературе (1965). В книгах «Стихи детства» (1916), «Листок дьявола» (1921), «Жалобы» (1922) он проявил себя одаренным лириком, но впоследствии отдал предпочтение жанру социального эпоса, о чем свидетельствуют его сборники «Южная Америка» (1929), «Окопная песнь» (1933), «Проклятие фашистскому зверю» (1937) и др.

Пабло Неруда (настоящее имя Нефтали Рикардо Рейес Басуальто, 1904–1973) — один из крупнейших поэтов века, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1953) и Нобелевской премии (1971), выдающийся общественный и политический деятель, дипломат.

Родился в г. Паррале, в семье железнодорожного кондуктора. Широкую известность принесли ему уже первые книги: «Сумеречное» (1923) и «Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния». В 1927 году он поступил на дипломатическую службу и был командирован в чилийское консульство на Цейлоне. Оторванный от родины, потрясенный нищетой и бесправием народа в тех странах, где ему довелось побывать, Неруда погружается в пучину отчаянья. Именно тогда из-под его пера выходит книга «Местоительство — земля», в которой возникают картины исковерканного, нравственно опустошенного общества, запечатленные в нагромождениях сложных, «герметичных» образов, гармонирующих с трагическим мироощущением поэта. Национально-революционная война испанского народа (1936–1939) застала Неруду в Мадриде. Под впечатлением героической борьбы республиканцев поэт пишет книгу «Испания в сердце» (1937). В годы второй мировой войны он создает цикл стихов, посвященных славной Советской Армии, а в 1949 году заканчивает грандиозную поэтическую эпопею «Всеобщая песнь» — гимн Латинской Америке и ее свободолюбивым народам. В 1945 году Неруда вступает в Коммунистическую партию Чили, а в 1948 году переходит на нелегальное положение: диктатор Видела отдал приказ о его аресте. В 1949 году ему удается выбраться из Чили. Он много путешествует; впечатления от этих странствий вылились в новую книгу стихов «Виноградники и ветер» (1953), за которой следуют все новые и новые сборники: три тома «Оды простым вещам» (1954, 1955 и 1957), «Эстравагарии» (1956), «Плавания и возвращения» (1959), «Сто сонетов о любви» (1959), «Мемориал Черного острова» (1964), «Баркарола» (1967) и др.

В 1970 году в Чили к власти приходит правительство Народного Единства. Неруда назначается послом Чилийской республики в Париже. В 1973 году он публикует сборник боевой поэзии «Гимны чилийской революции», одновременно работая над несколькими книгами, которые должны были увидеть свет к его семидесятилетию юбилею. Но 11 сентября 1973 года на его родине фашиствующие мятежники совершили государственный переворот. Через несколько дней, не пережив трагедии своего народа, Неруда скончался. Уже посмертно в Аргентине были изданы его последние книги: «Море и колокола», «Одинокая роза», «2000», «Книга вопросов», «Элегия», «Желтое сердце», «Зимний сад» и мемуары «Признаюсь, что я жил». На русском языке опубликовано около двадцати его книг, среди которых: «Испания в сердце» (1939), избранные произведения в двух томах (М., 1958), «Четыре времени сердца» (М., 1968) и др.

284

Лонкоче — город и местность в Чили.

285

Прогулка

(англ.).

286

Рауль, Рафаэль, Федерико. — Имеются в виду поэты Рауль Гонсалес Туньон (Аргентина), Рафаэль Альберти и Федерико Гарсиа Лорка (Испания), друзья Пабло Неруды.

287

Разбойники с марокканцами... — ударной силой франкистов были марокканские части.

288

Педро Гарфиас — испанский поэт, сражавшийся в рядах республиканцев. После поражения Республики отправился в эмиграцию.

289

Матильда. — Имеется в виду Матильда Уррутиа, жена Пабло Неруды, которой посвящена книга «Сто сонетов о любви».

290

Сьерра-Маэстра — гористый район на юге Кубы, где действовала армия Фиделя Кастро.

291

Хувенсио Валье (настоящее имя — Хильберто Конча Риффо, р. 1905) — известный поэт и общественный деятель. Основные книги: «Сын лесника» (1951) и «Вверх по склону» (1960); в них с удивительной лирической силой воспеты люди и природа чилийского Юга. В 1966 году Хувенсио Валье был удостоен Национальной литературной премии.

292

Никанор Парра (р. 1914) — поэт, преподаватель математики и физики. Один из создателей литературной группы «Ясность» (1938), само название которой красноречиво говорит о демократичности художественных принципов ее участников. Первая книга поэта — «Безымянное кансьонеро» написана под явным воздействием Федерико Гарсиа Лорки. Другие сборники Н. Парры — «Стихи и антистихи» (1954), «Салонные стихи» (1962), «Долгая куэнка» (1968) — отличаются разговорностью интонаций и язвительным сарказмом. На русском языке опубликована его книга «Стихи» (М., 1964).

293

Хорхе Тейльер (р. 1935) — поэт, рассказчик, литературный критик, переводчик поэзии Сергея Есенина на испанский язык. В 1960 году был удостоен литературной премии имени Габриэлы Мистраль. Основные книги: «Для ангелов и воробьев» (1956), «Небо опадает вместе с листьями» (1958), «Древо памяти» (1960) и др.

294

Арауканцы — индейское племя.

295

Хорхе Каррера Андраде (р. 1903) — поэт, литературный критик, дипломат, путешественник. Его творческой манере в определенной степени свойственны художественные приемы авангардизма; некоторые произведения выполнены в духе нативистской поэзии. В основном же его творчество питали яркие впечатления многочисленных путешествий. Автор книг «Шпроты» (1934), «Биография для птиц» (1937), «Вехи поэзии» (1958).

296

Адальберто Ортис (р. 1914) — романист и поэт, являющийся представителем негритянской темы в эквадорской литературе. Самая известная книга — роман «Жуяунго» (1942).

297

Алехандро Каррион (р. 1915) — поэт реалистической школы, мастер дерзкой и яркой метафоры. Автор известной книги «Поэзия одиночества и желания» (1944), в которой воспета величественная природа его страны.

298

Хорхе Энрике Адоум (р. 1923) — поэт, в творчестве которого широко представлена патриотическая тема. Лауреат Национальной поэтической премии. Его книга «Господь даровал тень», посвященная многовековой борьбе латиноамериканских народов за свободу и независимость, в 1960 году получила премию на конкурсе «Каса де лас Америкас».

299

Атауальпа — последний Инка, вероломно захваченный в плен испанским конкистадором Франсиско Писарро и казненный в 1533 г. по его приказу.

300

В бешеном пламени плавилен ... — По распоряжению Писарро золотые сокровища инков, многие из которых представляли собой шедевры ювелирного искусства, были безжалостно переплавлены в слитки.